

ВИТЧ

witch

Всеволод Бенигсен

роман
ненашего
времени



Всеволод Бенигсен

ВИТЧ

Роман



Москва
АСТ
Астрель

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б46

Художник *Ирина Сальникова*
Фото автора на переплете – *Дарья Яковлева*

Бенигсен, В.
Б46 ВИТЧ : роман / Всеволод Бенигсен. – М. : АСТ :
Астрель, 2011. – 379 [5] с.

ISBN 978-5-17-073226-5 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 978-5-271-34491-6 (ООО «Издательство Астрель»)

Всеволод Бенигсен – один из самых ярких писателей нового поколения, автор романов «ГенАцид» (лонг-листы премий «РУССКИЙ БУКЕР», «БОЛЬШАЯ КНИГА») и «Раяд» (шорт-лист премии «НОС»).

Герой романа «ВИТЧ» журналист Максим Терещенко в конце девяностых возвращается в Россию после эмиграции и пытается «ухватить» изменчивую реальность современной России. Неожиданно ему поступает «заказ» – написать книгу о малоизвестных писателях-диссидентах семидесятых. Воодушевленный возможностью рассказать о забытых ныне друзьях, герой рьяно берется за дело. Но... все персонажи его будущей книги таинственно исчезли, словно и не существовали вовсе. Поиски их приводят к неожиданному результату...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Подписано в печать 31.03.11. Формат 84×108/32.
Усл. печ. л. 20,16. Тираж 5000 экз. Заказ № 833

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

ISBN 978-5-17-073226-5 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 978-5-271-34491-6 (ООО «Издательство Астрель»)

© Бенигсен В.
© ООО «Издательство «Астрель»

Серость не хочет быть серостью –
Она создает мир серее себя,
Чтобы оправдать свое существование.
Так и идет все по спирали.
А потом серость съест всех. Ам!
Я. Блюменцвейг

I

Максим сидел на дорогом кожаном диване и смотрел телевизор. Точнее, это был домашний кинотеатр – огромная плазменная панель, стеклянный шкафчик с DVD-дисками и несколько аудиоколонок, расставленных-развешанных по всему периметру гостиной. Что он смотрит, он и сам не очень понимал – кажется, какой-то сериал. В полутемной комнате световые блики плясали по застывшему лицу Максима, как отблески огня в камине. Слева от него, подобрав под себя ноги, сидела женщина. В руках у нее был глянцевый журнал. Казалось, она была очень увлечена чтением или скорее разглядыванием картинок и фотографий. По правую руку сидела девочка. Она держала книжку с комиксами и пакет с чипсами. У ног Максима лежал большой лохматый пес. Он лежал, уткнувшись черным носом в ярко-красную пластмассовую миску с фирменным собачьим кормом. Максим небрежно провел кончиком языка по верхним зубам, цыкнул, достал сигарету и невозможно закурил. Сделал затяжку и огляделся в поисках пепельницы, но, не найдя ее, постучал указательным пальцем по сигарете, сбрасывая пепел прямо в мягкий

ворс огромного белоснежного ковра. Женщина ничего не сказала. Девочка тоже. Собака тем более промолчала. Никто даже не повернул голову. «Как умерли», – подумал Максим и снова затянулся сигаретой. Только сейчас он заметил, что откуда-то издалека, словно из другого измерения, доносится вой охранной сигнализации. Поначалу Максим не обращал на него никакого внимания, но звук этот неумолимо рос, ширился и наконец впился безжалостным сверлом в висок.

«Что это?» – удивленно подумал Максим, морщась от разрывающего мозг звука. Дернулся и... прснулся.

Он лежал в своей московской квартире. Была глубокая ночь. По темному потолку бродили блики от фар проезжающих за окном машин. Где-то на улице выла вклинившаяся в сон автомобильная сигнализация. Максим включил ночник и болезненно прищурился. Спать уже не хотелось. Настенные часы показывали четверть третьего. Только сейчас он увидел, что лежит на кровати в одежде. Он вспомнил, что где-то в районе девяти прилег, чтобы немного вздремнуть. «Немного» превратилось в пять часов. Максим зевнул и сразу почувствовал неприятный запах изо рта. Решительно скинул ноги на пол и потер ладонями лицо, соскребая остатки сна. Этот сон приходил к нему уже не в первый раз. Смысл его был неясен. Единственное, что Максим ощущал, – это невыносимую искусственность «семейной идиллии». И в обстановке, и в женщине, и в девочке, и даже в собаке. Но разгадать ее не мог. Всегда просыпался с бьющимся сердцем и неровным дыханием.

Максим почесал левую ногу, встал и прошлепал к столу. В сером стекле выключенного компьютерного монитора отразилось его усталое лицо. Максим с тоской подумал, что старость подкралась незаметно. В общей сложности она кралась пятьдесят пять лет. Факти-

чески начиная с самого рождения. Можно даже сказать, не успел новорожденный Максим вследствие чувствительного шлепка акушерки издать свой первый крик, как старость начала свое поступательное движение. Сначала она пряталась за взрослением, потом за возмужанием, наконец скинула маску и показала свое истинное лицо. Максим был далек от глупых эвфемизмов вроде «самый расцвет сил». После пятидесяти – это не зрелость, это начало старости, и нечего тут хохориться.

При этом Максим совершенно не ощущал своего возраста. Да и выглядел он лет на десять моложе (спасибо генам). Но организм все чаще давал сбой, и, когда в пятьдесят три года шарахнул первый инфаркт, стало совсем не до смеха. Оказалось, что сердце у Максима изношено. Это его не столько испугало, сколько удивило. Оно у него никогда не болело. Не кололо, не ныло, не прихватывало, не тянуло. А тут бац – и он вроде как... инвалид? Сразу куча вещей оказалась под запретом. Острое, соленое, жареное, кислое. Ну и алкоголь с табаком. Хорошо хоть секс разрешили. Видимо, в качестве утешительного приза. Правда, после развода с женой у него не было ни одного романа, так что утешение было невеликое. Завязать с курением Максим так и не смог. Старался только уменьшать дозу. Дошел до десяти сигарет в день. На том и замер. А от алкоголя отказался совсем. Тут и врач был непреклонен: хотите умереть – вперед с песней. Но ни с песней, ни без песни умирать Максиму почему-то не хотелось. Никакое опьянение того не стоило.

Он еще раз посмотрел на свое серое отражение в мониторе, вздохнул и включил компьютер. Вспыхнувший голубым светом экран вмиг уничтожил пятидесятипятiletнее лицо. Стало гораздо спокойнее.

Максим прошаркал на кухню, чтобы сделать себе кофе – впереди была ночь работы. Он подрабатывал тем, что редактировал чужие сценарии. Занятие не из приятных, учитывая, что 99 процентов всех сценариев были запредельным графоманским чтивом, кишащим орфографическими и стилистическими ошибками. Не далее как вчера он читал сценарий про каких-то олигархов, которые тайно распродают Родину. У одного фамилия была Березуцкий, у другого – Ходоркович. Это было бы еще и ничего, если бы не фразы типа «У Игоря от этих слов кусок в горло начинает не лезть» или «Колени его ног сильно оттопырены» и так далее. Были и просто дурацкие логические ляпы типа «В тихом летнем ночном небе вдруг раздается гром, затем вспыхивает молния».

Максим пошарил глазами по кухне в поисках банки с кофе, но в таком бардаке это было сделать непросто. Чертыхнувшись, включил чайник и вернулся в кабинет. Раскрыл очередной сценарий и прочел начало. «*Небольшой уральский городок в Сибири*». Читать дальше сразу захотелось. Он уже собрался зайти в Интернет и проверить почту, как спасительным голосом с неба раздался звонок телефона.

В такое позднее время это мог быть лишь Толя Комаров, старый знакомый Максима по какой-то кинофестивальной тусовке. Начинаящий сорокапятилетний кинорежиссер.

Начинал он очень успешно, ибо четко знал, что от него требуют, и соответствовал этим требованиям без малейших угрызений совести.

Максим взял трубку и услышал знакомый голос.

– Максим, это Толя. Привет. Не спишь?

– Вообще-то четверть третьего. На тот случай, если ты потерял часы и звонишь, чтобы узнать точное время.

Сарказм Максима булькнул и пошел ко дну незамеченным – Толик пропускал все шутки Максима мимо ушей, упрямо идя к цели разговора и слыша только себя.

– Слушай, ты чем сейчас занят?

– В данный момент читаю сценарий, – с неприязнью покосился на стопку распечатанных текстов Максим.

– Отлично. Завтра время есть?

«Зачем было спрашивать, чем я занимаюсь сейчас, если речь идет о завтра?» – подумал Максим. Впрочем, он давно привык к извилистой логике приятеля.

– А в чем дело?

– Есть, короче, один человек, мой приятель хороший, в общем, мой бывший одноклассник. У него солидный журнал... Литературно-историческое обозрение. «Лист» называется. Или что-то типа того. Не слышал?

– Да мало ли их развелось, – пожал плечами Максим.

– Нет, это ты зря. Неплохой журнал. Без сисек-писек. Но дело не в журнале. Тем более что я его не читал. Суть в том, что есть госзаказ на издание книги о советских писателях третьего-четвертого эшелона. Я сразу про тебя вспомнил.

– Ну спасибо, – хмыкнул Максим.

– Да не о тебе лично речь! А о том самиздатовском диссидентском альманахе... как там его...

– «Метрополь»?

– Да какой в жопу «Метрополь»! Реально диссидентский... блин, ну ты мне сам рассказывал...

– А-а... «Глагол».

– Вот-вот. Блин, голова совсем дырявая стала. Они же все уехали, так? Вот было бы хорошо, если б ты рассказал об этом журнале. Расспросил бы этих людей. Вживую или по телефону. Восстановил детали. Так ска-

зять, этапы большого пути. Он очень хочет вернуть, как говорится, эту часть нашего прошлого. Считает, что молодежи просто необходимо знать историю, но не может никого найти. А ты для него просто кладезь.

– Клад, видимо. Кладезь бывает кладезем чего-то.

– Ты не выебывайся. Ты просто скажи, нравится тебе идея или нет?

– Ну нравится, – вяло ответил Максим, который знал, что все эти «проекты», как правило, сходят на нет с такой же скоростью, с какой возникают. За его плечами были десятки таких «инициатив», которые никуда не приводили.

– Ты ведь многих знал?

– Знал многих... Вот только где теперь искать этих многих? Я ведь не поддерживаю ни с кем никаких отношений. На то они и эмигранты, что их теперь ищи-свищи.

– Слушай, там деньги реально хорошие заплатят. Кроме того, это серьезный контракт. Будет твоя книга – твоя и только твоя. Все лучше, чем ночами чужое говно редактировать. Ты же мечтал вернуться в литературу.

– Я тебе говорю про объективные трудности, а ты продолжаешь меня уговаривать.

– Ну, трудности... трудности везде есть. Короче, я этому человеку дал твой телефон. Он сам позвонит. Вы с ним поговорите и все обсудите. Человек он забавный – с легким криминальным прошлым.

– Да уж куда забавнее.

– Ну, с кем не бывает, – обиделся за одноклассника Толик.

– Со мной, например, – хмыкнул Максим.

– Э-э, от суммы да тюрьмы... В общем, ты не против, чтобы он тебе позвонил?

– Ты дал ему мой телефон, а теперь спрашиваешь, не против ли я? А что если бы я был против?

– Но ты же не против.

– Да, Толик, с логикой у тебя всегда было зашибись. Ну ладно. Пусть звонит.

Максим собрался положить трубку, но спохватился.

– Эй! Алло! А зачем ты меня про завтра спрашивал?

– Блин! Хорошо, что напомнил, – обрадовался Толик. – Я же с фильмом запускаюсь. У меня завтра что-то типа кастинга. Ты ведь когда-то на актерском учился?

– Было дело.

– Слушай, будь другом. У меня, понимаешь, глаз совершенно замылился. Ходят какие-то мальчишки-девочки из театральных вузов. Как однойцевые близнецы. А на меня уже спонсоры давят. Давай, говорят, запустийся. Приди завтра. Я больше никого не могу застать. Глянь свежим взглядом, а?

– Но ведь я даже сценария не читал!

– Да ты просто талант оцени! А фактуру я и сам беру.

– Ладно, – согласился Максим скрепя сердце – после предложения с книгой отказываться было неудобно.

– Заметано, старик. 14.00 на проходной ГИТИСа. Жду. Я там по дружбе комнату занял.

Максим повесил трубку и пошел на кухню. Банку с кофе так и не нашел. Сделал себе просто крепкий чай. Вернулся и уселся за компьютер. Через десять минут телефон снова зазвонил.

– Ну? – лениво спросил Максим в трубку, уверенный, что это снова Толик.

На том конце что-то зашуршало.

– Я с Максимом Терещенко говорю? – раздался незнакомый мужской голос.

– Да, – растерялся Максим.

– Это по поводу книги. Вам только что звонил Толя Комаров. Я не разбудил?

– А-а... Да нет... Я просто как-то не ожидал, что вы так быстро перезвоните.

– Ну а что время зря терять? Тем более я сейчас в Толиной квартире.

– Да? – удивился Максим. – А Толя где?

– И Толя здесь.

– А что ж он вам просто трубку не передал?

– Он сказал, что это будет неудобно. Мол, надо немного выждать, чтобы у человека было время подумать.

– Узнаю Толика.

– Так вы согласны?

– Я, конечно, могу попробовать, но... трудности с материалом. Я ни с кем из «Глагола» после эмиграции не виделся. Даже не общался.

– Это плохо, – грустно сказал голос. – А кого вы знали?

– Да многих. Купермана, Файзуллина, Авдеева... А с Блюменцвейгом так просто на одном курсе в литинституте учился.

– Ого, – заметно повеселел голос. – Это круто меняет дело. Значит, даже с Блюменцвейгом учились?

– Ну да. Мы даже играли в одной баскетбольной команде. Как-то раз выступали против сборной МАИ и...

– Толя, надеюсь, сказал, сколько мы заплатим? – перебил ностальгические воспоминания голос.

– Да... то есть нет. А сколько?

– Пятнадцать тысяч.

– Рублей?

– Да ну что вы! – фыркнул голос. – Долларов, конечно. Аванс – пять тысяч. Вас эта сумма устраивает?

– Более чем.

– Тогда я на вас рассчитываю. Это ведь очень интересная тема. Диссидентская культура, ее разрушительная сила, развалившая Советский Союз и приведшая народ к свободе и демократии. Все в таком вот дискурсе. Вы же многих знали. Найдите их. Порассуждайте вообще на тему малоизвестной литературы того времени. Ну и так далее. Я вас не ограничиваю в выборе имен. Только без знаменитостей. Ну только если вскользь.

– Хорошо, – сказал Максим. – Я готов попробовать. Только все же... можно один вопрос?

– Конечно.

– Неужели это кого-то сейчас интересует?

– Уверен. Иначе бы не было заказа.

– Какого заказа?

– Сверху.

– Сверху? – удивленно протянул Максим, недоумевая, кого наверху мог заинтересовать «Глагол» и писатели третьего эшелона.

– А вы хотели, чтоб снизу? – хохотнул голос, – В общем, у меня есть ваш мобильный. Я с вами свяжусь. Удачи.

– До свиданья... А как вас зовут?

Но в трубке уже раздались короткие гудки.

Максим отложил телефон, закурил и задумался.

«Глагол»... Ха! Антисоветский самиздат конца семидесятых. После которого полетело много голов. Большинство, как водится, полетело в Израиль. Но где их теперь искать? Где искать все эти романы, повести, рассказы, стихи? Да и сам «Глагол» был отпечатан в количестве ста экземпляров, и у Максима его не было. Прошло-то... бог мой! – тридцать пять лет. А кто там участвовал-то?

Максим уставился куда-то в пространство и стал вспоминать. Из тех, кто участвовал в составлении «Гла-

гола», он лично знал только Купермана, Авдеева и Файзуллина. Но лучше всех он знал Блюменцвейга, с которым приятельствовал еще со времен учебы в институте. Все глагольцы оказались под колпаком у КГБ и довольно быстро вылетели из России. Вылетели рейсом Москва – Мюнхен. Естественно, с билетами в один конец. Максим, кстати, был одним из тех, кто провожал всю эту шумную ватагу в Шереметьево. Что удивительно, с тех пор он никого из них не видел. Хотя сам позже тоже эмигрировал.

«А ведь и вправду, любопытно было бы их найти», – подумал Максим и услышал, как на кухне щелкнул чайник.

II

Ах, Привольск-218, Привольск-218.... С грустной улыбкой вспоминаю твои кривые мощные улочки, зелень кипарисов на центральной улице, шум морского прибоя и теплый южный ветер. Ноздри щекочет дурмящий запах акаций, а тело обволакивает прохладная тень твоих домов. Слышу шуршание раскаленного песка под ногами, пронзительные вопли чайки и басовитые гудки проплывающих вдали кораблей... А стоит закрыть глаза, как передо мной сразу встают загорелые девушки в белых панамках и разморенные жарой туристы. Они обмахиваются газетами и носовыми платками. Воздух наполняется пестрой разноголосицей языков, наречий и диалектов... Я помню тебя, Привольск-218... А помнишь ли ты меня?

Согласитесь, приятно было бы начинать мемуары с такого красивого вступления. Но увы! Если бы кто-то и надумал описать свое детство, проведенное в Привольске-218, ему бы пришлось вспомнить совсем другое. Потому что в Привольске-218 отродясь не водилось ни кривых мощных улочек, ни кипарисов, ни акаций. А уж о теплом южном ветре и вовсе лучше не

заикаться. Память, конечно, склонна к некоторой поэтизации нашего прошлого, но всему же есть предел.

Нет, улицы Привольска-218 (а их было всего две – Ленина и Коммунистическая) тоже были кривыми, но не из-за древности укладки, а просто потому, что проектировщики ошиблись в расчетах, а асфальтоукладчики беспробудно пьянствовали, пока клали дорогу. И поскольку жизнь не математика, то минус на минус в итоге дал не плюс, а жирный минус. То есть кривизна получилась двойной степени. При этом поверхность улиц действительно слегка напоминала мощеные мостовые, но опять же по той простой причине, что битум при доставке на место то ли разворовали, то ли пропили – в итоге асфальт растрескался и превратился в череду рытвин и ухабов. Шум морского прибоя тоже отсутствовал, ибо до моря от Привольска-218 было как пешком до Луны, но зато его с успехом заменял шум комбината по утилизации химических отходов. Дурманящего запаха акаций тоже, увы, не имелось. Но зато был запах все тех же химотходов. И дурманили они, надо сказать, не хуже акаций. Не было и прохладной тени домов. Во-первых, потому что и домов-то было всего пять: два одноэтажных под магазины, два жилых многоэтажных и одинокое здание НИИ в центре города. А во-вторых, потому что лето в Привольске-218 было нежарким и коротким. Зато зима – сырой и долгой. Так что прохлады и без прохладной тени хватало. А уж если кому-то вдруг и понадобилась бы прохлада в сухой летний день, он мог ощутить ее, прислонившись к пупырчатому бетону здания НИИ.

Еще одно немаловажное отличие Привольска-218 от вышеуказанного поэтического описания заключалось в том, что в нем невозможно было услышать разноглаголющих языков и диалектов, ибо сюда никогда не приезжа-

ли туристы. Более того, и сами жители Привольска-218 никуда не выезжали. Иными словами, сюда никто не приезжал и никто не выезжал. Дело в том, что город Привольск-218 был закрытым городом. Совсем закрытым.

По сути Привольск был типичным ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование), каких в СССР в свое время было немало. Одни принадлежали Министерству обороны, другие – космической отрасли, третьи – атомной промышленности. Привольск-218 относился к ведомству по уничтожению химического оружия, то есть, грубо говоря, химических отходов. Для кого-то это могло бы прозвучать оскорбительно – не особо приятно осознавать, что ты живешь, по сути, на химической свалке, но с другой стороны, утешало обилие дефицитных товаров, которыми в советские времена снабжали любой закрытый город, плюс низкий уровень преступности, ну и прочие бытовые радости. Короче, жилось в Привольске-218, конечно, не шибко вольно (каждый житель был буквально наперечет), зато действительно привольно. На карте страны его, естественно, не существовало, а сам городок, как это бывало почти со всеми ЗАТО, прилегал к крупному российскому городу С. На деле это означало, что случайный пешеход мог беспечно идти по какой-нибудь улице на окраине города С. (в данном случае это была Коммунистическая улица), но в определенный момент натыкался на железные ворота с КПП. И вход туда простому смертному был заказан. Жители города С. думали, что за воротами находится военная часть (пусть даже засекреченная). Но сведущие люди знали – улица, по которой они только что шли, не заканчивается железными воротами, а продолжается. И за домом, скажем, номер 45 (относящимся к городу С.) следует

номер 47 (уже города Привольска-218). Соответственно, весь город был обнесен двойным высоким забором с колючей проволокой. Но даже если бы этот самый случайный пешеход был пропущен зоркой охраной за железные ворота, он бы скорее всего и не понял бы, что находится в закрытой зоне. С виду Привольск-218 ничем не отличался от любого небольшого российско-го городка, разве что чуть поужоженной. Пресловутая же свалка химических отходов (химкомбинат и прилегающий к нему участок) находилась в дальнем конце города и вид особо не портила.

Но было в Привольске-218, помимо статуса, еще кое-что, что в нашей истории имеет первостепенное значение. А именно: как, собственно, этот закрытый город появился и кто его населял.

III

Писатель и журналист Максим Терещенко долгое время прожил в Америке. Из России, точнее, Советского Союза он эмигрировал в середине восьмидесятых, в разгар застоя. Причиной отъезда послужила не столько литературная или тем более политическая деятельность. Просто в жене неожиданно проснулась одна восьмая еврейской крови, и эта одна восьмая потребовала срочно перевезти ее на историческую родину, то бишь в Израиль. Максим, в котором не было ни восьмых, ни шестнадцатых еврейской крови, не очень-то хотел ехать, но все приятели стали наперебой крутить пальцем у виска, приговаривая: «Ты что? Ты посмотри, что тут делается, это же бодяга на века», а приятель-художник Маранцев прямо сказал: «Старик, если хочешь оставаться, – оставайся. Дай мне только жениться на твоей жене. Тебе уже все равно, а я еще хочу мир посмотреть». Тем самым подтвердив ходившую в то время поговорку, что жена-еврейка – не роскошь, а средство передвижения. Но Максим представил вечно заляпанного масляной краской да еще и с остатками завтрака в бороде Маранцева в постели со своей женой, и его аж

передернуло. Он понимал, что художник не претендует на полноценный брак, но все равно было как-то неприятно. К тому же восьмилетний сын Максима, словно сговорившись с мамой, стал настаивать на переезде, хотя ему-то, казалось бы, что за дело? И Максим сдался – сказал, что готов. Два года они всей семьей мотались по каким-то кабинетам, выслушивали кучу унижительных гадостей от чиновников различной степени паршивости и ждали вызова из ОВИРа. Были потрачены уйма времени, нервов и денег на различные взятки и справки. С работой становилось все хуже и хуже. Терещенко и без того считался не шибко устойчивым в идеологическом плане писателем, а тут еще жена-еврейка и грядущая эмиграция. Редактор одного толстого журнала ему так прямо и сказал: «Я знал, Максим, что ты ненадежный человек, но чтоб настолько...» – как будто у ненадежности бывают различные степени. Тем более в СССР, где надежность была сродни беременности – либо есть, либо нет, кто не с нами, тот против нас. В общем, все это было довольно мучительно, и Максим уже начал было подумывать, а не повернуть ли колесо истории вспять, то есть повиниться и накропать что-то такое идеологически зрелое. Мол, что там с отъездом, еще бабушка надвое сказала, а жена и сын требовали материальных благ, и немедленно. Не желая понимать, что это входит в логическое противоречие с венцом будущего изгоя-эмигранта, который Максим носил уже второй год. В общем, Терещенко плюнул и написал, но вышло неискренне, а советские чиновники от литературы могли простить все, но неискренность чуяли за версту и не прощали. А в феврале 1985 года они с женой наконец получили разрешение на выезд. 8-го марта они вылетели в ФРГ. 9-го марта прилетели в Израиль. А 10-го марта умер Черненко. Первым секре-

тарем ЦК КПСС стал Горбачев, и началась другая эпоха. Началась, конечно, не сразу, но когда в 1986 году «пошел процесс» перестройки, ускорения и гласности, Максим взвыл. Такой подлости от судьбы он не ожидал. Два года мучений и остракизма на Родине плюс год изувращения иврита и работы типа сторож-мусорщик-охранник на земле обетованной, и на тебе! Но перенес удар стоически. Просто напился в баре, поскандалил с женой и подрался с полицейским. Точнее, попытался подражаться. Потому что его мгновенно скрутили и доставили в участок. Отделался, слава богу, небольшим испугом и большим штрафом.

Несколько лет спустя он узнал, что финалы у таких историй бывают гораздо более трагичными. Так, в какой-то газете он прочитал, что его коллега, один восточнонемецкий писатель, долго вынашивал план побега из ГДР в ФРГ. Ради того чтобы получить доступ к военной зоне в Берлине, он стал работать на Штази, «заложил» нескольких друзей, расстался с любимой женщиной и написал энное количество лояльной макулатуры. Добившись доверия, он наконец получил разрешение побывать в Западной Германии на какой-то литературной конференции. Обратного не вернулся. Это случилось в октябре 1989 года. А через двадцать дней рвущиеся к свободе восточные немцы оттеснили пограничников и, снеся все на своем пути, прорвались в Западный Берлин. В результате стена фактически перестала существовать. А писатель, не вынеся то ли угрызений совести, то ли просто издевательства судьбы, застрелился. И пока где-то шумели братаяющиеся немцы, он лежал в одном из западногерманских двориков с простреленным черепом.

Так или иначе, Максим твердо решил вернуться на Родину. Но сначала надо было уладить развод с женой,

к которой он уже давно не испытывал никаких чувств, кроме приятельских. Она вообще была прагматиком и никогда не понимала заикленности мужа на искусстве, и в частности на литературе. Можно было только удивляться, как им удалось прожить вместе почти десять лет. Еще в СССР ей были глубоко чужды и его радости по поводу чудом добытых книжных раритетов, и его вечно голодные приятели, и их собственная семейная неустроенность. Максим же без искусства себя не мыслил. А что было делать в Израиле? В крошечном государстве, главной заботой которого является выживание? Тут уж не до культуры. В общем, жену все устраивало, а Максима нет. Сложнее было с сыном, которого Максим любил, но тот так рьяно занял сторону матери, что Максиму ничего не оставалось, как положиться на время, которое, как известно, лучший доктор. После развода, Максим сразу решил вернуться в Россию – Израиль ему порядком осточертел. Но в России на тот момент царил форменный бардак-разброд, от которого он даже за один год в Израиле слегка отвык. Тогда он решил махнуть к приятелю в Америку – тот обещал устроить Максима в одну из крупных русскоязычных газет. Думал, что на год, но застрял на добрый десяток лет. В Москву вернулся в конце девяностых. Долго привыкал к новому языку, обычаям, отношениям, а также криминалу, но в итоге пообвыкся, пообтерся, пообтесался и даже начал снова что-то пописывать. Не так активно, как в молодые годы, да и все больше какие-то эссе да статьи, но на хлеб с маслом хватало.

Однако через некоторое время он стал замечать, окружающая действительность его раздражает. Он как-то перестал ее, что ли, понимать. Всю сознательную жизнь он мучился от необходимости интриговать и «хитрожопить» (по любимому выражению одного

его приятеля) и именно поэтому ходил при совке в неблагонадежных. То было, конечно, влияние шестидесятников со всякими их «хочу быть честным» и «днями без вранья». Потом наконец наступило время полного разгула демократии – все бросились говорить друг другу правду, причем желательно в лицо и с легким креном в хамство (тогда это называлось полемикой). Но затем время сделало какой-то странный головокружительный кульбит, и прямота и честность, которыми все прямо захлебывались в конце восьмидесятых и начале девяностых, неожиданно снова уступили место хмыканию, меканию и беканию. Проблема была в том, что в СССР интриги, невнятица и прочие подводные камни были естественной частью советского пейзажа и несли какой-то смысл (идеологический, политический). Не говоря уж про то, что у некоторых были, образно выражаясь, лоцманские карты этого замысловатого подводного ландшафта – люди учились лавировать между этих камней: читали между строк, искали фиги в карманах, намеки и скрытые смыслы. Даже ложь была почти всегда во спасение. В новые же времена идеология перестала доминировать, но и отношения между людьми распались. Причем до такого молекулярного уровня, что нормой жизни снова стала невнятица – вежливая, хамоватая, раздолбайски-пофигистическая, но, увы, непостижимая, ибо в ней не было ни смысла, ни логики. Это была невнятица, вызванная тотальным отсутствием интереса людей как друг к другу, так и к самим себе. А заодно и к окружающему миру.

Максиму отчаянно хотелось зацепить, ухватить эту реальность, потому что он был уверен, что как никто другой болезненно ощущает ее действие на себе. Можно даже сказать, он пытался вывести формулу нашего времени. В дело шло все: от случайных встреч и бро-

шенных фраз до симптоматичных, как он считал, проявлений.

Вот и сейчас, проснувшись после странного сна с сигнализацией и не менее странного разговора с Толиком, Максим сидел перед монитором компьютера и чувствовал, как кровь медленно, но верно приливает к голове, окатывая мозг своими девятибальными волнами. На экране «горел» ответ редактора одного журнала на посланную Максимом статью.

«Уважаемый Максим.

Спасибо за Ваше эссе. Оно нам очень понравилось, и мы были бы рады напечатать его в ближайшем номере журнала.

Тем не менее, спасибо за Ваше время и за то, что обратились в наше издание. С нетерпением будем ждать от Вас новых работ.

*С надеждой на будущее сотрудничество,
Вячеслав Мазуркин».*

Максим несколько секунд в задумчивом и напряжении глядел на этот набор букв, пытаясь вникнуть в смысл письма. Но вникнуть не мог. Было ощущение, будто то ли он со сна чего-то недопонимает, то ли автор письма что-то пропустил. Он еще раз перечитал текст. Нет. Вроде ничего не пропущено. Слова не обрываются, точки в конце предложений поставлены. Он опустил курсор мышки ниже – нет ли какого-нибудь постскриптума, но никакого постскриптума не было. Была, правда, автоматически прикрепленная к письму реклама таблеток для улучшения мужской потенции, но на постскриптум она не тянула. Максим еще раз «побродил» по имэйлу вверх-вниз на предмет какого-нибудь приложенного текстового файла, но ничего не нашел. Тогда снова (уже в третий раз) внимательно перечитал письмо. *«Были бы рады», «тем не менее», «будем ждать».*

«Бред какой-то, – мысленно чертыхнулся Максим. – Если эссе им нравится, то при чем тут “тем не менее”? А если не нравится, то... при чем тут “понравилось”, ебать-колотить?!»

Чувствуя растущее раздражение, он попытался взглянуть на вещи с позитивной стороны. Допустим, журнал *будет* печатать эссе. Они просто оговорились с этим «тем не менее». Но тогда как объяснить иезуитскую приписку «с надеждой на будущее сотрудничество»? Выходит, они надеются, что в каком-то светлом будущем смогут со мной посотрудничать. То есть *когда-нибудь*. То есть не в этот раз.

Максим подумал, что картина вырисовывается скорее негативная. В таком случае весь смысл письма сводится к вежливому отказу. Но что за идиотское «тем не менее»?!

Максим снова опустил курсор мышки на рекламу таблеток для улучшения потенции и замер. А что если эта реклама неслучайна? Что если ее прикрепили с умыслом? Ну, скажем, это скрытый намек на его, так сказать, писательскую потенцию. Вот, мол, Максим Петрович, извините, но старость не радость – стареете, слабеете. И эссе ваше так себе. Вяловатое. Мы вас обижать не будем. Откажем вежливо, а в качестве подсказки нате вам рекламку. Так сказать, дадим маячок.

Но если такой намек подразумевался, то отказ выходил в таком разе не очень вежливый. Можно даже сказать, хамоватый.

Однако по трезвому размышлению Максим эту мысль отменил. Ну а что тогда? Он принадлежал к писателям старой советской закалки, привыкшим искать подтекст там, где его нету, смыслы там, где они и не валялись, скрытую фигу там, где она и не подразумевалась. И надо сказать, что туман, который вольно или неволь-

но напускали современные редакторы или просто люди, отвечающие за переписку, этому немало способствовал. Вот и сейчас он отчаянно пытался обнаружить черную кошку в темной комнате, где и кошки-то, поди, не было.

За свою долгую литературную деятельность в СССР он привык к разным туманным формулировкам, преследующим одну цель – послать автора куда подальше. На этом деле он, можно сказать, целую свору собак съел. В разные годы его произведения были то «идеологически незрелыми», то «идейно невыдержанными», то «художественно несостоятельными».

Иногда они «не отвечали нормам советской морали», иногда «не отражали веяний нового времени», а чаще всего «не учитывали растущие потребности советского общества». Последняя формулировка особенно угнетающе действовала на Максима, потому что вообще находилась за гранью человеческого понимания. Тем более что именно ею пригвоздили, как назло, его наиболее конъюнктурную повесть под названием «Магистраль за горизонт», которую он написал, как раз таки очень даже учитывая растущие потребности если не всего советского общества, то по крайней мере своей жены, а также растущего пропорционально своим потребностям сына: жена требовала шубу, сын – новый велосипед и куртку-аляску.

Но то, с чем он столкнулся в современной России после возвращения, было большим прогрессом в деле невинности отказа. Причем чаще всего было непонятно, отказ ли это вообще. Например, позвонил как-то Максиму один его приятель-кинопродюсер и заявил, что хочет запустить готовый сценарий Максима. Более того, контракт уже готов. Мол, на следующей неделе обсудим финансы и поставим подписи. Так прямо и сказал.

Они встретились. Приятель долго вещал о том, что все идет просто замечательно, что деньги спонсоры дали, режиссера нашли, но контракт надо доделать. Через неделю они снова встретились (уже, правда, по инициативе Максима). Приятель, расплывшись в голливудской улыбке, снова заверил, что все на мази, но туманные сроки – так что, приходи, дорогой, послезавтра, все подпишем. Максим пришел. Приятеля не было на месте. Максим позвонил ему. Тот сказал, что, увы, сейчас занят – все переносится на завтра. Максим вернулся на следующий день. Приятель, светясь уже каким-то нечеловеческим счастьем, заверил, что все отлично, контракт готов, но надо разобраться с финансами. Надо ли говорить, что вскоре Максим уже сам стал ловить приятеля, названивать ему и умолять того просто и честно сказать ему, что ничего не будет. Дескать, он не обидится! Правда-правда. Просто пусть честно скажет – проект развалился. Приятель, слыша подобное, искренне возмущался (неужели, Максим ему не доверяет?!) и говорил, что все вот-вот состоится, не надо только паниковать. Это продолжалось почти месяц. Наконец Максим сдался. Перестал звонить, перестал ходить. Его, впрочем, тоже не тревожили. Однако Максима мучил один вопрос – ЗАЧЕМ?! Зачем было затягивать момент отказа, почему нельзя было напрямую сказать «извини, старик, сорвалось»! Максим ночей не спал, все пытался отгадать этот ребус. Может, приятель хотел его унижить, но за что? Может, действительно все было на мази, но со дня на день что-то менялось и приятель боялся отпугнуть Максима? Может, мировой финансовый кризис неожиданно выкосил благодатное для творчества поле и никто не догадался, что это всерьез и надолго? Увы, все эти версии выглядели, мягко говоря, неубедительными. Так и не понял. Потом даже попы-

тался сублимировать свое недоумение в повесть под названием «Эпоха вежливости», но как-то не заладилось.

«Вот ведь время, – подумал тогда Максим, – ускользающее какое-то... Деньги то ли есть, то ли нет, приятель то ли есть, то ли нет, реальность то ли есть, то ли нет».

И теперь, глядя на монитор, где некий Вячеслав Мазуркин (человек ли, фантом ли) писал ему что-то невразумительно-вежливое, та же мысль промелькнула в голове.

Максим закурил, но даже вкус сигареты показался ему искусственным и неопределенным. Поморщившись, он задавил сигарету в пепельнице и вспомнил, как буквально полгода назад, ползая в Интернете, наткнулся на биографическую справку о себе. Точнее, это была небольшая статья в электронной энциклопедии, где, как водится, были указаны и основные биографические данные. Статья была написана бойким и одновременно гладким языком. Никакой критики и никакого личного отношения – вот, мол, есть и такой писатель-литературовед. Вряд ли бы Максим стал читать следующую за статьей «свою биографию» – он ее и сам знал назубок, однако первая же строчка зацепила его глаз и вызвала легкое раздражение: в ней был неверно указан год рождения. Максим бросился читать дальше и понял, что неверный год рождения – это цветочки. То, что было написано дальше, нельзя было даже назвать небрежностью, это было просто-таки злонамеренное искажение фактов. Все было настолько перевернуто, что Максим даже стал подумывать, не идет ли речь о каком-то другом, неизвестном ему, тезке-однофамильце. Но это предположение пришлось отменить, ибо указанные в справке произведения действительно принадлежали его перу. Их, слава богу, почти не тронула буйная фантазия автора статьи, если не считать, что

сборник рассказов Максима назывался «Душевный прорыв», а не «Душевный прорыв» и вышел он не в 67-м году, а в 77-м. Но самым неприятным было то, что автором сей справки значился старый (и, можно сказать, добрый) приятель Максима Игорь Бубенцов – милейший, обаятельнейший человек. Прочитав заметку, Максим пришел в такое душевное волнение (вот он, «душевный прорыв»), что едва не бросился искать бубенцовский телефон, чтобы немедленно высказать ему свое презрительное фи. Но затем поостыл и плюнул. Судьба, однако, осталась недовольна отходчивостью Максима и буквально через пару недель сама столкнула его и Игоря в редакции одного из московских журналов. Они поздоровались, пожали друг другу руки, задали несколько дежурных вопросов о здоровье и личной жизни, а затем Максим все-таки решился спросить насчет той заметки.

– Извини, Игорь, хотел тебя спросить, а это не ты, часом, статью в Интернет-энциклопедию писал?

– Какую? – удивился Игорь, но потом вспомнил: – А-а... Было дело. Писал. И что?

– А кто справку составлял? – спросил Максим, продолжая в глубине души надеяться, что к справке Игорь не имеет отношения.

– Ну я, – так же спокойно ответил Игорь.

– Прости, но я никогда не печатался в газете «Завтра»... – робко начал Максим.

– Слава богу, – искренне обрадовался Игорь. – Вот уж куда не надо, так не надо.

Максим растерялся. Он ожидал ну хотя бы удивления или сожаления.

– Но я вообще не сорок девятого года рождения!

– Да? – удивленно потер мочку уха Игорь. – А я вроде и не писал, что сорок девятого...

– Но там стоит сорок девятый.

– Ну, значит, это редакторы че-то напутали. Это ж поколение пепси. Через одного дебилы. Чего от них ждать, уродов криворуких?

– Но я не заканчивал филфак МГУ!

– Точно не заканчивал? Ну, старик, надо закончить. Раз начал.

Игорь рассмеялся и фамильярно хлопнул Максима по плечу, но, заметив, что тому не до смеха, стер улыбку.

– Извини, но вот это точно без моего ведома вписали. Я им сказал – проверить!

– Но ты же мог и сам проверить!

– Да буду я еще с этими идиотами малолетними связываться! Все равно все перевернут.

– И в «Известиях» я не публиковался!

– Вот это молодец! – не моргнув похвалил Максима Игорь. – И не лезь туда! Не надо.

– И я не печатался в израильской прессе! – возмущенно продолжил Максим.

– Слушай, – как будто искренне расстроился Игорь, – я все понимаю, но для этих молодых что Израиль, что Япония – все на одно лицо. Не переживай. Я иногда такое про себя читаю, что волосы на жопе дыбом встают.

– Да как это, блядь, не переживай?! – завопил, потеряв терпение, Максим. – Там же все выдуманно и перевернуто! Можно же было все это проверить? Твоя ж подпись стоит.

– Максим, твою мать. Ну, стоит моя подпись, и что? Я ж тебе говорю, это сидят молодые уроды и лепят, как бог на душу положит. Я могу хоть сто раз проверить, они все равно в конце все перевернут. Лучше не связываться. И зря ты так кипятишься. Не стоит оно того. Ладно, старик, все. Нет времени болтать. Держи связь. Я побежал! Удачи!

Игорь улыбнулся своей фирменной обаятельной улыбкой и исчез. Максим остался стоять в полном недоумении.

Вернувшись домой, он тут же сел писать повесть под названием «Эпоха раздолбайства». Но быстро сник, потому что нужно было придумывать сюжет, а сюжета-то в голове и не было.

Потом прошло немного времени, и Максима позвали на какую-то кинотусовку, кажется, премьеру нового фильма. Там он встретил старого знакомого режиссера Андрея Савенкова. Тот был с молоденькой пассией, студенткой сценарно-киноведческого факультета ВГИКа, Светланой. Девушка была хороша собой, связно говорила и явно разбиралась в истории кино. Максим был приятно удивлен таким редким сочетанием красоты и насмотренности. Они говорили о новых российских фильмах, и девушка даже высказала несколько спорных, но интересных суждений. Но в какой-то момент Максим упомянул художника Магритта. Девушка с удивлением посмотрела на Максима и недоуменно спросила: кто это? Максим вежливо объяснил.

– Ах, художник! – успокоилась та. – Но я живопись не люблю.

– Как это? – растерялся Максим. – Кино и живопись – искусства визуальные, стало быть, родственные. Надо же хотя бы немного разбираться в изобразительном искусстве. Это ведь как театр. Смешно разбираться в кино, но при этом не ходить в театр.

– А я и не хожу, – без тени смущения ответила девушка. – Мне театр как-то неблизок.

Максим хотел было начать вещать что-то про кругозор, но потом понял, что бессмысленно. Это было новое поколение, уверенное, что доскональное знание творчества Ахматовой позволяет не знать, кто такая

Цветаева. А если ты учишься на актерском факультете, то зачем тебе знать историю кино? А если ты занимаешься станковой живописью, то зачем тебе ходить в театр?

Придя домой, Максима бросился писать повесть под названием «Эпоха безразличия». Но и эту повесть бросил, так толком и не начав.

Однако он уже чувствовал, что ускользящее время постепенно раскрывает перед ним свою сущность. Еще немного, и он поймает его за хвост, выпотрошит и, может, даже приготовит что-нибудь съедобное. Может, роман. И вот тут такое заманчивое предложение – написать книгу о «Глаголе». Удачно, черт возьми! Впрочем, не надо бежать впереди паровоза – знаем мы эти «предложения».

Максим пододвинул пепельницу, достал затушенный «королевский» бычок и снова закурил. Жена в свое время выгоняла его то на балкон, то на лестничную клетку. Теперь холостяцкая жизнь позволяла курить везде и всегда. Он зажал сигарету зубами, затянулся и, положив сцепленные руки на затылок, задумался. Надо бы написать что-то в ответ этому треклятому Мазуркину, но что? Едкое? Высокомерное? Унизительно-понимающее? Заранее страдая от бессмысленности готовящегося действия, Максим занес руки над клавиатурой, как пианист перед сложным этюдом, но так и просидел с полминуты, не зная, куда эти руки опустить.

Сам не заметил, как мысли упрямо перенесли его к предложению о книге.

Нет, черт возьми. Надо бы попробовать рассказать этой гребаной тупой современной молодежи, кто стоял у истоков их свободы. Перекинуть, так сказать, мостик из того времени в это. И заодно раскрыть серость современности через яркую историю «Глагола», худож-

ников в загоне, диссидентство семидесятых и прочее. Рассказать, что то поколение было во многом гораздо свободнее нынешнего. Что богатый внутренний мир позволял ему уходить от внешних запретов и сохранять здравый смысл и внутреннюю независимость. Хотя и идти на определенные компромиссы и жертвы.

Неплохо сказано, черт возьми.

Максим почувствовал, что загорелся. Аж подушечки пальцев зачесались. Это было давно забытое ощущение. Ведь и он во имя искусства тоже часто шел на жертвы. И иногда (редко, но все же) спрашивал себя: а не зря ли были эти жертвы? Этой книгой он смог бы доказать себе и остальным, что нет, блядь! Не зря!

Максим решительно закрыл страницу электронной почты, собрал распечатанные сценарии и сложил их на пол у стола.

Все! Дашь свободу творчества!

Максим открыл новый документ и быстро напечатал:

«То было время замороженных мечтаний, приглашенных кухонных разговоров и давящей серости. Серости, которая лишь казалась всесильной, ибо ей противостояли те, кто...»

Тут Максим запнулся, неожиданно зевнул и почувствовал, что прерванный сон потихоньку возвращается, туманя сознание. Он стал что-то исправлять, переправлять. Окончательно запутался и замер. Во рту тлела сигарета.

«Литература литературой, – подумал он, – но без живых свидетелей эпохи ничего не будет. Завтра начну поиски».

Он задавил бычок, выключил компьютер и пошел досыпать.

IV

Проснувшись, Максим первым делом вспомнил о книге. Мысль была приятной, и, позавтракав на скорую руку, он принялся обзванивать знакомых на предмет, нет ли у кого каких-то связей с бывшими участниками «Глагола». Но почти тут же наткнулся на глухую стену – удивительным образом никто ни с кем не поддерживал никакой связи и, более того, не знал, где хотя бы приблизительно эти бывшие приятели и знакомые проживают.

«Вот те на, – подумал с раздражением Максим. – Хаю новое поколение за нелюбознательность, а наше-то ничем не лучше».

За три часа он переговорил с кучей людей. Все без исключения только хмыкали в ответ и мычали что-то нечленораздельное. В лучшем случае. В худшем просто говорили: «Да здесь такие уже сто лет не живут», – и вешали трубку. Это стало сильно утомлять Максима. Он не ожидал, что сбор материала окажется самой трудоемкой частью дела. Впрочем, быстро сдаваться он не привык – всю жизнь считал себя слугой культуры и, когда речь заходила о том, чтобы просветить, образовать,

поддержать, шел до конца. Но тут было что-то нереальное. Какая-то железобетонная стена. Словно не было вовсе никаких семидесятых, никакого «Глагола», никаких куперманов с файзуллиными, словно он сам это все выдумал для собственного развлечения.

Единственной удачей был разговор с бывшей женой поэта Купермана. Та сказала, что понятия не имеет, где ее бывший муж, но в семьдесят девятом году, через пару недель после его отлета в Германию, она получила от него открытку с видами Мюнхена, где он написал, что долетел нормально. Датирована была открытка днем перелета.

– И все? – спросил Максим.

– Все, – сказала та. – А чего ему мне писать? Мы же еще до этого дурацкого «Глагола» развелись. Детей у нас не было. Мне всего-то девятнадцать лет было. Наверное, нашел себе немочку какую-нибудь – и привет.

– И у вас никогда не было желания его найти?

– Ну вот еще! – хмыкнула та. – Он за все это время обо мне не вспомнил, а я его должна искать? Тем более я потом замуж вышла, у меня своих хлопот хватало.

– Так, может, он вообще умер.

– Да? – спросила та и задумчиво добавила: – Может быть.

Писатель Бухреев, который вместе с Максимом провожал глагольцев и прочих диссидентов в тот день, сказал, что один номер альманаха у него где-то есть и он готов его одолжить Максиму.

– А зачем тебе?

– Да видишь ли, – замялся Максим. – Мне предложили написать книгу...

– А-а... понятно. Мне тоже предлагали.

– Да?! – изумился Максим, которого несколько поколебало, что предложение не было эксклюзивным.

– Ну да. Только я почему-то им не подошел. Я ведь близко только Авдеева знал. Остальных шапочно. Хотя какая им разница?

Максим выждал несколько секунд, переваривая эту странную информацию, затем вернулся к теме звонка.

– Ну а людей-то как мне найти?

– Черт его знает... Прошло столько лет... Знаю, что мать Авдеева получала какие-то открытки от сына.

– Откуда?

– Ну как откуда! Из Германии.

– Опять из Германии! Слушай, я не пойму. Меня одно-го, что ли, удивляет, что почти за сорок лет никто из эмигрировавших никак о себе не заявил? Люди талантливые плюс-минус, деятельные, с именами, в общем-то активные диссиденты. И ни о ком я за все это время не слышал ничего. А я ведь жил и в Израиле, и в Америке. Никто не работал на «Голосе Америки», никто не выступал по Би-би-си, никто не писал в эмигрантской прессе. Что, в конце концов, за чертовщина?!

– На меня-то ты чего орешь? – разозлился Бухреев.

– Извини, просто странно это...

– Погоди, – вдруг замер на том конце провода Бухреев. – Вот ты сейчас про радио сказал, и я вспомнил.

– Что ты вспомнил?

– Я вспомнил, что Купермана звал к себе Бессонов.

– А кто это?

– Редактор на «Радио Свобода» в Мюнхене. Он еще в конце пятидесятых сбежал. Я их как-то познакомил, и он пригласил Купермана к себе на радио.

– Ну слава богу! – обрадовался Максим. – Хоть какая-то ниточка. Давай его координаты.

Бухреев продиктовал длинный заграничный номер, хотя предупредил, что телефон мог устареть – с Бессоновым он контакт не поддерживал.

И, уже перед тем как повесить трубку, сказал Максиму:
– Послушай... так ты ж вроде еще с Яшей Блюменцвейгом дружил.

– Было дело.

– А я вот о нем что-то слышал... то ли читал где-то... Правда, может, это был какой-то другой Блюменцвейг.

– Увы, – усмехнулся Максим. – Слышать я тоже что-то слышал. Можно сказать, Блюменцвейг – единственный, о ком я вообще что-то слышал. В Интернете видел, да вот только найти его самого так и не смог, хотя и хотел. Так что хрен редьки не слаще.

– Ну, бывай.

– И тебе не хворать. А за «Глаголом» я на днях заеду. После разговора с Бухреевым Максим задумался.

Яша Блюменцвейг был его однокурсником по литинституту в далекие семидесятые. После института их пути разошлись. Яков увлекся сионизмом, диссидентством и быстро попал под колпак КГБ. Максим же стал умеренным конформистом, то есть ни с кем не воевал, просто кропал свои рассказы, подрабатывая в журналах редактурой. Если печатали, был рад. Если нет, огорчался, но не сильно. Если просили подправить, подчистить, подсократить, легко правил, чистил и сокращал. При этом числился он в «подающих надежды» и действительно был небесталанен. И доверяли ему. До тех пор, пока в жене, как уже было сказано, не проснулась одна восьмая еврейской крови. А Яша так достал компетентные органы, что ему посоветовали ехать в свой Израиль. Он и поехал, точнее, полетел. Вместе со всеми – через Мюнхен. Когда же спустя пять лет и Максиму выпала дальняя дорога, он был уверен, что легко найдет Яшу в Израиле – Блюменцвейга отличала еврейская деловая хватка. Но никаких следов Яши, к своему удивлению, не обнаружил. Потом перелетел в Америку.

ку – та же история. В конце восьмидесятых, случайно оказавшись в одном из ресторанов на Брайтон-Бич, он услышал, как на мотив популярной советской песни «Полюбите пианиста», некогда исполняемой Леонтьевым, какой-то хохмач с одесским акцентом поет песню, где оригинальные слова были переделаны на стебный манер. Что-то типа *«Полюбите сиониста, хоть он с виду неказистый»*. Максим слушал вполуха. Пока отчаянно грассирующий певец не дошел до строчек:

Пусть он не Фейхтвангер и не Цвейг,
Полюбите сиониста быстро, быстро, очень быстро –
Завещал нам Яша Блюменцвейг.

Тут Максим вздрогнул. И, когда песня кончилась, подошел к певцу узнать, когда, а главное, где и кому Яша что-то завещал. И вообще при каких обстоятельствах он умер, раз даже успел что-то «завещать». Певец удивился и сказал, что лично Яшу не знает, но знает, что тот живет в России. А что касается завещаний, то просто после перестройки Блюменцвейг выпустил какую-то антисемитскую брошюру, которая наделала много шума в эмигрантских кругах.

– А чего ж вы поете, что Яша завещал «полюбить сиониста», да еще и очень быстро?

– Ха! – усмехнулся певец. – Таки в том и весь изюм цимеса шутки юмора. Яша завещал нам «быстро полюбить сиониста». Полюбить в прямом смысле.

И певец недвусмысленно задержал бедрами и быстро задержал руками взад-вперед, как будто что-то на себя натягивал.

– Ты меня понял, да? – захохотал он, и его брюхо затряслось от смеха, как будто хохотало отдельно от хозяина.

Брошюрку эту Максим потом нашел, прочитал и обалдел. Он был готов к антисемитизму, но то, что он прочел, была настоящая, можно сказать, вопиющая юдофобия. Причем не очень доказательная и как будто намеренно грубая. То есть с реанимацией пещерных мифов о жидомасонском заговоре, крови христианских младенцев и протоколах сионских мудрецов. Автор выглядел то ли идиотом, то ли шутником, то ли провокатором.

Оказавшись в Москве, Максим принялся искать Яшу, но оказалось, что тот уже где-то в Питере. Начал искать в Питере, а Яша уже почему-то в Омске, потом в Самаре, потом еще где-то. В конце концов цепочка оборвалась.

«Нет, – подумал Максим, – Яша, похоже, так же не уловим, как и все остальные. Надо звонить Бессонову насчет Купермана».

Он набрал немецкий номер, не шибко надеясь, что сразу попадет на нужного человека, и уже заранее напряг свою память на предмет английского языка, если ответит иностранец. Но тут удача ни с того ни с сего улыбнулась ему – трубку взял сам Бессонов.

Максим сбивчиво объяснил суть дела. Повисла долгая пауза. Похоже, Бессонов никак не мог взять в толк, о чем его спрашивают. Минуты через две до него наконец дошло.

– Так вы про того Купермана, который в конце семидесятых должен был прилететь в Мюнхен?

– Именно! – обрадовался Максим.

– Теперь я вспомнил. Мы даже договорились с Бухревым, что я встречу Купермана в мюнхенском аэропорту. Я тогда только-только машину купил... Да... И что же вы от меня хотите? – неожиданно поинтересовался Бессонов в конце своего короткого монолога.

– Как что? – опешил Максим. – Мне нужно его найти. Не Бухреева, а Купермана в смысле. Ну наверняка у вас есть его координаты и все такое.

– У меня? – удивился Бессонов. – Откуда? Я его и не видел никогда.

– Подождите, – растерялся Максим. – Вы же сами до этого сказали, что ездили в аэропорт его встречать.

– Ездил, – согласился Бессонов. – Но я не говорил, что его встретил.

– То есть как?

Максим почувствовал, что сходит с ума. Даже изощренные логические изгибы Толика Комарова по сравнению с ответами Бессонова были просто детским лепетом.

– Погодите, – сказал Максим, переводя дыхание, чтобы унять волнение и привести мысли в порядок. – Была осень 79-го года. Я поехал в Шереметьево провожать друзей. Среди прочих был и Куперман. Рейс «Аэрофлота» Москва – Мюнхен. Они прошли контроль, сдали багаж, сели в самолет и взлетели. Мы помахали им вслед рукой. Вы поехали их встречать в аэропорт в Мюнхене. Правильно?

– Абсолютно, – согласился Бессонов. – Хотя могу отвечать только за немецкую сторону дела.

– Но почему-то не встретили.

– Не почему-то, а по вполне конкретной причине.

– Какой же?

– Никакого самолета из Москвы в тот день не было.

Максим подумал, что ослышался.

– Не было самолета из Москвы?!

– Ни одного. Ни из Москвы, ни вообще из Союза. Когда в назначенное время рейс не высветился на табло, я пошел к окошку информации и узнал, что такого рейса не было, нет и не будет. Более того, я сейчас

вспомнил, что спустя некоторое время позвонил в представительство «Аэрофлота».

– И что?

– Там мне сказали то же самое. Никаких рейсов из Москвы в тот день не было. Я, конечно, подумал, что Бухреев что-то перепутал, но перезванивать не стал. Куперман не был моим приятелем, и у меня были другие дела. Кроме того, у него был мой мюнхенский номер, и я знал, что если он прилетит днем или неделей позже, то позвонит. Вот только он уже больше не позвонил.

– Но Куперман прислал открытку.

– Кому? – удивился Бессонов.

– Своей бывшей жене. Я с ней сегодня разговаривал. Более того, открытку он отправил из Мюнхена. И датирована она была днем отлета.

Бессонов хмыкнул.

– Это невозможно. Я уже сказал, что рейсов из СССР в тот день не было. Более того, они и не ожидались.

Максим почувствовал, что все функции головного мозга в одну секунду отключились, словно кто-то дернул главный рубильник. В голове стало темно и тихо.

– Ау! – сказал Бессонов. – Вы тут?

– Я-то тут, – ответил Максим глухо. – А вот где самолет с Куперманом?!

V

Майор Кручинин не был солдафоном. Он был мыслящим человеком. Более того – убежденным либералом. Что в контексте его службы в КГБ означало следующее: вместо того чтобы душить, давить и карать, он придушивал, придавливал и журил. Разница, если вдуматься, огромная, ибо он был одним из немногих в этом учреждении, кто понимал, что одной силой ничего не сделаешь, а посему искал компромисса с теми, кто находился под неусыпным оком власть имущих. Он проводил долгие изнурительные беседы с диссидентами, бунтарями и антисоветчиками. Действовал мягко. Голос не повышал. Угрозами не злоупотреблял. Обладая явным талантом психолога, к каждому искал индивидуальный подход. Чувствовал, где следует перебить, а где выдержать задумчивую паузу. Если была возможность, демонстрировал неплохие для советского чиновника познания в искусстве: цитировал классиков, приводил примеры из истории и часто добивался желаемого результата. Так, однажды Кручинину пришлось уговаривать одного яркого диссидента-литератора не печатать на Западе свой автобиографический роман. Роман но-

сил броское, если не сказать наглое название – «Я против СССР» и был посвящен, как можно догадаться, бесконечным мытарствам автора, его борьбе с властью, предательству друзей, жестокости КГБ и прочее, и прочее. Немудрено, что вследствие такой эгоцентричности автор получался весь в белом и в шляпе с пером, то есть принципиальным и смелым, а его противники – злыми и беспощадными, как Бармалей из сказки. Все же остальные (включая родных и друзей автора) выглядели просто бледными тенями, бродящими по страницам романа и вяло уговаривающими героя уступить врагу. В принципе в книге не было ничего такого, чего бы продвинутая западная публика не знала, но в это время начался короткий период потепления отношений с Америкой, и роман был совсем некстати, тем более что руководство СССР планировало повернуть важную экономическую сделку с проклятыми капиталистами. Перед Кручининым стояла задача оттянуть, а желательно, и вовсе пресечь опубликование романа. Встретившись с автором, он перво-наперво похвалил того за интересную книгу.

– Вам понравилось? – удивился автор.

– Конечно! – всплеснул руками майор, как бы давая понять, что такая книга не может не понравиться. После чего процитировал наизусть несколько запомнившихся ему мест.

– Более того, хоть я и не специалист, но вижу, что литература – ваше призвание. И пока есть вдохновение, надо писать. Срочно беритесь за второй роман. У вас уже есть задумки?

Автор замялся, ибо никаких задумок у него не было. Обличительный пафос был главной составляющей его творчества, но в первом и пока единственном романе он и так обличил все, что мог.

– Ну-у-у... я работаю... понемногу, – вяло сказал он.

– Вот и чудесно! – обрадовался майор.

– Что же тут чудесного, если мой роман не может быть опубликован на Родине? – с вызовом спросил автор и не к месту чихнул. Чихнул как котенок – негромко и как-то по-детски зажмурившись.

– Кто это вам сказал? – удивился Кручинин. – Разве вы носили его в издательства, в журналы?

– Нет, – растерялся автор. – Но, простите, это даже смешно обсуждать. Кто возьмется печатать такую... э-э-э...

– Антисоветчину? – пришел на помощь майор.

– Ну да.

– А где там антисоветчина?

– Как где? – изумленно спросил автор. – А арест? А лагерь?

– Двадцатый съезд сурово осудил сталинизм. В этом мы с вами совершенно единодушны. Тут, можно сказать, вы шагаете в ногу с генеральной линией партии.

– Но в романе мой герой... то есть я... то есть герой от моего лица говорит, что советская власть душит инакомыслящих.

– А разве это не художественный роман?

– Художественный.

– Ну, если роман художественный, то слова героя есть не более чем слова героя. Ну не приписывать же реплики Остапа Бендера Ильфу и Петрову. Это же смешно. Вы согласны?

– Но в большей степени документальный, – поспешно поправился автор, поняв, что где-то дал маху.

– Понимаю, – кивнул Кручинин. – Пускай так. Однако если он документальный, то разве можно отрицать то, что было?

– В каком смысле?

– Вы сказали что-то кому-то, потом пришли и записали. Честь вам и хвала.

– Я что-то не очень понимаю... То есть, по-вашему, если я кому-то сказал, что осуждаю Октябрьскую революцию, то честь мне и хвала?

– Так я не говорил, – уклончиво ответил майор. – Однако у нас по Конституции свобода слова.

– Ну знаете! – усмехнулся автор. – У нас по Конституции много чего есть, однако ничего из этого не соблюдается.

– Выходит, в нашей стране не соблюдается Конституция?

– Естественно!

– Так еще лучше! – обрадовался Кручинин. – Значит, вы своей книгой помогаете узакониванию и восстановлению советской Конституции.

– Я? – удивился автор.

– Ну не я же. Где же тут антисоветчина, если вы выступаете за исполнение советских законов?

– Что-то я запутался, – растерялся автор. – Ну хорошо. Допустим, я за советские законы...

Тут он задумался, потому что никак не предполагал, что, оказывается, борется за законы, тем более советские. – Но... но... власть...

– Меня другое смущает, – с неожиданной озабоченностью ловко перебил его Кручинин и досадливо щелкнул пальцами.

– Что? – растерянно откликнулся автор, который все еще переваривал логику майора.

– Скажите, вам нравится Достоевский?

– Пожалуй, – осторожно согласился писатель, который уже боялся любых вопросов издалека.

– В вашем романе описаны... и очень хорошо описаны... ваши сокамерники. Например, Василий Колбышев. Шестнадцатилетний парень, который...

– Стучал, – хмуро закончил писатель.

Кручинин поморщился от резкости формулировки.

– Допустим, так, – согласился он после небольшой паузы. – Но ведь стучал-то он, не зная, что стучит.

– Как это?

– Простой деревенский парень, кстати, с небольшими психическими отклонениями, это я сам выяснил, в детстве упал с лошади на голову... Так вот, попадает этот простой деревенский паренек в камеру за пустяковое дело – случайно сжег советский флаг и портрет Сталина в красной комнате, забыв затушить окурок. Он виновен?

– Нет, конечно. Из-за случайности сжег кусок ткани и портрет в рамке, а ему пятнадцать лет вкатали!

– Прекрасно. Так вот, этот паренек воспитывался в духе сталинизма, то есть с несколько искривленными понятиями о добре и зле. А в этом он виновен?

– Да нет, в общем... – замялся автор.

– И вот он попадает к политическим, к вам то есть. Начальством ему внушается, что все вы – преступники, плетущие заговор против Сталина. Наивный, слегка стукнутый на голову и, как мы выяснили, по всем статьям невиновный, он помогает следователю, считая, что исполняет свой гражданский долг, то есть... доносит на вас. Можем ли мы осуждать его за то, что государство сделало с его сознанием?

– Наверное, нет, – сказал автор, но напрягся так, что покраснел.

– Вот видите...

Тут Кручинин выдержал долгую паузу, словно размышляя.

– Я, простите, вспомнил один случай... Сидел такой же вот паренек в усть-колымском лагере. Его тоже по-дозревали в доносительстве. Так вот, на воле, уже после

амнистии, он повесился, потому что не имел возможности оправдаться, то есть снять с себя те обвинения, которыми его осыпали знакомые, прознавшие об этом факте. Ну это я к слову... Василий Колбышев сейчас живет в Москве, у него молодая жена и трехлетняя дочь. Вы сейчас выпустите книжку на Западе или у нас, это неважно. Она прогремит, конечно.

Смущенный похвалой автор слегка потупил глаза.

– Прогремит, прогремит, – уверил его Кручинин. – И вот в ней будет написано, что такой-то такой-то – сволочь и стукач.

– Но он же стучал! – недоуменно поднял глаза автор.

– Стучал. Как факт. Но разве голый факт есть истина? Я могу написать, что Джон Вуд убил несколько людей. Будет ли это фактом? Безусловно. Но будет ли это истиной?

– А кто такой Джон Вуд?

– Джон Вуд – это американский сержант, приводивший в исполнение приговор Нюрнбергского процесса, вешал нацистских преступников. Так я вас спрашиваю, будет ли справедливым назвать его убийцей? С точки зрения факта – да. Но с точки зрения истины – нет, ибо какой же он убийца? Исполнял долг, как он его понимал. Так вот и Колбышев исполнял свой долг, как он его понимал, – стучал. Но стучал по наивности, а не по злему умыслу. А после вашей книжки, где ему посвящена целая глава, после такого тяжелого обвинения он за просто может повеситься. Вы *будете* содержать его вдову и трехлетнюю дочку-сироту?

Автор растерянно заморгал.

– А ведь вы своей книгой боретесь за истину. Где ж тут истина?

Автор продолжал удивленно смотреть на Кручинина, не в силах что-либо противопоставить что-либо иезуитской логике.

– А при чем тут Достоевский? – выдавил он, неожиданно вспомнив начало беседы.

– При том, что стоит ли счастье мира, да и истина, будь она неладна, одной слезы невинного младенца?

Автор сглотнул ком в горле и прокашлялся.

– Ну, я могу изменить его имя, – тихо сказал он.

– Во-первых, вычислить, кто это, будет несложно. А во-вторых, ну измените вы одно имя в романе, а остальные что? Где же тут принцип? А ведь таких, как Колбышев, у вас мно-о-о-о-го... Или вот у вас допрос заключенного. Применяются пытки, которые никогда не применялись, и...

– Ну это-то вы знать не можете! – с вызовом бросил писатель.

– Ну здрасьте. Были зверства, согласен. Это не секрет. Об этом и Солженицын писал. Но у вас уже не пытки, а просто садизм – отрезают уши, заставляют их есть...

Кручинин брезгливо поморщился.

– Поверьте, что в девяноста девяти случаях из ста достаточно привести родственника заключенного и угроzić ему расправой, и заключенный подпишет что угодно. А в большинстве случаев и обычного мордобития хватит... Вот в чем беда. А вовсе не в мнимой антисоветчине. Бог с ней. В том беда, что истины у вас нет, а яростного стремления к ней хоть завались. А почему? А потому, что «проповедовать добро, справедливость и благородные деяния перед жестокосердным государем значит показать свою красоту, обнажая уродство другого». Это не я сказал, это китайский философ Чжуан-цзы. А уж он-то коммунистом, поверьте, не был, ибо жил в четвертом веке до нашей эры. Вы демонстрируете собственную красоту за счет несправедливо замеченного уродства остальных. Это нехорошо. Не в смыс-

ле закона, а просто с человеческой точки зрения, если хотите, с христианской. Подумайте над этим. И приходите через месяцок. Или когда захотите. Мы с вами еще поговорим о романе. И даю слово, что посодействую его публикации здесь. Здесь-то он важнее, чем на Западе, согласитесь. Кстати, название смените.

– Почему?

– Ну, – поморщился Кручинин. – «Я против СССР». Ну представьте, что француз выпустит книжку «Я против Франции». Да его заклюют. И не какие-то там патриоты, а самые что ни на есть простые французы. Какой же ты француз, если ты против своей Родины?

Тут, однако, писатель уловил легкий логический прокол.

– Да, но я не против России, я против СССР. А это разные вещи.

– Вот видите, – рассмеялся Кручинин. – Вы снова говорите о фактах, а не об истине. Преемник России – Советский Союз. Это историческая реальность. Стало быть, вы выступаете против своей страны, как бы она ни называлась. Да и потом. Вы же писатель, а не фельетонист. К чему такие прямолинейные названия? Представьте, что ваш любимый Достоевский назвал бы роман не «Игрок», а «Я против игры в рулетку!». Абсурд. Назовите художественно, красиво, аллегорично. Впрочем, подумайте. И приходите.

Растерянный автор так и не переправил рукопись за рубеж. Внес кучу исправлений, потом еще несколько раз приходил к Кручинину, выслушивал замечания. Когда же СССР наконец провернул необходимую сделку и отношения с Америкой снова расстроились, проблема стала неактуальной. А едва писатель плюнул на увещевания майора и таки предпринял попытку напечатать роман за границей, оказалось, что КГБ уже ловко слил ин-

формацию о том, что роман писался с замечаниями и чуть ли не в сотрудничестве с майором госбезопасности. Компромат был настолько убойный, что писатель отложил публикацию романа до лучших времен.

Впрочем, несмотря на явный талант Кручинина общения с диссидентами, многие в КГБ считали, что майор «миндальничает» и «своевольничает». Конечно, не без основания, ибо Кручинин действительно имел убеждения и не «колебался вместе с линией партии», как многие его коллеги (естественно, быстро карабкающиеся по карьерной лестнице). Впрочем, системе он себя ни в коей мере не противопоставлял, считая, что порочность оной можно исправить доброй волей, порядочностью и умением находить общий язык. Так уж вышло, что пришедший в КГБ в середине шестидесятых Кручинин был уверен, что госбезопасность – это не более чем госбезопасность, то есть нечто, что есть в любой, даже самой раскапиталистической стране. Быть на страже власти, но не перегибать палку – вот задача подобной организации. Не то чтобы у него не было никаких претензий к этой самой власти – он прекрасно понимал все ее, мягко говоря, несовершенство, – но искренне верил, что все к лучшему. К тому же он считал, что легкий мороз семидесятых после оттепели – явление временное, надо просто набраться терпения. Но время шло, а морозы то крепчали, то слабели, однако оттепелью все не пахло. В конце семидесятых все либеральные поползновения пришли в стабильно замороженное состояние. Майор понял, что его упрямый идеализм начинает слегка выпирать на общем фоне, раздражая начальство. Более того, началась какая-то подковерная возня, интриги, подкапывания, подсиживания, чего Кручинин на дух не переносил, ибо, несмотря на гэбэшные погоны, в делах карьеры

ерных был шестидесятником со всеми вытекающими: наивным, беззубым, прямым душой. Финальным витком этого взаимного раздражения стал неожиданный вызов к полковнику Мошкину. Там майор узнал, что ему предстоит возглавить небольшой закрытый город Привольск-218. Кручинин не был идиотом, поэтому сразу понял, что перед ним палка о двух концах. С одной стороны, ему доверяют солидное государственное дело, с другой – дело это было скользким и неиспытанным. А это означало, что при первом ЧП (а таковое было неизбежно) его хорошо вздрючат по партийной линии, понизят в должности и переведут на нудную канцелярскую работу, если вообще не уволят. Оттого с первой минуты Кручинин взялся за дело добросовестно, хотя и осторожно. Прихватил с собой лейтенанта Чуева, который был предан ему душой и телом. Наладил связи с руководством расположенного рядом города С. (там, конечно, не знали деталей, знали, что будет просто закрытый город). Но самое главное, Кручинин решил подробно информировать центр о том, что происходит в Привольске-218, и мгновенно жаловаться на нехватку того или сего, чтобы подстраховаться. Например, будет просить прислать больше охранников. Их, конечно, не пришлют, но если случится побег, утечка информации или еще что, Кручинин достанет документ со своей просьбой и пожмет плечами: я же предупреждал. В этом, конечно, тоже была своя наивность, ибо, как говорил начальник Кручинина полковник Мошкин, «был бы повод, а причина найдется». Но что возьмешь с шестидесятника, даже если он майор КГБ?

Так или иначе, но именно Кручинину был вверен Привольск-218.

VI

После разговора с Бессоновым Максим положил трубку и несколько секунд тупо пялился в экран включенного телевизора. Он даже предпринял робкую попытку сосредоточиться, но на экране шел какой-то нудный любовный сериал, где, несмотря на «лихую» драматургическую закрутку, все сюжетные коллизии (кто в кого влюблен и кто чего хочет) были понятны после десяти минут просмотра любой серии и совершенно не интриговали. Тем более раздражала деревянная игра актеров. Максим переключил канал. На экране тут же что-то замелькало и загрохотало. Кажется, какой-то поп-концерт – ко дню кого-то там (десантника? пехотинца? артиллериста?). Нечеловеческим усилием воли Максим попытался сфокусировать свой взгляд на юных сисястых девушках в мини-юбках цвета хаки, «фанерящих» что-то нехитро-разухабистое. Они были похожи на брыкающихся молодых кобылок: мотали головами, фыркали, искусственно щерились белозубыми улыбками и дрыгали своими полураздетыми телами. Или полуодетыми. Максим подумал, что разница между этими прилагательными на самом деле принци-

пиальная. Полураздетые – это те, которые когда-то были одеты, но решили для бóльшей пластической раскованности на сцене слегка оголиться перед публикой. Полуодетые – это те, которые, наоборот, решили слегка приодеться для выступления. Последнее было ближе к истине, потому что одежда явно мешала выступающим, сковывая их и без того неуклюжие движения. Они не могли толком задрать ноги из-за высоких каблучков и облегающих мини-юбок, не могли взмахнуть руками из-за коротеньких топиков и отсутствия бюстгалтера. Казалось, без одежды им было бы выступать намного комфортнее.

Максим с растущей неприязнью следил за их безудержным прыганьем, чувствуя, что его раздражает все не оголенность некоторых частей их тел, а молодость. Да, да. Именно их наглая брызжущая молодость. То, что ему, увы, было уже недоступно. Он с тоской подумал, что этим размалеванным куклам дан ценный дар, которого они совершенно не заслуживают. Более того, они даже не знают, что с ним делать. И потому транжирят его, как жена олигарха – заработанные мужем деньги: легко и без оглядки.

Максим снова щелкнул пультом. Реклама. «Энергетический напиток “Файер”. Тусуй с нами! Миксуй с нами! Будь как мы!» Щелк! Молодежный канал. Какая-то викторина для подростков. Две девочки лет пятнадцати, видимо, подружки, жуя жвачку, отвечали на вопрос корреспондента «Как звали друга Винни-Пуха?». Наконец одна, глянув на подругу и хохотнув, неуверенно выдавила: «Пятачок, что ли?». Услышав, что они «угадали», подружки от радости стали прыгать в обнимку друг с другом.

«Дурдом какой-то», – подумал Максим и выключил телевизор. Затем посмотрел на часы и с ужасом вспом-

нил об обещании прийти на кастинг к Толику. Надо было бежать.

К ГИТИСу он подошел немного раньше запланированного времени, однако Толик уже был на месте. На нем были солнцезащитные очки, хотя на улице стояла пасмурная погода. На вопрос об этом несоответствии Толик только махнул рукой.

– Вчера ночью подрался. Во, видал?

Он приподнял очки, и Максим увидел внушительный фингал под левым глазом.

– Кто это тебя?

– А-а... Подрался с инопланетянами. Вступил в контакт, так сказать.

– В какой контакт? – растерялся Максим.

– Ну не в половой же, – хмыкнул Толик.

Максим рассмеялся.

– Что ты несешь?

– Я несу культуру в массы, – буркнул Толик. – А тебе говорю про молодежь, что у меня в подъезде тусуется. Они человеческого языка не понимают, норм поведения – тоже. Кто ж они после этого? Инопланетяне, конечно! Ой, чуть не забыл.

Толик достал из кармана конверт.

– Что это? – удивился Максим.

– Аванс за книгу. Чтоб ты не думал, что это ля-ля. Значит, дело серьезное. Тебя ж не смущает, что это наличные?

– Да это даже удобнее. Просто не ожидал, что так оперативно. Тем более что и договор-то не подписали.

– Не бойсь. Это мой приятель. Мне он доверяет. А я верю тебе. А ты мне. Ну а ты ему.

Тут Толик замолчал, запутавшись в схеме всеобщего доверия.

– Ладно, – махнул рукой Максим, – давай ближе к телу, а то у меня времени в обрез.

– Ну, раз ближе к телу, то пошли к телам.

Они прошли охрану, пересекли пустынный дворик и вошли в здание. Около одной из комнат на первом этаже топталась горстка студентов и студенток. Толик сложил ладони рук клином и протиснулся через них к двери. После того как они оказались в аудитории, Толик стал по очереди приглашать претендентов. Студенты различных курсов стали разыгрывать сценки в предлагаемых Толиком обстоятельствах. Все это было так плохо и однообразно, что через два часа у Максима разболелась голова и он попросил сделать короткий перерыв.

– Ну как? – спросил Толик, оставшись с Максимом наедине.

– Честно? Самодеятельность. Ты уверен, что они – студенты актерских факультетов?

– Абсолютно. Большинство, конечно, платники.

– Большинство – это сколько?

– Сейчас здесь порядка пяти-шести платных курсов. Думаю, процентов шестьдесят были платники.

– Мда-а, – поморщил нос Максим, – но и остальные-то не лучше. Если честно, я вообще не понимаю, чем они здесь занимаются.

– Вот и я о том же, – вздохнул Толик. – Только из одного вуза страна получает каждый год порядка двухсот не пойми кого. А между прочим, из просмотренных наберется человек пятнадцать-двадцать, которые уже снимались в сериалах каких-то. А тебе что, никто вообще не приглянулся?

Максим покачал головой.

– Блядь! – выругался Толик. – А где тогда искать нормальных?

Максим пожал плечами.

– По театрам надо ходить.

– Да нет у меня на театры времени, – отмахнулся Толик.

– А на что же оно у тебя есть?

– Как на что? На съемки!

– Что же ты снимаешь, если у тебя нет времени актеров смотреть?

– Как что? Кино и снимаю.

Логика в этих словах не было никакой, и Максим замолчал.

– Что у тебя с книгой? – спросил Толик после паузы.

– Ну и вопросы! – удивился Максим. – Только вчера разговаривали. Что с ней может сделаться за одну ночь?

– Ну мысли-то появились?

– Мысли-то появились, зато герои книги исчезли.

– Это как?

– Да так. Ерунда какая-то... Я лично провожал ребят из «Глагола» в Мюнхен. Они сели в самолет и улетели. С тех пор их никто не видел.

– Даже в Мюнхене?

– Именно в Мюнхене их и не видели. Причем по прилете все они отправили открытки из Германии. Но, что самое удивительное, они все пропали, а Блюменцвейг, который летел вместе с ними, судя по всему, жив-здоров.

– Может, их инопланетяне забрали?

– А Блюменцвейга отпустили?

– Ну, – усмехнулся Толик. – Еврей всегда сумеет договориться.

– Логика у тебя, как обычно, хромает. Там полсамолета таких евреев было.

Толик задумался. Потом куснул губу.

– Ладно. Я посоветуюсь со своим одноклассником. Может, у него есть какие-то соображения на сей счет.

И Толик неожиданно протянул руку для рукопожатия.

– А с прослушиванием-то что? – удивился внезапному прощальному жесту Максим.

– Да ладно, – поморщился Толик. – Чего я тебя буду мучить? Сам послушаю. Я уже понял, что говно выйдет, а не кино.

– Зачем же тогда снимать?!

– А я кушать хочу. И потом, знаешь, сколько мой «ягуар» бензину жрет?

На этот довод у Максима не нашлось контраргументов.

– Слушай, Макс, ты какой-то весь зеленый, честное слово. Тебе надо куда-нибудь сходить, развеяться.

– Куда сходить? – потер лоб Максим.

– Ну поплясать. В клуб какой-нибудь. Нет, я понимаю, ты не мальчик уже. Но с другой-то стороны, пятьдесят пять, прости, тоже не конец жизни. Давай так: как ты захочешь расслабиться, мне звякни, я организирую. Если захочешь напрячься, тоже звони.

И он расхохотался, радуясь собственному остроумию.

Всю дорогу до дома Максим боролся с головной болью и думал о Блюменцвейге, самолете и всей этой истории. Воображение рисовало какие-то дикие картины, одна странней другой. То ему вдруг представлялось, как целый самолет падает в море, а выживает один Блюменцвейг (правда, смущало отсутствие моря на пути из Москвы в Мюнхен). То ему виделось, как самолет и вправду захватывают инопланетяне и лишь один Блюменцвейг вырывается из лап зеленых монст-

ров. Но тогда откуда открытки?! Максим попытался откинуть idiotские версии и сосредоточиться на чем-то более реалистичном.

Будем исходить из того, размышлял он, что самолет был. И диссиденты были. И это не приснилось и не привиделось Максиму, тем более что свидетелей и без Максима хватало. Возьмем также за факт, что самолет не приземлялся в Мюнхене. Вопрос: куда он делся? Допустим, упал. Но тогда выпадают открытки и Блюменцвейг. Допустим, диссиденты захватили самолет и потребовали отвезти их куда-то еще. Но сведения о захвате проникли бы из иностранной печати в СССР, а потом, на кой ляд летящим в Западную Германию захватывать самолет? А что если вылетевшие захватили самолет и потребовали вернуть их на Родину? Но зачем? КГБ их рано или поздно бы схватило. И потом опять эти чертовы открытки и опять этот чертов Блюменцвейг, торчащий посреди любой версии, как прыщ на носу. А главное другое – рейса на Мюнхен не было. Стоп. Если изначально рейса на Мюнхен не было, значит... Значит, в Мюнхен лететь никто и не собирался. Значит, и везти никого никуда не собирались...

Максим заметил, что в результате своего мысленного напряжения он перешел с уверенного шага на какое-то стариковское шарканье. Его то и дело толкали и задевали локтями вечно торопящиеся куда-то москвичи.

Он прибавил шаг, но очередное логическое звено буквально пригвоздило его к месту.

Если везти никого никуда не собирались, то... то... то собирались везти куда-то в другое место. Но куда? И зачем???

Максим встал у стены какого-то здания, достал сигарету, закурил и стал вспоминать детали того июльского

дня, когда он отправился в Шереметьево провожать глагольцев.

– Итак, – думал Максим, – я приехал с Блюменцвейгом на такси. По дороге Блюменцвейг затеял какой-то идиотский спор с таксистом. О чем они спорили? А-а... гм-м-м... как ни странно, о поэзии. Таксист хвалил Пушкина, а Блюменцвейг стал доказывать таксисту, что его друзья Шельман, Буркин и Сапчук в пятнадцать раз талантливее Пушкина. Таксист стал вяло отбиваться, говоря, что не знает ни Шельмана, ни Буркина, ни тем более Сапчука, на что Блюменцвейг сказал, что это не их беда, что их не знают, а беда России и в частности таксиста. Таксист огрызнулся, что у него других бед хватает. После чего, кажется, обиделся и до самого аэропорта не проронил ни слова. Зачем Блюменцвейг так горячо защищал эту троицу, да еще противопоставляя их Пушкину, было непонятно – все трое были один бездарнее другого, и Блюменцвейг это прекрасно знал.

Впрочем, это все неважно. Потом они прошли в зал отлетов Шереметьево, столкнулись со знакомыми и стали прощаться. Потом... Потом Куперман сказал, что это не самолет, а какой-то диссидентский ковчег. Максим спросил: «Почему?». «Да я всех так или иначе знаю», – хмуро ответил Куперман. Потом добавил, что двумя неделями ранее познакомился с двумя туристами-славистами из ФРГ и очень надеялся, что они полетят одним рейсом, но туристы-слависты не достали билетов на этот рейс. А потом... потом подошел еще кто-то и сказал, что он занял место в очереди к таможенному контролю и, что любопытно, в очереди не было ни одного немца. Стоп! Ни одного немца.

Максим почувствовал, что вспотел, хотя погода была по московским меркам вполне летняя и он был легко одет.

Тогда он не обратил на эти слова никакого внимания – туристов в то время вообще было не очень много, но сейчас эта реплика выскочила из закутков памяти, словно терпеливо ждала своего звездного часа.

Ни одного немца! В таком случае можно предположить, что весь самолет состоял только из советских людей, и более того – в той или иной степени интеллигентов. При этом рейс шел вне всяких договоренностей с мюнхенским аэропортом.

Тут у Максима от грядущей догадки почти перехватило дыхание.

А что если... КГБ?

Из картинки, правда, снова выпадал Блюменцвейг. Но на сей раз его выпадение было не таким диким.

– Вам плохо? – неожиданно услышал Максим у самого уха. Перед ним стояла молоденькая девушка.

– Мне? – растерялся Максим.

– Ну да, – улыбнулась она. – Вы человек пожилой, всякое бывает.

Определение его как пожилого человека неприятно покорило Максима, но он натянуто улыбнулся.

– Нет, нет, все хорошо.

Он бросил дотлевшую в пальцах сигарету и быстро зашагал в сторону метро.

А вечером в его квартире раздался телефонный звонок.

Максим выскочил из ванной, где принимал душ, и прошлепал в комнату, вытираясь на ходу полотенцем.

– Алло! – крикнул он в трубку, зажав ее мокрой щекой.

– Максим Викторович? – раздался мягкий мужской баритон.

– Да.

– Моя фамилия Зонц. Имя Зонц. Ваш телефон мне дал Анатолий Комаров.

– Я вас слушаю.

– Мне кажется, мы могли бы посотрудничать.

– На предмет, простите, чего? – мгновенно напрягся Максим: слово «посотрудничать» еще с советских времен вызывало у него горький привкус.

– Вы же ищете персонажей для вашей книги?

Формулировка Максима рассмешила.

– Ну да... В некотором роде автор в поисках персонажей.

– Так вот я могу организовать вам встречу с ними.

– Звучит забавно. Как будто они все находятся собранные в одном месте.

– В каком-то смысле так оно и есть, – не смутившись, ответил Зонц. – Впрочем, это не телефонный разговор. Предлагаю встретиться.

VII

В начале семидесятых КГБ начало активную борьбу с диссидентами, самиздатом и всем, что, по мнению власти, подрывало основы советского общества. Как раз в это время рядом с крупным городом С. и возник Привольск-218 с комбинатом для переработки химических отходов. Ничем не примечательный закрытый городок. Потом был громкий отъезд Солженицына, обмен Буковского, создание Московской группы по правам человека, арест диссидента Щаранского и под самый конец семидесятых наиболее активный период правозащитной деятельности Сахарова, закончившейся в 1980 году ссылкой в Горький.

Впрочем, это позже. А в 1979 году кому-то из руководства КГБ пришла в голову дерзкая идея: а что если помещать наиболее надоедливых инакомыслящих интеллигентов не в обычные психиатрические лечебницы, а отвозить в Привольск-218? Ведь распахивать буйных культурных работников по психдомам различного типа – занятие довольно муторное. Тем более что их там все время норовят отыскать пронырливые западные корреспонденты. А тут будет закрыта не лечебница,

а целый город. И искать там никому в голову не придет. Конечно, есть опасность, что при определенном переборе там возникнет очаг инакомыслящей культуры, но ведь с другой-то стороны все будут вместе и под неусыпным контролем. (Пару лет спустя, кстати, по похожему плану был легализован и ленинградский рок-клуб.) Наиболее смирных можно оставить в рамках закрытого города, где они будут трудиться на благо общества, то есть на том самом химкомбинате по утилизации химических отходов, а непокорных можно помещать в клинику прямо на территории городка и выпускать их по мере адаптации к новым условиям. В общем, что-то вроде полувольного поселения. Конечно, теоретически можно было бы всех этих писак продолжать выгонять за рубеж, но это означало бы лишь новый виток антисоветской истерии на Западе – и так уже слишком многих выгнали.

Идея с Привольском-218 показалась председателю КГБ Андропову (а после и всему Политбюро) «небезынтересной», ведь таким образом убивали сразу двух зайцев: и комбинат получал рабочие руки, и диссиденты оказывались при деле. Но, конечно, речь шла только о творческой интеллигенции. Все равно сплошь дармоеды и тунеядцы. Как говорится, не жалко. А вот научные кадры должны продолжать работать на оборонеспособность страны. Они, в отличие от художников, воду мутили редко. В общем, было дано добро. Правда, кагэбэшники, как это с ними часто бывало, взялись за дело слишком резво и потому тут же, что называется, оконфузились.

В 1979 году некоторым диссидентам было настоятельно «предложено» покинуть Родину. Среди них были как пока еще свободные, так и сидящие по разным спецлечебницам, а то и тюрьмам люди. В июле 79-го

был сформирован первый так называемый философский самолет (по аналогии с философским пароходом, на котором, как известно, в 1922-м сливки интеллигенции покинули Страну Советов). КГБ не хотел поднимать лишний шум. Именно поэтому был подобран оптимальный состав, то есть поэты, писатели, журналисты и несколько художников, не отягощенные большим количеством родственников, дабы не вовлекать в эту затею слишком много случайного народа. Кроме того, было принято решение начать с негромких и, прямо сказать, малоизвестных имен – чтоб без лишнего международного шума. Наивные диссиденты приехали в московский аэропорт Шереметьево, чтобы (как они полагали) отправиться в Германию рейсом Москва – Мюнхен. Они попрощались со своими близкими и друзьями, обещали звонить, писать письма и слать открытки. После чего сели в самолет и стали готовиться к новой жизни. И новая жизнь не замедлила явиться во всей красе. Вместо Мюнхена самолет полетел в противоположную от Европы сторону и через четыре часа (как выяснилось позже, беспорядочного кружения) приземлился на аэродроме (точнее, одной-единственной взлетно-посадочной полосе) города С., что рядом с Привольском-218. Командир корабля объявил, что самолету требуется дозаправка, а пока он просит пассажиров покинуть борт лайнера и пересесть в комфортабельные автобусы, которые доставят путешественников для короткого отдыха в гостиницу. Некоторые опытные диссиденты, которые в этой жизни уже не верили никому и ничему, напрочь отказались покидать борт самолета. Так, диссидентка Кулешова – с большим стажем подпольной работы – начала кричать остальным: «Не поддавайтесь на провокацию!» После чего намертво вцепилась в свое кресло и заявила, что объяв-

ляет голодовку. Две сотрудницы КГБ, переодетые в милонидных стюардесс «Аэрофлота», полчаса уговаривали ее не безобразничать и не нарушать инструкций безопасности. Кулешова потребовала гарантий в виде официальной бумаги от «Аэрофлота», где будет указано, что самолету действительно требуется дозаправка. Эту бумагу ей быстро «нарисовали», и она согласилась выйти. Затем «комфортабельный» автобус марки «ЛиАЗ-677» вывез всех пассажиров с летного поля. Наиболее злостных диссидентов, включая уже упомянутую Кулешову, быстро запустили в психлечебницу, где тут же закрыли на замок, а остальных просто подвезли к недавно отстроенной пятиэтажке на центральной улице и со словами «Добро пожаловать в город закрытого типа Привольск-218!» выпустили из автобуса. После чего им посоветовали не терять времени и занимать квартиры, которые им предоставляются щедрым советским правительством.

Сначала был шок. Самые непримиримые стали требовать отвезти их обратно на летное поле и отправить в Мюнхен. Самые умные стали просить вернуть их хотя бы в аэропорт Шереметьево. И, наконец, самые мудрые начали драться за жилплощадь. Особенно яростно сцепились писатель Куперман и поэтесса Буревич, которые некогда сидели в одном КПЗ и даже объявляли совместную голодовку (правда, Куперман быстро сломался, потому что очень любил поесть, а подлые милиционеры подбрасывали ему в камеру книжки о вкусной и здоровой пище с цветными фотографиями, зная, что за неимением иного чтения интеллект-ал начнет читать даже поваренную книгу). И Куперман, и Буревич претендовали на уютную квартиру на первом этаже (а на первом этаже была почему-то только одна квартира). Куперман кричал, что он уже немо-

лод и ему необходимо иметь квартиру поближе к земле. Буревич (которую в свое время за цикл антиленинских стихов прозвали Бонч-Буревич) кричала, что у нее боязнь высоты и вообще, с какой это поры тридцать семь лет считается «немолодым» возрастом? Куперман отвечал, что из этих тридцати семи он больше половины провел в сырых застенках КГБ, где год идет за пять. Буревич ехидно возразила, что до тридцати пяти лет Куперман состоял в Союзе писателей, писал прокоммунистическую чушь и вообще сладко жил – так что насчет половины жизни это уж скорее к ней относится. На это Куперман начал истошно вопить, что жил он совсем не сладко, а очень даже горько и вообще невыносимо страдал, находясь в Союзе писателей, как в тылу врага, рискуя ежеминутно быть раскрытым. На это Буревич закричала, что если бы Купермана не выгнали из союза за аморалку и пьянство, он бы до сих пор сидел в зале и голосовал за чье-нибудь исключение, а так его самого выперли, и он с обиды стал строчить эпиграммы на изгнавших его, после чего вмиг превратился в диссидента. Куперман заявил, что никаких эпиграмм он не писал, а организовал подпольный альманах «Глагол», за что и пострадал. Буревич стала кричать, что еще, мол, надо проверить, под чьим прикрытием (не КГБ ли?) создавался этот альманах. Перепалка начала принимать затяжной характер. Куперман отбивался и нападал. Буревич отражала удар и тоже нападала. Причем все это они проделывали не только в словесной форме – каждая фраза подкреплялась вполне конкретным и довольно болезненным действием. Пока Куперман оттаскивал Буревич за волосы от заветной двери, Буревич мертвой хваткой держала Купермана за ногу и не пускала его внутрь. Неудивительно, что вследствие этих акробатических экзерсисов

продвигались они крайне медленно. За десять минут им едва удалось преодолеть дверной порог, да и то они вскоре откатились назад.

Истерика, как известно, штука заразная и не делает исключений ни для слоев, ни для прослоек. Одновременно с «борцами» крик подняли и другие диссиденты, включая тех, которые еще недавно просили вернуть их в Москву или отправить в Мюнхен. Журналист Тисецкий потребовал предоставить ему самую большую квартиру, потому что он собирался вызвать в Германию свою любовницу с ее ребенком от первого брака, а теперь, видимо, придется вызывать сюда.

– Куда сюда? – ехидно усмехался бард Клюев. – Ты даже не знаешь, где мы находимся. А во-вторых, и не поpretся она сюда, если, конечно, не полная дура.

– Это твоя любовница – дура, – безо всякой логики возразил Тисецкий.

– Какая из? – едко поинтересовался Клюев.

– Да все!

Пока они препирались по поводу внешности и умственных способностей своих женщин, скандальный художник-скульптор Горский заявил, что всю жизнь скитался по чердакам и подвалам и принципам своим не собирается изменять даже здесь. «Где тут чердак?!» – грозно кричал он, потрясая внушительных размеров кулаками. Смутившиеся работники КГБ сказали, что чердак здесь имеется, но он совершенно не приспособлен для жилья.

– Ничего, – выставив ладонь вперед, как бы успокаивая чекистов, ответил Горский, – весь ваш сраный Советский Союз не приспособлен для жилья, а мы все-таки живем!

– Не факт, что в данный момент мы находимся в Советском Союзе, – задумчиво возразил известный

правозащитник Ледахин, склонный сомневаться во всем и всегда.

Горский настолько опешил от этого неслыханного предположения, что замолчал.

Наконец диссиденты устали от собственных эмоций (за исключением поэтессы Буревич и писателя Купермана, которые продолжали устало возиться в углу лестничной клетки), и тогда в дело вмешались работники КГБ, заявившие, что сами распределят новоприбывших.

– Не верьте им, вас обманывают! – взвизгнул актер и руководитель полулегальной театральной студии Омска Вешенцев, который давно попал на карандаш гэбистов, но на проклятый самолет угодил за то, что в пьяном виде вышел на улицу с плакатом «Требую немедленной отставки всего советского правительства!» – наутро он, впрочем, ничего не помнил и даже обвинял сотрудников госбезопасности в провокации: будто бы его специально напоили и дали в руки такой плакат.

– В чем именно мы вас обманываем? – ласково переспросил его майор КГБ по фамилии Кручинин, который был явно за главного.

– Пока не знаю, – буркнул Вешенцев и почему-то стыдливо опустил глаза.

– Значит, так, товарищи, – сказал майор миролюбиво, но строго, – препирательства, я полагаю, закончились. Мы...

Тут он заметил возящихся в углу Купермана с Буревич и многозначительно кашлянул:

– Товарищи борцы, вас это тоже касается.

Те наконец отцепились друг от друга и посмотрели осоловевшими глазами на майора.

– Вот так уже лучше, – удовлетворенно кивнул майор и продолжил: – Мы догадывались, что возникнут разно-

гласия, посему подготовили ваше распределение. Список огласит лейтенант Чуев. От себя же добавлю. Вы находитесь в закрытом городе Привольске-218 в воспитательных целях. Все вы в той или иной степени не оправдали доверия, которое было возложено на вас правительством и народом, и теперь находитесь здесь вроде как на вольном поселении.

– Ничего себе вольное поселение, – хмыкнул Вешенцев.

– Да, – поправился майор, – поселение не совсем вольное, однако обратите внимание на гуманность данной меры. Вы не в тюрьме, можете заниматься творчеством, если хотите, общаться, ходить друг к другу в гости.

Тут он невольно покосился на тяжело дышавшего Купермана и растрепанную Буревич – было ясно, что эти двое друг к другу в гости ходить точно не будут.

– Конечно, вам придется трудиться и на благо нашей Родины, – продолжил Кручинин.

– Всё, – зло сиюнул кто-то в толпе. – Лафа кончилась. Кирку в руки и вперед, товарищи, с песней. Во глубину, так сказать, сибирских руд...

– Упаси бог, – миролюбиво покачал головой майор Кручинин. – Да, химкомбинат, который находится на окраине нашего небольшого городка, нуждается в рабочих руках. Но к работе на нем будут привлечены различные специалисты в химической области. А вот что касается сферы обслуживания, то есть фактически того, чем вы сами будете пользоваться – это магазины, химчистки, кафе, – то там, пожалуй, вы и пригодились бы. Я бы хотел уточнить, что всех вас обеспечат качественными, можно даже сказать дефицитными продуктами и товарами. Здесь будут созданы все условия для проживания. К тому же сюда будут постоянно привозиться новые... э-э-э... интересные люди.

– Хорошая фраза для приветствия зеков в тюрьме, – съехидничал бард Клюев. – Прямо клуб по интересам.

– Гражданин начальник, – вежливо встрял часто сидевший и потому опытный в деле общения с тюремным начальством правозащитник Ледашкин. – Разрешите обратиться?

Майор кивнул.

– А мы как вообще, будем здесь до смерти, что ли, сидеть?

– Ну зачем? – добродушно рассмеялся майор, обнажив прокуренные до запредельной желтизны зубы. – Конечно, нет. Во-первых, не сидеть, а жить. Вы-то как опытный человек должны понимать разницу между камерой и отдельной квартирой. Во-вторых, через некоторое время, если будете хорошо себя вести, не бунить, вас отпустят домой. Разве что подпишете подписку о неразглашении, хотя и она не так уж принципиальна – место нахождения вы все равно не сможете определить.

– А письма писать, ну, или телевизор там смотреть? – спросил актер Вешенцев.

– Что нет, так нет, – развел руками майор. – Курорт здесь мы вам все-таки создавать не собираемся. Это я про письма. А вот открытки в одностороннем порядке – это пожалуйста. Телевидение и радио будут. Будет и кино привозиться, и...

Тут он не нашелся что добавить к списку и закончил предложение неожиданно:

– И... очень даже регулярно. А, кстати! Имеется еще библиотека. Вы можете организовывать театр, музыкальные коллективы, команды там всякие... футбольные, – почему-то уточнил он в конце, как будто намекая на то, что баскетбольные команды, например, одобряться не будут.

– Может, и политические партии здесь можно создавать? – спросил, уже слегка обнаглев, журналист Тисецкий.

Все засмеялись.

– Э-э-э, – задумчиво протянул майор, у которого на счет партий не было никаких указаний. – Я бы не советовал.

– Простите, – снова встрял дотошный Ледахин, – а как будет определяться степень правильности поведения? Цензурой, что ли?

– Стучать будем друг на друга, вот тебе и вся степень, – буркнул скульптор Горский.

– Зачем? – удивился майор. – Я могу сразу сказать, что испытательный срок для всех пять лет.

– Еб твою мать! – воскликнул Тисецкий. – И здесь пятилетка!

Цифра произвела какое-то нехорошее впечатление на присутствующих. Кто-то присвистнул, кто-то чертыхнулся, кто-то стал проклинать тот день, когда согласился покинуть страну под давлением КГБ.

Майор спокойно переждал этот эмоциональный всплеск.

– Но никакую цензуру мы вводить не собираемся. Конечно, если будете откровенно призывать в своих произведениях к свержению строя, то это мы будем пресекать.

– И срок добавлять, – хмыкнул Ледахин.

– Может быть, – угрожающе сказал майор. – Но копать в ваших фигах в кармане, или двойных смыслах, или даже западопоклонничестве – это извините. Тут делайте что хотите. Комиссии и худсоветы мы создавать не будем.

– Может, и кино разрешите снимать? – спросил кто-то из задних рядов.

– Может, и разрешим, – туманно ответил майор.

– Значит, свиданий с родственниками тоже не будет? – спросил Ледахин.

– Нет, – отрезал майор. – Для родственников вы все...

– Умерли, – мрачно пошутил кто-то.

– Зачем же так? – обиделся майор. – Для них вы на Западе. А если не хотите, чтоб они волновались, советую время от времени отправлять открытки. А именно раз в два месяца.

– А где брать открытки? – спросил Куперман, который все еще пытался скинуть вцепившуюся в него поэтессу Буревич.

– У наших сотрудников вы можете получить открытки разных капстран, на выбор. На них напишете что-то вроде «Долетел хорошо. Целую», ну а потом они будут выдаваться раз в два месяца. Естественно, те, кто будут пытаться... э-э-э... схитрить, те будут лишаться определенных привилегий.

– Чистая тюрьма, – буркнул Вешенцев.

– Но этот вопрос еще прорабатывается, – пропустил это замечание мимо ушей майор. – Вполне вероятно, что те, кто захочет перевезти сюда родных и близких, получают такую возможность. Естественно, с согласия последних, так как им придется фактически вместе с вами отбы... пребывать в Привольске-218.

– А как работать будем? – спросил неутомимый Ледахин, в голове которого уже проносились разные рискованные идеи насчет привлечения внимания западных «голосов» к этому безобразию.

– Исключительно щадящий режим, – успокоил его майор.

– Это что за щадящий режим? – усмехнулся журналист Тисецкий. – Не до полного изнеможения, что ли?

– Четыре часа по месту распределения, пять раз в неделю. Остальное время и выходные – полностью в вашем распоряжении.

– А отпуска будут? – спросил Ледахин.

– Ну а как же? Конечно. По Конституции положено.

Упоминание Конституции в контексте такого глобального обмана вызвало смех у присутствующих.

Первым съюморил переводчик Файзуллин, который на протяжении всей беседы прикидывал, каким образом отсюда можно сделать ноги.

– А можно мне сразу отпуск за свой счет?

– Отпуск только в пределах Привольска-218, – сбил юмористический настрой переводчика майор.

– Хера ж себе отпуск! – возмутился Вешенцев. – Может, еще и работать во время отпуска надо будет? Для полноты, так сказать, идиотизма.

– Работать не надо будет, – глянув на часы, серьезно ответил майор. – Еще вопросы будут?

– Куда пропала Кулешова? – спросил Ледахин.

– Действительно, товарищи, – раздался чей-то удивленный голос сзади.

Его поддержали еще несколько голосов:

– Да, точно! И еще тут было несколько... тоже пропали...

– Все они находятся в здании спецлечебницы, – отрезал майор, оторвавшись от часов. – Я еще раз хочу подчеркнуть. Те, кто будут организовывать подполье, сопротивляться властям, а также пытаться бежать, будут направляться на принудительное лечение в нашу спецлечебницу.

На этих словах Файзуллин, который уже почти придумал план побега, резко погрузнел.

– А при совершении противоправных действий агрессивного характера, – продолжил майор, – и того

дальше – в тюрьму. С реальными уголовными сроками. Как и в обычной жизни. Так что не советую особо буйнить. Подумайте, где лучше находиться, здесь или в тюрьме.

– Лучше в Мюнхене, – мрачно буркнул Вешенцев.

– Пожалуй, – неожиданно согласился майор, но, видимо, не желая развивать эту тему, окинул толпу цепким взглядом: – Еще вопросы будут?

– Будут, – неожиданно отозвался молчавший до этого поэт Блюменцвейг. – Я бы хотел написать письмо в ЦК КПСС с благодарностью за проявленную заботу о простых тружениках пера. Хотелось бы передать это письмо мудрому руководству партии.

В голосе Блюменцвейга не было ни издёвки, ни сарказма. Лишь сосредоточенная печаль. Повисла пауза, и Кручинин с любопытством энтомолога посмотрел на высказавшегося поэта.

«Идиот, что ли?» – подумал он, но на всякий случай решил никак не реагировать на реплику.

– В общем, если будут вопросы, обращайтесь к лейтенанту Чуеву или напрямую ко мне. Фамилия моя – Кручинин.

В толпе засмеялись над «говорящей» фамилией, но острить не стали.

– В Привольске-218, – продолжил майор, – я являюсь главой административного управления. Открытки с видами капиталистических стран можете получить прямо сейчас у лейтенанта. Вечером они будут отправлены в Москву. И через две-три недели, для создания видимости обычной почтовой пересылки, мы разошлем их по адресам. Повторяю, не надо пытаться только нас обманывать. То есть писать фразы с конкретными именами типа «Вадик меня встретил. Он тебе сам расскажет» или подозрительный маразм типа

«Гулял по Мюнхену, поднимался на Эйфелеву башню». Также никаких непонятных аббревиатур, анаграмм, палиндромов и прочих литературных извращений. Всего хорошего.

Майор развернулся, прыгнул в материализовавшийся как будто из воздуха газик и уехал.

– Мда-а, – мрачно протянул после паузы Вешенцев, – слетали, блин, в Мюнхен...

Все подавленно молчали.

– Ладно, – смачно сплюнул Горский и первым подошел к лейтенанту Чуеву. – Дай мне, что ли, открыточку.

– Тебе какую страну?

– Японию, блин!

– Японии нет.

– Так хули ты спрашиваешь? – разозлился Горский.

Чуев побагровел, но сдержался.

Народ быстро выстроился в очередь и тоже стал требовать открытки. В конце, правда, вышла небольшая накладка – немецкие открытки закончились на стоявшем последним художнике-авангардисте Владлене Раже, чья фамилия служила поводом для бесконечных упражнений в острословии. «Эх, Раж, еще Раж, еще много-много Раж», – пели его захмелевшие приятели, а в артистических кругах даже ходило четверостишие:

О том, что входят в раж, она слыхала,
Однако крест познания был тяжел –
Удивлена она была немало,
Когда однажды Раж в нее вошел.

Раж, кстати, никогда не обижался на подобные шутки, более того, искренне радовался и смеялся вместе со всеми. И вообще был очень милым человеком,

хотя и не очень талантливым, можно даже сказать бездарным. Но если гений и злодейство несовместны (хотя и это спорно), то бездарность и доброта в одном флаконе – очень даже частое явление. Но сейчас милый человек Раж, чье самолюбие было задето отрицательным ответом лейтенанта, разозлился и потребовал, чтобы ему тоже дали открытку с немецкими видами.

Лейтенант предложил открытки с видами других европейских стран, сказав при этом, что может дать только европейские, иначе у родственников возникнут подозрения насчет того, как это Раж приземлился вместо Мюнхена в Бомбее, например.

– Если у вас все равно только Европа, при чем тут Бомбей? – удивился Раж.

– Ну, это я так, к сведению, – туманно ответил Чуев. – А вообще у нас разные открытки есть. В запасе.

После некоторых колебаний Раж выбрал какой-то голландский ландшафт.

К слову сказать, впоследствии ему отчаянно не везло и нужные открытки, как назло, заканчивались прямо перед его носом. Тогда уже строгости в отборе стран не было и можно было писать «из любой точки планеты».

В итоге мать Ража, любясь то видами Австралии, то видами Америки, окончательно потеряла всякое представление о географическом местоположении сына, но зато прониклась глубоким убеждением, что ее сын неплохо зарабатывает, ибо колесит по свету как умалишенный, и даже хвасталась соседкам – вот, мол, мой сын какой турист богатый. Те охали и ахали и спрашивали, чего ж он, раз такой богатый, деньгами не помогает. На что та отвечала, что за границей другие деньги и он не может их присылать. Что было чистой прав-

дой. В те годы эмигранты посылали в Союз не доллары (валюта была запрещена), а что-то, что можно было бы продать.

Впрочем, все это было позже, а в день прилета ново-прибывших больше волновало, можно ли отсюда вы-браться, и если да, то как.

VIII

Максим вдавил большим пальцем черную кнопку звонка. По ту сторону что-то закудахтало, и через пару секунд дверь распахнулась. На пороге стоял коротко стриженный блондин сорока с небольшим лет. У него был идеально ровный загар, белоснежная улыбка в тридцать два зуба и явно недешевая дизайнерская одежда. На последнее у Максима был наметанный глаз, ибо в Израиле он работал ночным охранником дорогого бутика.

– Вы Зонц? – спросил Максим, невольно любуясь голливудской внешностью хозяина.

– А вы Максим, – утвердительно сказал блондин и улыбнулся во весь рот. – Проходите. Рад, что пришли без опоздания. Не люблю опозданий. Кстати, можете меня звать просто Изя. Но это как вам удобнее.

«Еврей, что ли?» – подумал Максим, но спросить не решился, так как имел в студенческие годы неприятный инцидент, когда задал этот же вопрос молодому филологу Лазарю Абрамову. Тот оказался не только не евреем (Лазарь в честь Кагановича, а Абрамов – просто фамилия), так еще и антисемитом, который дико ос-

корбился и больше с Максимом не здоровался. Изя так Изя. Зонц так Зонц.

Максим прошел внутрь, удивленно вращая головой по сторонам, – в квартире не было мебели. Никакой. И вообще явно шел ремонт. Заметив смущение гостя, Зонц рассмеялся.

– Не обращайтесь внимания. Я большей частью за городом живу. А сюда недавно въехал, еще не обставился. Но плюс очевиден – можно не разуваться.

Максим прошел вслед за хозяином вглубь квартиры. Под ногами зашуршали мятые газеты, и в нос ударил запах краски. Из голых стен проросшими семенами торчали корешки электропроводки. Размеры жилья поражали. Широкий просторный коридор, вполне тянущий на отдельную комнату, разветвлялся, вырастая в две большие комнаты, каждая из которых вела еще куда-то.

«Однако товарищ явно не бедствует», – подумал Максим с легкой завистью. Одновременно он попытался стряхнуть прилипший к подошве правого ботинка газетный лист. Что не без труда удалось.

Зонц, однако, прочитал его мысли.

– Я работаю в администрации президента. Занимаюсь культурой.

– Похоже, культура стала прибыльным делом, – хмыкнул Максим. – Я-то был иного мнения.

– Это смотря как ею заниматься, – рассмеялся Зонц.

Они прошли в самую дальнюю и, похоже, самую маленькую комнату, где стоял небольшой потертый кожаный диван – единственный представитель класса бытовой мебели. На него Зонц и усадил Максима.

– Чай, кофе?

– Кофе, если можно.

Зонц исчез. Максим пошарил глазами по пустой комнате, а затем уставился на единственный достой-

ный внимания объект – серую стену с несколькими разноцветными мазками эмульсионной краски – видно, пробовали цвет или, как говорят художники, колер.

Вскоре появился Зонц с дымящейся чашкой кофе и пепельницей.

– Вам, вероятно, хочется узнать, почему я пригласил вас для беседы с глазу на глаз, хотя мог прекрасно рассказать вам все по телефону.

Если честно, Максим с большим интересом послушал бы, как можно, занимаясь культурой, заработать себе на такую квартиру, но он подавил в себе этот меркантильный позыв.

– На то есть несколько причин, – не дожидаясь ответа, сказал Зонц, присаживаясь на подоконник и закуривая. – Во-первых, я должен был вас увидеть лично. Мало ли. Не люблю, знаете ли, общение вслепую. Во-вторых, насколько я понимаю, вам нужны участники альманаха «Глагол». Куперман, Блюменцвейг, Файзуллин и прочие. Без них книги не будет.

Максим заинтересованно приподнял голову – для стороннего человека Зонц был неплохо осведомлен.

– Вас удивляет моя информированность? – в очередной раз прочитал мысли собеседника Зонц. – Все очень просто. А может, и не очень. Начнем с того, что ваши бывшие приятели и будущие персонажи вашей же книги находятся на территории России. Более того, они проживают в одном месте.

– Тюрьме? – испуганно спросил Максим, ибо это было первое, что пришло на ум.

– И да и нет, – замялся Зонц. – Точнее, так. Они находятся в одном небольшом закрытом городе. Я не знаю деталей, но подозреваю, что в свое время их всех туда свезли с целью изолировать от общества. Вроде ссыл-

ки. Правда, ссылки довольно жестокой, так как, насколько я понимаю, все это скорее напоминало трудовой лагерь.

«Так вот куда полетел самолет», – подумал Максим.

– Любопытно, что произошло это в советские времена, а они до сих пор находятся там.

– Как это? – вздрогнул Максим.

– Видите ли... этот город есть в некотором роде заповедник или, точнее, музей. Музей уникальный, ибо подобных экспериментов с творческой интеллигенцией никто нигде больше не проводил. И жители этого города, некоторые из них – ваши друзья, берегут и охраняют этот музей. Как своего рода памятник тем ужасным годам, которые они там провели. Мемориал, одним словом. Суть заключается в том, что культурный отдел при президенте, который я возглавляю, хотел бы провести... хотел бы оформить этот музей как действительно культурно-исторический памятник. Для этого нам надо привести город в порядок, подправить коммуникации, сделать ремонт. В общем, превратить его в культурный объект общероссийского, а возможно, и мирового масштаба.

– И при чем тут я? – спросил Максим, удивившись, что еще в состоянии задавать вопросы после всей информации, которую обрушил на него Зонц.

– А вот тут мы и переходим к теме нашей встречи. Вы ведь прекрасно знали Купермана.

– Ну, прекрасно – это сильно сказано, – поспешно откестился Максим, который не любил брать на себя лишнее. – Но в общем неплохо.

– Ну, Купермана, Файзуллина... Неважно. Важно то, что все они оказались людьми довольно упертыми и... не желают покидать свой город-лагерь-музей. Они вообще как будто немного законсервировались там. А для

проведения ремонтных и прочих работ нам необходимо на время... подчеркиваю, только на время, недели на две, выселить немногочисленное население города. Дадим им жилье на первое время, в городе... ну и так далее. Но они люди старой закваски, никому не верят, поспевают худшее...

– То есть?

– То есть то, что, сделав полноценный музей, мы уже не позволим им там дальше жить. А это неправда. Более того, они как свидетели, как участники того трагического эксперимента будут нам очень полезны. Коротко говоря, нужен человек, которому они верят, которого знают, которому доверяют. И такой человек есть. Это вы. Ведь они вам доверяют?

– Доверяют, наверное, – пожал плечами Максим и тут же почему-то вспомнил, как Куперман в свое время отказался дать ему машинописный экземпляр «Архипелага ГУЛАГ», мотивировав это как раз тем, что совершенно не доверяет Максиму.

– Вот видите, – обрадовался Зонц. – Задача вам вполне по силам. Более того, воспринимайте ее как некую культурную миссию. Что же взамен? – спросите вы.

Максим совершенно не собирался задавать этот вопрос, но из вежливости кивнул. Похоже, Зонц обладал способностью угадывать лишь некоторые мысли собеседника.

– Взамен вы получаете возможность со всеми ними встретиться, обсудить вашу будущую книгу, взять интервью, восстановить события далеких семидесятых и так далее.

– Это очень мило, конечно, – выдавил после длинной паузы Максим. – Но все же мне многое непонятно.

– Вот и проясните на месте.

– Я не о том. Ведь был еще и Яков Блюменцвейг, мой однокурсник, который тоже летел в Мюнхен. Но, насколько я знаю, он живет своей жизнью и ни в каком закрытом городе не находится.

Зонц усмехнулся и задумчиво потеревил кончик носа.

– Да. Блюменцвейг – в некотором роде исключение. Врать не буду. У нас имеется список всех сосланных в этот город. И в этом списке присутствует и Блюменцвейг. Но, к сожалению, нам не удалось выяснить, каким образом Блюменцвейг покинул лагерь. Возможно, вам, в смысле нам, удастся узнать это на месте.

– Я к тому, что если Блюменцвейг жив, то мы могли бы взять его с собой. Он был бы более убедителен, нежели я. Ведь он тем более знает всех, раз тоже был там. Только его тоже надо найти.

Зонц вздохнул, затушил сигарету и тут же вытянул из пачки новую.

– Когда-то давно, еще в девяностых, я работал в Министерстве культуры. К нам постоянно ходили какие-то деятели, которые просили то дать им помещение под театральную студию, то организовать какой-то фестиваль, то профинансировать какой-то проект. Среди прочих был и некто Блюменцвейг. Я его хорошо запомнил: нагловатый, нервный и слегка неадекватный. Он попросил дать помещение для репетиций его «Театра дегенератов». Я еще спросил, откуда такое странное название. А он сказал, что название не странное, а очень даже логичное, ибо труппа целиком состоит из дегенератов.

– То есть как? – изумился Максим.

– А вот так. У меня, говорит, в труппе дауны, олигофрены, дебилы – одним словом, полные и непроходимые идиоты с точки зрения вашего «здорового» обще-

ства. Есть даже один аутист. Кстати, гениально играет князя Мышкина. Он весь спектакль молчит, а текст идет закадровым, так сказать, голосом. В общем, после короткой, хотя и увлекательной беседы я отказал Блюменцвейгу. Но вовсе не из-за специфики театра, а просто потому, что мы тогда отказывали всем.

– И что? – спросил Максим, который под впечатлением от рассказа вспомнил знаменитую антисемитскую брошюрку Блюменцвейга.

– А то, что Блюменцвейг – сам псих. Деятельный псих. Я бы даже не стал ему ничего предлагать. Зачем? Полагаться на него мы не можем, а зря время тратить... Впрочем, если вам любопытно, я могу рассказать вам о нем побольше. И даже дать его координаты.

– Серьезно? – обрадовался Максим.

– Но прежде скажите, мы можем на вас рассчитывать?

– Ну конечно.

– Тогда я предлагаю отметить это скромное соглашение небольшим ужином. Признаться, я с утра ничего не ел. Как насчет итальянской кухни?

– Не имею ничего против, – пожал плечами Максим, который тоже почувствовал внезапный приступ голода.

– Отлично, – соскочил с подоконника Зонц. – Тогда по коням.

– Простите, а как называется этот город?

– Какой? А-а...

Зонц с легким прищуром посмотрел на Максима, словно не был уверен, можно ли тому доверять столь конфиденциальную информацию.

– Привольск.

– Привольск?

– Да. Привольск-218.

- А почему 218?
- Этого я не знаю. А вам что, не нравится число?
- Да нет... просто удивлен, что он с числом.
- Ничего удивительного. Закрытые города все имели числа. А этот к тому же был еще и лагерем. По совместительству, так сказать.

И Зонц улыбнулся своей обворожительной улыбкой, хотя в данном контексте она была довольно неуместной.

IX

Получив первую партию будущих жителей Привольска-218, майор Кручинин решил быка за рога не брать. И хотя следующий после приезда диссидентствующей интеллигенции день был пятницей, он распорядился не сгонять привольчан на работу сразу, а дать им освоиться, тем более все равно выходные на носу.

Некоторые, впрочем, начали осваиваться уже ночью в день прибытия. Так, переводчик Файзуллин вместе с поэтом Авдеевым под покровом темноты отправились изучать Привольск. Запрета на прогулки под лунной вроде не поступало, поэтому бояться было нечего.

Файзуллин захватил карманный фонарик, который всегда таскал с собой. И даже отправляясь в Германию, он бережно упаковал его в чемодан. По этому поводу друзья шутили спрашивали Файзуллина, не собирается ли он рыть подкоп под Берлинскую стену в обратном направлении.

Авдеев, уже слегка набравшийся непонятно откуда взявшейся водкой, покорно брел за Файзуллиным. При этом он почему-то пел «Лили Марлен», выдумывая на ходу следующий малосвязный текст:

– Мы теперь в Привольске, мы теперь живем... мы теперь гуляем, песенки поем... если увидит нас майор, то нас майор, то нас майор... как ту Лили Марлен... как ту Лили Марлен...

Через десять минут оба путешественника наткнулись на бетонную стену. Авдеев прекратил пение. Файзуллин с уважением пощупал холодный бетон и посмотрел в черное небо. Стена была метров в шесть высотой.

– Такую и захочешь – не перепрыгнешь, – сказал он и почему-то подпрыгнул – видимо, для наглядности.

– Ну почему не перепрыгнешь? – нетрезво откликнулся Авдеев. – С шестом, бля, вполне.

– Рекорд прыжков с шестом – пять с полтиной. Могу себе представить, как бы ты впечатался в эту стену со всей дури.

– А ты думаешь, что за стеной, бля, вольный ветер? – усмехнулся Авдеев.

– Да нет, наверное. Еще какая-нибудь стена.

В этот момент с другой стороны ограждения раздался яростный собачий лай. Файзуллин от страха едва не выронил фонарик

– Е-мое! Там, похоже, еще и овчарки.

– А ты чего хотел? – пожал плечами Авдеев. – Это ж, бля, лагерь.

После чего собрался с духом и грозно прорычал:

– Иду на вы, суки!

Маленький Файзуллин хотел было удержать Авдеева, но тот упрямо двинулся вперед вдоль стены. Файзуллин засеменял следом. Собаки перестали лаять, но их хриплое дыхание по ту сторону бетона слышалось ежесекундно – они явно следовали за гулявшими.

– Слушай, мне мерещится или я голоса чьи-то слышу? – спросил Файзуллин.

Авдеев напрягся.

– Наверное, охрана где-то бродит. Вертухаи, бя.

Неожиданно перед Файзуллиным возник чей-то темный силуэт. Переводчик испуганно вскинул фонарик, и в желтом круге возникло небритое мужское лицо.

– Ты кто? – спросил побледневший Файзуллин.

– Хрущев в пальто, – нагло ответил силуэт, прикрывая лицо ладонью. – Ты фонарь-то опусти. Тоже мне стационарный смотритель. Куперман я.

– А-а, – успокоился Файзуллин и опустил фонарик. – А тут что делаешь?

– Бабочек ловлю. Как Набоков.

– Каких в жопу бабочек? – встрял Авдеев.

– Господи, да гуляю я!

– Один?!

– Почему один? Нас тут человек сорок.

В эту секунду, подобно вставшим из могил зомби, из темноты стали выступать остальные привольчане.

– Ядрёна Матрёна! – изумился, трезвея на глазах, Авдеев. – Все тут. А мы думали, мы одни.

– Тоже мне первопроходцы, – усмехнулся Куперман.

– И давно гуляете? – спросил Файзуллин.

– Чуть меньше часа, – ответил Куперман и зевнул. – Больше тут и не требуется. За сорок минут можно весь этот сраный Привольск обойти.

– Завод видели?

– Да видели, видели. Завод как завод. Воняет только.

– Значит, просто гуляете? – спросил Файзуллин.

– А вы?

– Мы так... – смутился переводчик.

– Ну, вот и мы так. Ищем дыру в заборе.

– Была б дыра, в нее бы уже давно собаки пролезли, – пробормотал Авдеев.

– Резонно, – согласился Куперман. – А кто-нибудь знает, как Берлинскую стену преодолевали?

Раздалось несколько голосов.

– Подкопы...

– Тоннели вроде рыли.

– Да за деньги переводили, – заметил правозащитник Ледахин. – Западная Германия не скупилась на переброску политзаключенных.

– М-может, и на н-нас кто д-деньги даст, а? – робко спросил журналист Зуев.

– Да кому ты на хер нужен? – хмыкнул Авдеев и рыгнул.

– Сионизм не пройдет! – выкрикнул критик Миркин. – Русский не продаст свою совесть за деньги мировой закулисы.

– А ты, я вижу, тут самый русский, – снова хмыкнул Авдеев.

– Уж порусее некоторых пьяных рож, – огрызнулся Миркин, но на всякий случай отступил назад.

– На танке еще таранили, – прорычал бас, явно принадлежащий скульптору Горскому.

– На танке, – усмехнулся Куперман. – Ты где-нибудь тут танк видел?

– Ты же спросил про Берлинскую стену, а не про эту, – разозлился Горский.

– Перелетали, кажется, – пискнул кто-то в толпе.

– Вот ты и полетишь, – буркнул Куперман, не обернувшись.

Пискнувший смущенно замолчал.

– А может, проломить ее чем-нибудь? – снова встрял Горский.

– Чем? Молотком? Или головой своей, может?

– Слушайте, – возник Тисецкий. – А что если положить всю эту шайку-лейку и айда на волю? Тут всего-то майор, лейтенант, ну охрана еще.

Куперман поморщился.

– Мало того, что за побег всех по лагерям рассадят, так еще и убийство с отягчающими припаяют. Нет, тут мы застряли хорошо... Надолго.

– А н-не хотят ли н-нас тут просто ум-морить? – снова встрял испуганный голос Зуева.

– Чем это? – хмыкнул Куперман. – Дефицитными товарами и свободой творчества?

– Да не, – выступил из толпы невысокий мужчина. Это был Вешенцев. – Тут же завод химотходов. Радиация и все такое.

– А маскарад зачем тогда?

– Ха! Для отвода глаз, ясен корень! Вроде острова дураков. Помните, в «Пиноккио»? Там собирали непослушных детей, давали им кататься на карусели, мороженое-пирожное. А они тупели и в ослов превращались.

– Некоторым из присутствующих и карусель не нужна, – хмыкнул Кручинин, как будто намекая на кого-то конкретного.

– Не, а что-то в этом есть, – сказал Авдеев. – Только, бля, в «Пиноккио» детей вроде заманивали. А нас-то никто не заманивал, нас силком.

– Почему это? – возмутился Вешенцев. – Заманивали! Заманили рейсом Москва-Мюнхен.

– Не, ну а зачем нас умерщвлять? Тем более с такими затратами.

– Да и кому мы нужны? – снова пискнул кто-то из темноты.

– Как зачем? – не сдавался Вешенцев. – Чтоб шитокрыто. Мы тут все диссиденты-интеллигенты. Нас – чпок, и движение диссидентов обезглавлено.

– Скажешь тоже, обезглавлено, – хмыкнул Авдеев. – А техническая интеллигенция?

– А их в *свой* Привольск, – продолжил развивать свою теорию Вешенцев. – Физиков в физический. Химиков в химический.

– Ботаников в ботанический, – мрачно съюморил кто-то, и в толпе засмеялись.

– Да че вы ржете? – разозлился Вешенцев. – Точно ослы. Иа-иа! И потом, как знать? Может, нас помаринуют, мы тут все лучевой болезнью от этих химотходов заболеем, и нас выпустят. Мы и помрем на воле. Тихо, мирно.

– А охрана тоже помрет? И гэбисты?

– А может, они молоко пьют.

– Ну и ты пей, кто тебе мешает?

Вешенцев смутился и замолчал. Где-то теория дала трещину.

– А я думаю, – сказал Тисецкий, – товарищ в чем-то прав.

– Меня Андрей зовут, – хмуро заметил Вешенцев, которого покорило казенно-советское «товарищ» в данных обстоятельствах.

– Товарищ Андрей в чем-то прав, – «поправился» Тисецкий. – Сначала пряники да пышки, а потом синяки да шишки.

– В каком это смысле? – спросил Куперман.

– В таком. Лагерь тут будет. Привезут охрану, установят вышки и мало-помалу тут настоящий ГУЛАГ будет. Просто еще не успели оформить. Будет паек, бараки, и пойдем лес валить.

– А чего его валить? Не тайга же.

– А ты откуда знаешь, тайга тут или не тайга?

– Так мошкары нет.

– Ну, значит, какой-нибудь ДнепрогЭС строить.

– Значит, думаешь, будут гайки закручивать? – спросил Горский.

– Не сразу. Потихоньку. Этим у нас всегда все заканчивается. Сначала землю – крестьянам, а потом бац – и коллективизация. Сначала фабрики – рабочим, а потом бац – и индустриализация. Сначала дом, типа, творчества, а потом концлагерь.

– Че-то я логики не вижу, – сказал, икнув, Авдеев.

– А ты протрезвей, увидишь, – буркнул из темноты Миркин.

– Слушай, Куперман, – прошептал Файзуллин, наклонившись прямо к уху поэта. – А че с вами майор ходит? Он че, тоже дыру в заборе ищет?

– Какой еще майор?! – выпучил глаза Куперман и судорожно обернулся.

В задних рядах толпы стоял майор Кручинин. Он тихо беседовал с кем-то.

– Эй! – раздраженно крикнул Куперман стоящим сзади. – Вы что, все это время с майором рядом шли?

– Ну да, – откликнулись те, пожимая плечами. – А че такого? Мы думали, ну ходит и ходит. Может, так надо. Не гнать же его.

Куперман чертыхнулся и сплюнул.

– Да вы, товарищ Куперман, не переживайте так, – сказал Кручинин миролюбиво. – Я скоро пойду спать. Кстати, и вам, товарищи, советую. День был длинный. Всем надо выспаться. Тем более что прогулка затянулась. А насчет побегов скажу так: не советую. Впрочем, вы и без меня это понимаете.

– А насчет ослов? – встрепенулся Вешенцев, которому все не давала покоя мысль о медленном умерщвлении.

– А что насчет ослов? Я уже все сказал. Могу повторить. Не хотите верить – не надо. Никто вас ни калечить, ни убивать не собирается, если сами не решите себя покалечить. И в ослов вас тоже превращать не будут.

- Если сами не превратимся, – сказал кто-то.
- Именно. И вообще... думайте о творчестве. Вы же творцы.

Майор глянул на часы и зевнул.

- Спать пора, уснул...

- Осел, – закончил кто-то, но шутка не прошла.

- Бычок, – твердо закончил майор. Затем мотнул головой, стряхивая зевок, и сухо добавил: – Спокойной ночи, товарищи.

После чего ушел.

Оставшиеся с минуту молчали.

- Ладно, – сказал наконец Куперман. – И вправду день был длинный. Что зря грязь месить? По домам.

- По домам, – тихим эхом откликнулась толпа и побрела к своим новым квартирам.

Х

Машина у Зонца была что надо – просторный комфортабельный «мерседес» представительского класса. Вел его Зонц уверенно, можно даже сказать самоуверенно – то есть левой рукой крутил баранку, правой держал дымящуюся сигарету, при этом постоянно вертел головой и что-то насвистывал. Машина послушно плыла по московским улицам, вводя Максима своим плавным ходом в какой-то сонливый транс. Максим, однако, мужественно стряхивал это наваждение, стараясь настроить мыслительный процесс на творческую волну.

– Так что же все-таки с Блюменцвейгом? – спросил Максим, которого чрезвычайно смущала выпадавшая из всех исторических схем фигура однокурсника.

– Хотите послушать? – усмехнулся Зонц. – Ну разве что в качестве развлечения. Тем более что в московских пробках это идеальный способ скоротать время, а до ресторана нам еще как минимум полчаса добираться.

И Зонц поведал все, что знал о Блюменцвейге. А знал он довольно много. Правда, детство и бурную молодость Якова он описал буквально в двух словах,

тем более что поначалу биография Блюменцвейга была довольно стандартной. Закончил литинститут. Кое-что, конечно, написал. Даже опубликовал. Поучаствовал в альманахе «Глагол». Явно насолил КГБ. Затем несколько лет молчания. Вплоть до 1986 года. А вот потом... потом началась просто-таки вакханалия активности. И все не литературной.

Путь Якова Блюменцвейга, начиная с середины восьмидесятых, был, мягко говоря, извилист. А если без экивоков, то Блюменцвейг как с цепи сорвался. В конце 86-го года он неожиданно всплыл в Москве. Откуда, каким образом – это нигде и никак не объяснялось, но Зонц считал, что это был тот год, когда Блюменцвейг вышел из мест не столь отдаленных. Воспользовавшись рухнувшей сверху свободой (той самой, которая многих его собратьев по цеху придавила навсегда), он погрузился в кипучую общественную деятельность.

В то время бушевала перестройка. Открывались архивы КГБ, евреи беспрепятственно уезжали в Израиль и США на ПМЖ, коммунисты требовали возврата в СССР. В общем, полная вакханалия свободы. Именно тогда Яша написал свой знаменитый трактат о сионо-масонском заговоре, объявил евреев недочеловеками и даже создал организацию «Смерть жидам». Даже по тем временам резкость, с которой Блюменцвейг требовал немедленного «решения еврейского вопроса», была запредельной. Зато Яшу сразу полюбили националисты всех мастей. Все ж таки одно дело, когда у тебя фамилия Иванов и ты пишешь о протоколах сионских мудрецов, а другое дело, когда сам еврей максимально доказательно говорит о евреях как о нелюдах. Теперь чуть что, можно было бы говорить, что, мол, смотрите – даже евреи понимают глубину, так сказать, своей

проблемы. В эмигрантских кругах брошюру Блюменцвейга топтали ногами, публично сжигали и вообще всячески предавали анафеме. Трудно сказать, радовало ли это самого Блюменцвейга, но вскоре настроения его радикально изменились. В 1987 году полезло такое количество антисемитски-русофильских организаций, что «Смерть жидам», несмотря на вопиюще хамское название, просто потерялась на их фоне. Яша тут же совершил кульбит с разворотом на 180 градусов и создал общественное движение или, точнее, национальный патриотический фронт «Россия для нас». Лозунг этой партии «Русские, вон из России!» был настолько абсурден, что мгновенно привлек внимание как евреев, так и вообще всех проживающих в России национальностей. Главным тезисом движения был тезис о том, что в России уже давным-давно нет русских. То есть русские – это фактически некая прослойка людей, которые почему-то решили, что раз страна называется Россия, так им тут и жить, а остальные – извини-подвинься, не титульные нации.

В те времена перестроечное телевидение обожало позиционировать себя как супердемократичное, поэтому по большому счету оно довольно быстро превратилось в сточную канаву, где высказывались все: от полных маргиналов до брызжущих слюной фашистов (тогда демократию понимали именно так). Неудивительно, что Яшу тоже несколько раз приглашали на теледебаты. Надо сказать, что любых оппонентов давил он всей силой своего интеллекта, а если надо, не гнушался и мордобитием.

– Но как же нет русских?! – изумлялся ведущий очередной программы с Яшиным участием.

– Давайте сразу определимся, кто такие русские, – снисходительно отвечал Яша. – Просто некое сбори-

ще славянских племен. Где? На Дальнем Востоке? Или, может, на Урале? Или в Сибири? Но по Сибири не бродили славяне. Это чушь. Тем более если мы будем говорить о Киевской Руси. Где Киев и где Сибирь. Затем вспомним татаро-монгольское иго. Вы вообще себе представляете, что такое триста лет ига? Америка как государство еще даже до трехсот лет не дотянула. Это вот вы родились, прожили восемьдесят лет, а ваши дети, внуки, правнуки, праправнуки будут все еще жить под чьим-то игом. Если мерить поколения двадцатью годами, то это выйдет около пятнадцати поколений. И вот в течение этого срока сюда заходили, как к себе домой, какие-то татаро-монголы и, простите за грубость, имели проживающих на территории Руси баб. Добавьте к этому бесконечное количество смешанных браков. Где-то за восемь-девять веков. И что вы получите? Ивана Ивановича Иванова? Не смешите меня. А поверх огромное количество национальностей, которые живут в России. Вы посмотрите на Ельцина – он же почти раскосый. Скулы – во! Глаза – щелки! Или на Шукшина посмотрите. Это ж монголы вообще. Какие русские?!

– Да, но все-таки страна называется Россией, – робко встрял ведущий.

– Простите, но Германия тоже называется Германией, однако истинными германцами себя считают баварцы. Все остальные для них – пруссаки. А лучше возьмите примеры с Австралией, или Канадой, или Америкой. Там название страны вообще ни о чем не говорит. И никого не обижает. Все, кто проживают там, считаются канадцами, или австралийцами, или американцами. А у нас раз Россия – так сразу обязательно русские.

– Да, но вы ратуете за полное изгнание русских.

– Дело в том, что истинно русских осталось так мало, думаю, от силы полмиллиона, что речь идет об их же благе.

– Это как же? – опешил ведущий.

– Фактически это нация на грани вымирания. Мы предлагаем создать резервацию для русских. Эти оставшиеся русские будут тщательно осмотрены и проверены на предмет их русскости – тут и генеалогическое древо, и различные документы о браках и родителях, а также биологическое сходство с представителями других славянских племен. После чего мы их заселяем в отдельную часть России и отдаем, как говорится, им эту часть для последующего размножения. При этом эту территорию мы отсекаем от основной части России, давая им таким образом возможность создать свою Россию. Это, кстати, может быть Белоруссия. Все ближе к славянам.

– Что ж, две России, что ли?

– Нет, зачем? Они пусть именуют себя Русью, коли они русские, а мы оставляем за собой право именоваться россиянами и жить в России. Вот и все.

– Русь и Россия... Будет же путаница, – не зная, к чему прицепиться, выдавил ведущий.

– Для необразованных идиотов – путаница. Но для них, простите, и Словения со Словакией путаница. И даже Швеция со Швейцарией или Австрия с Австралией. Будем на идиотов, что ли, ориентироваться? И вообще, поймите, я против того, чтобы Россия сейчас оставалась с теми государствами, которые хотят самоопределения. Россия для тех, кто считает себя россиянином. Если же Чечня, Ингушетия или Белоруссия хотят отделяться – их право. Мы оставляем за собой большую часть Восточно-Европейской равнины, Урал, Сибирь, Дальний Восток.

В общем, Яков дал много подобных интервью. Организация росла и ширилась. Самое интересное, что когда в 93-м году страна поделилась на защитников-захватчиков Белого дома и их противников, только партия «Россия для нас!» не приняла ничью сторону, ни Ельцина, ни оппонентов. Более того, они вышли к Белому дому с плакатами: «Ругаться у себя дома будете!» и «Решайте свои проблемы без нас и не в России!» – тем самым давая понять, что и те и те являются чужаками на их территории. А когда Яшу спрашивали, какой же Хасбулатов чужой, мол, он вам самый родной, Яша отвечал, что раз Хасбулатов не присоединяется к их общественному движению, значит, хочет считать себя русским. Мол, это его право, но только пусть не удивляется, когда его вышлют обратно в Чечню. Но вскоре партия неожиданно приказала долго жить. Россию к тому моменту наводнили всякие американские центры, израильские благотворительные фонды, и вообще риторика типа «антинародное правительство Ельцина» стала как-то созвучна риторике движения «Россия для нас!». Яша забросил свое детище, а детище быстро захирело, распалось и растворилось в воздухе, не оставив и следа.

После этого Блюменцвейг всплывал в разных городах России с самыми неожиданными проектами. Но все как-то недолгосрочно, да и не больно интересно. Были «Норильские художники против живописи», была партия Южных Курил «Отдайте нас Японии». Был также «Театр дегенератов», труппа которого состояла исключительно из умственно неполноценных людей. Театр, кстати, успешно гастролировал, а за границей так и просто кучу призов получил – устроителям театральных фестивалей было неудобно не давать главный приз психически больным людям – их бы сразу обвинили в

дискриминации. Предпоследним детищем Блюменцвейга была финансовая пирамида «Трынть-трава», главным девизом которой был лозунг «Другие вас обманывают и не признаются, а мы честно признаемся, что обманем». Растяжками с этими наглыми словами была увешана вся Самара (место образования пирамиды). Куча народа приходила и отдавала свои деньги, видимо, считая, что это просто юмор. При этом при отдаче денег вкладчик подписывал документ, где черным по белому было написано: «ООО “Трынть-трава” не гарантирует возврата денег вкладчика и снимает с себя всякую ответственность в этом случае». Тем не менее почти никого эта строчка не удивляла. Когда пирамида рухнула, ни один суд не решился взяться за дело Блюменцвейга. Для того не было ни малейших юридических оснований. Самое интересное, что через неделю после ликвидации пирамиды Блюменцвейг образовал «Общество защиты вкладчиков», где за умеренную плату обещал разобраться с «Трынть-травой» и прочими недобросовестными ООО. И опять-таки никого не смутило, что возглавляет это общество бывший директор «Трынть-травы».

В 2007 году Блюменцвейг почти отошел от дел (если все вышеперечисленное можно назвать делами) и прозябал то в одном небольшом российском городке, то в другом. С этого времени данные о нем стали сухими, скучными, немногословными. В 2009-м он вернулся в Москву. Последним упоминанием о Блюменцвейге стала организация по борьбе с ВИТЧ, которую Блюменцвейг и возглавил. Что такое ВИТЧ, Зонц сам не очень понимал, поэтому затруднялся рассказать об этом Максиму более подробно. Трудно было также понять, жива эта организация или тоже почил в бозе. Впрочем, если Максиму интересно, Зонц может дать ему координаты Блюменцвейга.

– Конечно, – выдавил Максим, находясь под сильным впечатлением от рассказа.

– Хорошо, – кивнул Зонц и стал съезжать куда-то вправо. Затем въехал правыми колесами на тротуар и заглушил мотор. – Только не надо упоминать мое имя. Не стоит. Ну что? Мы приехали.

– И все-таки я не очень понимаю, – сказал Максим, не торопясь покидать салон, – зачем все это нужно было Блюменцвейгу.

– Что «это»?

– Все эти фонды, шмонды...

– Ну вот вы у него и спросите. А потом мне расскажете.

«Сейчас улыбнется во весь рот», – подумал Максим, но Зонц как будто прочитал его мысли и только мотнул головой.

– Выходите, дверь открыта.

XI

Конечно, мысли о побеге не покинули привольчан, но постепенно даже самые свободолюбивые смирились с проживанием в Привольске-218 и в спецлечебницу или, того хлеще, тюрьму не стремились. Тем более что работа на химкомбинате оказалась, как и говорил майор, не бей лежачего, а в свободное время диссиденты писали, сочиняли, организовывали какие-то дискуссии и творческие вечера. Тисецкий, например, начал издавать небольшой листок под ироническим названием «Правда-218». За неимением типографии текст отстукивался на машинке под копирку, а оформление делалось вручную, индивидуально. Сначала Тисецкий даже хотел продавать листок, но потом ему стало совестно. Как говорится, за падло. Все-таки все в одной лодке. В итоге один экземпляр вывешивали на стенде перед НИИ, как стенгазету, а остальные двадцать раздавали желающим. В одном из первых номеров Тисецкий поместил небольшую поэму Купермана, посвященную их новой Родине, которая заканчивалась искаженным четверостишием Маяковского:

Я знаю, город будет,
 Я знаю, саду цвествь,
 Когда таких Привольсков
 Еще с десятков есть.

Этим финалом Куперман намекал на то, что раз есть Привольск-218, то наверняка где-то есть еще двести семнадцать таких привольсков. Хотя и идиоту было ясно, что названия таким ЗАТО давались безо всякой логики и тем более очередности. Впрочем, смысл стихотворения можно было понимать и иначе – пока, мол, есть такие города, как наш, сад (то есть нелегкое диссидентское ремесло) будет цвествь.

Поэтесса Буревич, известная своей желчью и неприязненным с момента дележа квартир отношением к Куперману, тут же пустила в оборот свое четверостишие:

Я знаю, голод будет,
 Я знаю, аду цвествь,
 Когда таких Привольсков
 Еще с десятков есть.

Но, как ни странно, ее сарказм никто не поддержал. Более того, на нее даже слегка обиделись, потому что ни голода, ни тем более ада в Привольске-218 не наблюдалось.

Обживались, конечно, долго. Трудно было свыкнуться с мыслью, что ты как бы на свободе, но как бы и не совсем. Тем более срок в пять лет уж очень напоминал тюремный. Но через два месяца подъехал десяток ученых-химиков, открылись первые магазины, в общем, началась какая-то жизнь. Кроме того, привезли еще небольшую группу инакомыслящих. Правда, практику с заменой рейса КГБ отменило как порочную. Виной

тому был слух, который (бог весть какими путями) просочился в интеллигентные круги, что, дескать, есть такой самолет-призрак, который взлетать-то взлетает, но еще в пределах СССР его сбивают, а пилоты выпрыгивают с парашютом. Чтобы пресечь эти слухи, КГБ пошло на уступки и организовало телефонную линию для жителей Привольска-218 – конечно, под несусыпным контролем. Раз в месяц можно было сделать один звонок своим родным и рассказать, что ты жив, здоров, работу нашел, но в небольшом городке под названием... ой! связь плохая!.. не слышу... ту-ту-ту-ту... Что-то типа того. А дабы никто не вздумал «шалить», как выразился майор, всех предупредили, что связь идет с задержкой в пять секунд, так что если кто-то захочет что-то ляпнуть, то, во-первых, его тут же прервут и накажут, а во-вторых, до собеседника просто ничего не дойдет. Это было не более чем хитрой уловкой, ибо никакой задержки в пять секунд не было, но проверять это на собственной шкуре новым привольчанам не хотелось. Так что говорили очень осторожно и сухо. Конечно, попыток обвести родной КГБ некоторые не оставляли. Так, Ледяхин звонил маме и говорил всегда одно и то же. Как робот. «Со мной все в порядке. Нашел хорошую работу. Зарабатываю неплохо. Построил дом. Подумываю жениться. Что у тебя?» Спустя месяц он повторял этот текст слово в слово: «Со мной все в порядке. Нашел хорошую работу. Зарабатываю неплохо. Построил дом. Подумываю жениться. Что у тебя?» Он надеялся, что старушка мать, некогда революционерка и подпольщица, догадается, что что-то не так. Но она, как назло, каждый раз отвечала одно и то же, как будто сама пыталась ему что-то передать: «Ну и слава богу. А женитьба – дело такое, хочешь жениться – женись, а нет – и не надо. У меня все хорошо». Это нервирова-

ло Ледеяхина, который теперь уже начал подозревать, что и мать его находится вовсе не в Москве, а тоже в каком-нибудь Привольске. Но объяснялось все просто: ей действительно было больше нечего сказать, и поскольку ум у нее стал с возрастом слабеть, то она благополучно забывала, что там и в какой форме говорил сын в прошлый раз. Зато фокус Ледеяхина не прошел мимо внимания майора Кручинина, который, услышав однотипную информацию о строительстве дома и подумывании жениться в четвертый раз, спросил у Ледеяхина, как долго он собирается сообщать матери о построенном доме и предстоящей женитьбе. Ледеяхин смутился и сказал, что, наверное, больше не будет.

– Вот и я так думаю, что не стоит, – мягко сказал майор.

В следующий раз перепуганный Ледеяхин сказал маме, что жениться он раздумал, а дом продал и переехал. На что, к своему изумлению, услышал неизменный ответ: «Ну и слава богу. А женитьба – дело такое, хочешь жениться – женись, а нет – и не надо. У меня все хорошо» – и плюнул на эту затею. О чем впоследствии не жалел, потому что жизнь в Привольске-218 его тоже потихоньку начала устраивать.

Впрочем, «звонки на волю», как их называл Куперман, тоже быстро сошли на нет. Говорить шаблонные фразы стало лень, а фантазии пресекались на корню. Как-то Авдеев, слегка приняв на грудь, начал плести своему брату какую-то околесицу про то, как он ездил в Берлин, бродил по Унтер-ден-Линден, сидел на Александерплац, заходил в Фридрихштадт-палас и все такое. Скорее всего, подвыпивший Авдеев не имел в виду ничего такого, но так уж вышло, что все объекты, которые он упоминал (и которые автоматом соскакивали у него с языка ввиду давней школьной поездки в ГДР),

находились в Восточном Берлине. Где он (якобы только что прибывший в ФРГ) просто не мог находиться. Но если Авдееву было все равно, что заливать, то насторожившийся Кручинин был вынужден прервать не на шутку разгулявшегося «туриста».

Так или иначе, но и этот вид связи с внешним миром постепенно был упразднен: майору надоело отслеживать речи болтливых привольчан, привольчанам надоело постоянно подавлять в себе желание рассказать правду. В память о звонках осталась только надпись на тумбочке, где стоял телефон, – накарябанное чьей-то шаловливой рукой четверостишие, переделка знаменитого стихотворения Слуцкого:

Что-то лирики в загоне,
 Что-то физики в загоне,
 Что-то все вообще в загоне –
 Вот такая вот хуйня.

XII

Максим быстро нашел Воронцовский проспект, шумный и грязный, как и большинство московских улиц, имевших несчастье быть выстроенными вне исторически-культурного центра столицы. Немного поблуждав среди уныло-облезлых новостроек в поисках нужного здания с несколько алгебраическим адресом: дом 6, строение 3, корпус 2, он наконец выбрал к многоэтажному блочному дому с обшарпанными стенами и уродливыми балконами, окрашенными в посеревший от копоти и времени голубой цвет, некогда, видимо, радовавший глаз приемной комиссии.

Максим зашел под козырек подъезда и стал усиленно жать на кнопки большого черного домофона, набирая номер квартиры. На домофоне от руки было накарябано: «Свет, у вас что, код сменили?». Максима удивил не столько сам вопрос (почти философский в своей риторической безответности), сколько то, что он был написан белой несмывающейся краской – то есть, считай, на века. Что автоматически придавало ему статус вечного вопроса.

Максим довольно скоро оценил страдания писавшего сие послание к человечеству в лице некой Светки, ибо сколько ни жал на кнопки, домофон не подавал никаких признаков жизни. Тогда Максим дернул за ручки двери, которая, к его удивлению, просто открылась.

В лифте Максим ткнул кнопку восьмого этажа, приблизительно вычислив его по номеру квартиры, и, хотя обычно подобный метод давал погрешность в пару этажей, на сей раз он угодил точно куда и следовало. Причем понял он это сразу, как только увидел в углу лестничной клетки обитую потертой кожей дверь с медной табличкой: «Я. Блюменцвейг. Консультации по вопросам ВИТЧ».

Максим поискал глазами звонок, но, не найдя одного, постучал костяшками пальцев прямо по табличке.

– Кто там? – раздался знакомый и почти не изменившийся голос Якова.

– Это Максим Терещенко, – сказал Максим, чуть сторбившись и уткнувшись губами в солоноватый металл замочной скважины. – Я звонил...

В ту же секунду что-то щелкнуло, и Максим невольно отпрянул. Перед ним стоял мужчина лет шестидесяти. На нем были джинсы и мятая темно-синяя рубашка с закатанными рукавами.

«Боже, – подумал Максим, разглядывая мужчину, – неужели и я так постарел?»

– Проходи, – близоруко шурясь, сказал Блюменцвейг, отходя в сторону и пропуская Максима в квартиру. – Да не разувайся. Проходи прямо в кабинет.

Максим пошел наугад по коридору, не очень понимая, где тут кабинет.

– Налево, налево, – засуетился Блюменцвейг, почти обгоняя Максима.

В маленькой комнате, которую Яков именовал кабинетом, было светло и уютно. Солнечный луч, пробиваясь сквозь неплотно зашторенное окно, ложился на потертый паркет, придавая обстановке почти церковную умиротворенность. В одном углу стоял стол. В другом небольшой диван. По всему периметру комнаты находились полки с книгами.

Блюменцвейг с некоторым опозданием пожал руку Максиму.

– Сколько лет, сколько зим, – сказал он. – Рад, что ты меня наконец нашел.

Максима слегка удивило это «наконец», как будто он всю жизнь посвятил поискам Блюменцвейга.

– Да собственно, дали координаты, я и нашел.

– И кто же эти добрые люди, если не секрет?

– Ты не знаешь... давняя история... один человек из минкульты... «Театр дегенератов»...

– Ах, да! – обрадовался Блюменцвейг, – «Театр дегенератов». Как же, как же... Ох, талантливые были ребята. Все полные дебилы, но какие таланты! Талант – вот основа всего. Вот истинная свобода. И истинное безумие, если хотите. Как у меня один аутист играл Мышкина, ты бы видел!

Блюменцвейг закачал головой и зацокал языком.

– А вокруг олигофрены, дебилы, пара шизофреников... Идиот, так сказать, приехал к идиотам.

– Тонкий художественный ход, – неуверенно похвалил Блюменцвейга Максим.

– Да при чем тут ход? – махнул тот рукой. – У меня же не было других актеров. Какой мы успех имели в Японии! Елки-моталки. Где они все теперь? Раскидала всех жизнь... Эх-ма! Хочешь чего-нибудь выпить?

Максим мотнул головой.

– Я по делу.

– Не вижу противоречия, – удивился Блюменцвейг. – Впрочем, как знаешь.

Он указал рукой на стул, приглашая Максима сесть, а сам опустился в кресло.

– Ну, что нового?

– Да, собственно, ничего, – смутился Максим, не зная, с чего начать – вопросов было слишком много, а времени с их последней встречи прошло больше тридцати лет. – Видишь ли... дело в том, что я сейчас занят сбором материала по поводу «Глагола», если ты помнишь этот диссидентский альманах.

– Еще бы.

– И я столкнулся с определенными трудностями. Самолет, на котором вы все полетели в Мюнхен, в Мюнхене не приземлился.

Блюменцвейг как-то поморщился. А может, Максиму это только показалось.

– Это долгая и скучная история, – сказал Блюменцвейг и почему-то забарабанил по столу.

– Насколько долгая? – упрямо спросил Максим.

– Ну хорошо, – сдался после паузы Блюменцвейг. – Скажем так. Как только мы взлетели, самолет изменил курс и привез нас всех в лагерь. Это было что-то вроде эксперимента. Вот и все.

Проговорил это все Блюменцвейг с пулеметной скоростью, явно давая понять, что не очень настроен говорить на эту тему.

– То есть вы не прилетели в Германию.

– Нет, – отрезал Блюменцвейг. – Мы прилетели в Россию. Точнее, мы из нее и не улетали.

– А открытки?

– Все – липа. Игры КГБ, – сухо ответил Блюменцвейг. Было видно, что тема ему совсем не нравится. Но Максиму было некуда деваться.

– А ты?

– А мне удалось сбежать. И давай закроем эту тему. Не понимаю, почему тебя это все интересует.

– Но я же сказал. Я пишу о «Глаголе». О диссидентской интеллигенции. В конце концов, речь идет и о твоих же друзьях.

Тут Блюменцвейг снова поморщился.

– Знаешь, Максим... вот тебе мой совет. Не лезь ты в это дело.

– В какое дело?

– Ты знаешь, о чем я.

«Мило, – подумал Максим. – Свет в конце туннеля оказался миражом. Снова все та же глухая стена. Остается только попрощаться и уйти, впрочем, это было бы как-то неудобно».

– Нет, не знаю, – сказал он упрямо. – У меня есть заказ на книгу. Книгу о нас, нашем времени, наших чаяниях и надеждах.

Последнее предложение прозвучало как-то фальшиво, и Максим невольно замолчал.

– Такая книга будет написана, – сказал Блюменцвейг загадочно. – И, думаю, раньше, чем ты напишешь свою... Дело в том, что ко мне уже приходили относительно Привольска.

– Да? – удивился Максим, который помнил, что Зонц отказался от услуг Блюменцвейга, но на всякий случай спросил: – Такой высокий, загорелый?

– Нет, шибздик какой-то лопоухий. Я его отшил. В общем, давай о чем-нибудь другом. Всякому овощу свой фрукт.

– Ну хорошо, – пожал плечами Максим, который не понял смысла поговорки, но уловил ее скрытый смысл. – Тогда, может, объяснишь, что значит этот твой ВИТЧ.

Не то чтобы Максима это шибко интересовало, но на безрыбье и рак не рак.

Блюменцвейг как-то сразу ожил, вытащил из заднего кармана джинсов мятый рекламный листок и протянул его Максиму.

На листке было написано: «Диагностика ВИТЧ. Консультативные приемы специалистов, функциональная диагностика, комплексные обследования».

– Не понял, – поднял глаза Максим. – Ты что, занимаешься медициной?

– Я бы так не сказал. Хотя... В общем, это мое небольшое открытие. Расшифровывается как вирус иммунодефицита талантливового человека. Или творческого. Я еще не совсем определился с расшифровкой этой аббревиатуры.

– И что это значит? – спросил Максим, недоуменно нахмурившись.

– Это значит, что существует огромное количество творческих людей, зараженных этой крайне неприятной болезнью, – улыбнулся Блюменцвейг, видимо, радуясь, что сумел заинтересовать гостя. – В некотором роде мания безличия.

– И в чем она выражается? – спросил Максим, чувствуя, как в голове телетайпной лентой бегут слова Зонца о неадекватности Блюменцвейга.

– В серости. Творческой серости. Эти люди пишут романы, стихи, сценарии, сочиняют песни, снимают кино. Они незаметны, как серые мыши. Но и не менее опасны, чем серые мыши, которые незаметно уничтожают зерно, грызут посевы и портят имущество. Незаметно на взгляд неопытного человека. Но на взгляд человека чувствительного, человека, обладающего культурой, этот процесс очень даже заметен. И болезнен.

– Так, а ВИТЧ – это что?

– Болезнь, которая съедает этих творческих людей изнутри. А они в свою очередь пожирают нас и нашу культуру. Такое бесконечное пожирание.

– Вроде вредителей, что ли?

– Ну да. Но только не в сталинском смысле этого слова, а, скажем, в биологическом. Они же вредят не нарочно. Как, впрочем, и мыши. Это ВИТЧ их кушает изнутри.

– А ВИТЧ – это их серость.

Максим почувствовал, что оказывается невольно втянутым в какую-то полубезумную беседу.

– Именно. Есть краснуха, есть желтуха. А это... серуха, что ли.

– А в чем, простите, это конкретно выражается?

– В их творчестве. Оно серо, как бетонная стена. Оно базируется на стереотипах и штампах, на желании развлечь и освободить читателя-зрителя от мыслительного процесса. Это стагнация мозга. Норма, которую нам навязывают. Это фашизм. Это несвобода. По сути, они уничтожают культуру. Впрочем, это победы. Они уничтожают и нас с вами, ибо культура – это озоновый слой в атмосфере, защищающий нас от смертельного ультрафиолета. Убери этот слой, и мы все погибнем. Только не от ультрафиолета, а от ультрасерости.

Тут Блюменцвейг по-детски рассмеялся, видимо, радуясь собственному остроумию. Смех его был столь разразителен, что даже Максим улыбнулся.

– Людям только кажется, что они могут жить вне культуры или без культуры. То есть жить они, конечно, могут, но это скорее существование. Казалось бы, и бог с ними. Но серая среда агрессивна. В конце концов образ жизни этих людей становится доминирующим.

Причем настолько, что размываются вообще всякие мерилы и границы.

– Мерилы и границы чего? – растерянно переспросил Максим.

– Таланта. Творчества. Искусства. Мы ведь все взаимозависимы.

– Подожди, но разве талант не есть сам по себе в некотором роде инверсия или даже извращение?

– Безусловно! – неожиданно обрадовался Блюменцвейг. – Метафизическая и доселе непознанная способность отдельно взятого человека выделиться из группы равных. Что-то, что априори противостоит общему фону. Фон, который, замечу, считается нормой. И относится подобное извращение, как правило, к творческим профессиям. Ибо понятие таланта и бездарности фактически не существует вне категории интеллигенции...

– А как же политики, спортсмены, бизнесмены...

– Да, но велик ли процент профессиональных спортсменов и политиков и сопоставимо ли их число с числом интеллигентов?

– А это-то здесь при чем? – удивился Максим.

– При том, что талант, как ни крути, вещь эфемерная, неуловимая. А что такое талант спортсмена? Это воля, умение концентрироваться плюс физические данные. О спортсменах мы говорим в цифрах – поднял такой-то вес, прыгнул на столько-то, забил столько-то. К таланту цифры неприменимы. Теми же цифрами мы меряем и успех бизнесмена. Что же касается политиков, то ну сколько реально талантливых политиков вы можете назвать? Ну десяток, ну двадцать, ну пятьдесят. Это за всю историю человечества. И мерить их талант вы будете опять же конкретными политическими успехами. Объединил Италию, отразил нападение, выиг-

рал войну, поднял экономику. А разве успешен был Ван Гог? И обратный вопрос: а талантлив ли автор бесконечных бестселлеров для домохозяек?

– Но есть же и ремесла, – возразил Максим, чувствуя, что втянулся в дискуссию по самые уши, хотя совершенно не понимает, зачем ему это все. – В них тоже не всегда главенствуют цифры.

– А применимо ли понятие таланта в ремеслах? Нет, в метафорическом смысле – конечно, но... мы же прекрасно понимаем, что «талантливый дворник» или «бездарный водитель» звучит глупо. Мы скорее скажем «хороший дворник» или «плохой водитель».

– Но мы так же говорим и о писателе, например, – парировал Максим. – Плохой писатель, хороший писатель.

– Конечно. Но, по совести говоря, плохой дворник и бездарный писатель – понятия неравнозначные. Будет ли страдать дворник от осознания того, что выбрал не то призвание или, увы, не имеет таланта подметать улицу? Вряд ли. Будет ли страдать он от того, что подметает улицы Урюпинска, а мог бы подметать улицы Саратова или даже Москвы? Не думаю. Разве что в Москве зарплата больше. А будет ли он переживать, что есть более талантливые и успешные дворники? И это маловероятно.

Талант является прежде всего атрибутом интеллигенции. И эта инверсия и есть иммунитет. Если хочешь, иммунитет общества. А норма, которая наступает на нас, – это агрессивная среда, как кислота или, скажем, группа болезней: грипп какой-нибудь, ветрянка, что-нибудь инфекционное. То, с чем в принципе может справиться любой здоровый организм. Но, подчеркиваю, здоровый. На данный момент общество наше не шибко здорово.

– Но что ж плохого в наличии нормы? – возразил Максим. – Норма всегда была. Невозможно поднять всех жителей планеты на культурный уровень какого-то там философа. Да и нужно ли это?

– Проблема в том, что норма – не константа. Она движется, меняется. И сама по себе способна то поднимать, так сказать, интеллектуальную планку потребностей общества, то ее опускать. Как отлив и прилив. Но то, что мы имеем сейчас, в наше время, это уже даже не отлив и вообще не планка. Это плинтус, извините за грубость. И эта плинтусная норма...

– Norma plintus, – пошутил Максим.

– И эта норма, – продолжил Блюменцвейг, пропустив шутку мимо ушей, – как и любая норма, производит свои ценности, то есть свои стандарты существования. Талант – единственное, что в состоянии сопротивляться надвигающейся норме. Именно он дает альтернативную, а часто и объективную оценку этой норме, заставляя сомневаться в ее абсолютной правоте. Сама по себе норма не так уж страшна. Хотя в наше время она превратилась в надувание мыльных пузырей. То есть некие пустоты, которые только талант в состоянии заполнять смыслами. В общем, как я уже сказал, талант – это иммунитет.

– И в чем же заключается твоя идея? – спросил Максим, начиная теряться в этом потоке измышлений Блюменцвейга.

– Я бы хотел создать учреждение, которое будет диагностировать это заболевание. Так сказать, определять его степень.

«Да, похоже, это тебя самого надо диагностировать», – подумал Максим и невольно покосился на дверь – успеет ли он добежать до нее, если Блюменцвейг вдруг поведет себя неадекватно. Пожалуй, что успеет.

– И каким же образом ты это собираешься диагностировать? – спросил он вслух.

– Очень просто. Мы будем брать анализы...

Тут Блюменцвейг заметил растерянность на лице Максима и рассмеялся.

– Прости, это я их так называю. А по сути, мы просто берем произведение искусства, а еще лучше – несколько произведений искусства автора и подвергаем их тщательному анализу.

– Оценивать будете, что ли? – недоуменно спросил Максим.

– Можно сказать и так. Для этого у нас будет огромный штат профессиональных сотрудников по тем или иным видам искусства. Многие из которых будут отобраны лично мной, но вовсе не по причине совпадения наших вкусов, а по причине их умения выражать и аргументировать свою точку зрения, даже если она отлична от моей. Кстати, многие талантливые эксперты обладают довольно экстремальными взглядами, но это тоже ценно, ибо дает более комплексный взгляд на то или иное произведение. Скажем, по литературе у меня будет работать порядка двухсот специалистов.

– Но это же, прости, тоже субъективно. И потом, я думал, что истинную оценку дает только время.

– Ну, во-первых, мы не будем претендовать на истину в последней инстанции. Во-вторых, время, извини, тоже часто ошибается. Или ты хочешь сказать, что все труды гениальных авторов до нас дошли и были по заслугам оценены? А довольно средние произведения не становились хитами на все времена? Увы и ах! С этой точки зрения время тоже, знаешь ли, довольно субъективно. А в-третьих, оценка степени таланта не есть наша приоритетная задача. Есть авторы средние, есть выдающиеся, есть обладающие крайне скромными талан-

тами. Но нас интересует только серость. ВИТЧ. А это разные вещи.

– И что, авторы будут сами приносить вам свои произведения?

– Будут! – уверенно шлепнул ладонью по столу Блюменцвейг, и Максим снова испуганно покосился на дверь. – Скорее всего мы будем работать в конвейерном режиме. Диагностика – процесс сложный. Мы не будем выносить оценок типа «вам пять, Сидоров, садитесь». Мы постараемся оценивать произведение с точки зрения оригинальности мышления, новизны воплощения, возможного влияния на общий культурно-творческий процесс, ломания стереотипов, в общем, с точки зрения... таланта. Но основная наша задача – это выявить серость и предостеречь от нее автора, а возможно, и общественность. Как ни странно, даже самый распоследний творец рано или поздно хочет услышать более глубокую и адекватную оценку своему творчеству, чем комплименты от случайной домохозяйки, фальшивую похвалу от друзей или просто ругань на заборе или в Интернете.

– И какие же способы лечения ты собираешься предложить? – усмехнулся Максим.

– Увы, – развел руками Блюменцвейг. – Мы будем заниматься диагностикой. Лечение вне нашей компетенции. ВИТЧ как ВИЧ. Болезнь неизлечима, но поддается сдерживанию.

Максим невольно рассмеялся.

– Что-то я сильно сомневаюсь, что твои пациенты, услышав диагноз, бросят заниматься творчеством.

– Конечно, нет. Это вообще не наша прерогатива. Но у меня в команде будут работать опытные психологи. Во-первых, диагноз будет составляться под их руководством. Он – не сухая выкладка. Это индивидуально

подобранные слова. Так, чтобы заронить в душу автора определенные сомнения в качестве сотворенного им произведения. Во-вторых, анализы – это лишь первая часть обследования. Вторая – это работа с психологами напрямую. То есть обсуждение диагноза с пациентом. Именно там психологи и попытаются воздействовать на пациента...

Тут Блюменцвейг запнулся и быстро скомкал свой монолог.

– Впрочем, ты прав. Занятие это не из простых. И я не очень верю в эффективность лечения.

– Судишь по собственному опыту?

– В смысле? – удивился Блюменцвейг.

– Видишь ли, твое бурное прошлое наводит на мысль, что ты и сам с чем-то боролся.

Блюменцвейг заметно напрягся, но заставил себя улыбнуться.

– Есть немного. Я боролся со своим ВИТЧем. Правда, в разных сферах.

– Сублимация выходила, однако, довольно резкой.

– Немного насильственной. Согласен. Но я всего лишь пытался рушить стереотипы и сложившуюся вокруг меня норму. Она – абсолютное зло. Иногда я перегибал палку, каюсь. Впрочем, самое большое зло – это даже не сама норма, это те, кто пользуются ею для достижения своих личных целей. Они – одни из главных пожирателей реальности и производителей серости. Они ее спонсоры. Эти люди – самые страшные.

– А посмотреть на яркого носителя ВИТЧ можно? – с усмешкой спросил Максим.

– Яркие представители серости – это уже смешно, – ответно усмехнулся Блюменцвейг. – А они бывают разными. Есть носители, а есть инфицированные... То

есть у большинства ВИТЧ – это просто зараза, а у некоторых эта зараза прогрессирует.

Блюменцвейг закурил какую-то едкую папиросу и посмотрел Максиму в глаза.

– Думаешь, я спятил?

– Да нет, – сказал Максим, невольно опустив глаза, хотя очень хотелось сказать «да».

– Вижу, что думаешь, – усмехнулся Блюменцвейг. – Впрочем, не суть.

«А что ж тогда суть?» – подумал Максим, но вслух спросил:

– И кто же виноват в этом ВИТЧе твоём?

– Как кто? А с чего гниет рыба? С головы. Значит, что? Значит, мы и виноваты.

– И я?!

– И ты. Потому что все мы толкуем об одном, высоком и жертвенном, а запусти нас в «комнату желаний», выяснится, что все мы хотим просто забраться на уютный диван и не рыпаться. Образно выражаясь.

– А что в этом плохого?

– Не знаю. Может, и ничего. Просто мы сами находим тысячи оправданий своему нежеланию делать то, ради чего мы сюда явились. Вот где истоки ВИТЧа. А еще хуже – когда мы прячемся от реальности, позволяя ВИТЧу захватывать новые территории. А потом сами же первые и скулим.

На этих словах Блюменцвейг закашлялся дымом от собственной папиросы и стал махать рукой, разгоняя сизое облако, качающееся в лучах заходящего солнца.

– Если хочешь, и тебя возьму в эксперты, – сказал он, откашлявшись.

– По старой дружбе, что ли?

– Упаси бог. У меня ж тут не семейный бизнес.

И, рассмеявшись, добавил:

– Впрочем, учитывая, что у меня не осталось ни одного мало-мальского родственника, то, пожалуй, что и семейный. Ха-ха. Нет, просто в качестве образованного эксперта.

– Спасибо, я подумаю, – вежливо ответил Максим.

– Ну и славно.

Блюменцвейг, крикнув, встал из-за стола.

– Выпить не хочешь?

– Нельзя, – развел руками Максим. – Иначе похмеляться буду на том свете.

Блюменцвейг ничего не сказал. Только откинул штору и величаво посмотрел в окно. С восьмого этажа открывался неплохой вид на спальный район Москвы.

– Посмотри на этот город, – медленно сказал Блюменцвейг, окидывая взглядом открывшуюся панораму, как полководец – поле будущей битвы. – Он расцвечен иллюминацией и рекламными щитами, а на самом деле он сер. Он сер, сэр...

После этого в воздухе повисла какая-то удушливая пауза, и Максим подумал, что, кажется, пора уходить.

XIII

Первые несколько месяцев в Привольске-218 пролетели как один день. Поэты и писатели обустроивали свои гнезда и работали на химкомбинате. Потом химкомбинат стал хиреть. Настоящих химиков, которые руководили работой завода, куда-то перевели, а привольчане постепенно перешли на работы по распределению: кто кассиром, кто продавцом, кто строителем. Но самое главное – это творчество. Творчеству они отдавали все свободное время. Тисецкий наконец получил в распоряжение компактный печатный станок и с головой ушел в издание «Правды-218», набрав редколлегию из опытных журналистов, включая переводчика Файзуллина и критика Миркина. Правда, Миркин довольно быстро покинул газету, обозвав ее сионистским лежбищем. Когда его спросили, почему именно лежбищем, а не гнездом или, скажем, рассадником, Миркин пробурчал, что пока никто ничего не делает, это лежбище, а вот, мол, когда начнете дело делать, станете рассадником. Скульптор Горский принялся за монумент жертвам сталинизма, который намеревался установить на центральной площади перед бетонным зданием НИИ.

Вешенцев нашел несколько любителей-театралов и сколотил небольшую театральную труппу. Стоит ли говорить, что они тут же замахнулись на запрещенную драматургию. Кроме того, драматург Певчих обещал написать для новоиспеченного театра «сверхактуальную пьесу». Через пару месяцев общее число творческих диссидентов, сосланных в Привольск-218, достигло сотни. Но после этого поток закрылся и обещанный Кручининым прирост населения остановился, толком не начавшись. Вначале в КГБ действительно подумывали, а не пустить ли в Привольск и членов семей. Но в таком случае возникал риск вовлечения слишком большого числа людей. Пришлось бы тащить родственников жены, родственников родственников жены, детей, внебрачных детей, детей внебрачных детей и так далее. Так что от подобных планов отказались. Тем более что инакомыслящие творцы с участием смирились и не бунтовали. Работали на стремительно хиреющем комбинате, участвовали в общественной жизни и все такое. Пока в один из теплых осенних дней в кабинет майора Кручинина не постучал лейтенант Чуев.

– Да! – крикнул Кручинин.

– Разрешите доложить, товарищ майор, – возникло в двери веснушчатое лицо лейтенанта.

Кручинин приподнял голову.

– Докладывай.

Лейтенант вошел как-то боком, и майор не сразу заметил, что у того в руках тяжелый полиэтиленовый пакет.

– Это что еще? – спросил Кручинин.

– Жалобы, товарищ майор. Идут и идут.

Сначала Кручинин даже не очень понял, что происходит.

– Какие жалобы? Куда идут?

- Мне идут.
- А кто жалуется? И на кого?
- А пес их разберет.

Чувев крикнул и приподнял пухлый полиэтиленовый пакет. После чего шмякнул его прямо на стол майору.

Кручинин почесал затылок и запустил руку в пакет. Вытащил наугад первый листок. Развернул и прочитал вслух:

- Спешу доложить, что писатель Ревякин мало того что разводит на дому собак (не для продажи ли?), так еще и пишет антисоветский роман. Прошу принять меры.

Ниже стояло число и подпись: Доброжелатель.

- Здрасти-посрамши, - чертыхнулся майор. - Там что, все такое?

- Да почти все. Иногда, правда, и не анонимные.

- А откуда у Ревякина собаки?

- Щенков подобрал где-то, вот они и подрастают. Вы извините, товарищ майор, но тут к вам целая очередь выстроилась.

- Какая, к черту, очередь?

- Ну, это... Жителей. Хотят к вам на прием.

- А ты их не можешь принять, что ли?

- А ко мне не хотят. Хотят к главному, то есть к вам. Я их уже неделю мариную.

- А что ж раньше молчал?

- Так вы просили вас не беспокоить по пустякам, я думал, что у них терпение лопнет и они со мной будут говорить. Но они ни в какую. И потом, вон какой пакетище накопился.

- А что они хотят-то?

- А кто их знает. Вот Ледахин с утра ошивается в приемной. Куперман там же. Критик этот... Миркин, кажется.

– Бляха-муха. Ну, зови, кто там первый.

Лейтенант исчез, а майор принялся вытаскивать записки из пакета. Чтение, надо сказать, было утомительным. Хотя встречались и перлы.

Так, один анонимщик написал следующее:

«Привезите нормальный народ! В конце концов, это действует на нервы! Куда я ни приду, везде писатели и прочий творческий сброд. В магазине, в кино. И везде они умничают, красуются друг перед другом, говорят, как им кажется, умные слова. А я хочу общаться с нормальными людьми, а не стоять в очереди за писателем Н., чтобы, подойдя к прилавок, быть обслуженным поэтом К., а в кассе мне пробьет чек драматург П. Что за безобразие?! Прекратите это немедленно!»

Отсмеявшись, майор взялся за следующую жалобу. В этот момент постучали.

– Войдите, – сказал Кручинин, не поднимая головы, – он изучал очередное анонимное послание: в нем жаловались на то, что газета «Правда-218» своим «неуместно ерническим стилем» оскорбляет патриотические чувства жителей Привольска-218.

В кабинет вошел критик Лев Миркин. Несмотря на относительно молодой возраст, у него была большая спутавшаяся борода. На ногах надето что-то вроде лаптей, а на теле – что-то вроде толстовки.

– Я вас слушаю, – поднял глаза майор и с легким недоумением посмотрел на наряд гостя.

– Я, конечно, ничего путного от этой затеи с Привольском не ждал и не ожидаю, но прошу оградить меня, а также остальных простых русских людей от той сионистской вакханалии, которая творится в театре, возглавляемом товарищем Вешенцевым, а также в газете товарища Тисецкого.

– Это, часом, не ваше послание про «ернический стиль»? – спросил майор и вяло помахал последней из прочитанных записок.

– Часом, мое, – не только не смутившись раскрытой анонимности, но и как будто гордясь этим фактом, ответил Миркин.

– А что ж анонимно?

– Для солидности, – неожиданно окая, ответил Миркин.

– Извините, Лев... э-э-э...

– Моисеевич.

– Лев Моисеевич, ну если вам так не нравится газета Тисецкого или театр Вешенцева, то не читайте газету и не ходите в театр. В чем проблема?

Миркин как будто опешил от такого, на его взгляд, идиотского решения проблемы.

– Да, но оттого, что я не буду читать и смотреть, газета или театр не закроются, – растерянно произнес он.

– Вот те раз! – удивился в свою очередь Кручинин. – А вы бы хотели, чтобы мы их закрыли?

– Конечно.

Майор хмыкнул.

– А вы не хотите, ну, раз вам так не нравится Вешенцев с Тисецким, сами организовать еще одну газету или еще один театр?

– Ну вот еще! – фыркнул Миркин. – Да и что это изменит? У меня будет свой театр и своя газета, а они будут по-прежнему оскорблять русских, злопыхательствовать и сионизировать?

– А вы знаете, что у меня тут... – кивнул майор в сторону полиэтиленового пакета, – есть и на вас жалоба от Тисецкого.

– Не сомневаюсь, – буркнул Миркин и демонстративно отвернулся.

– Он обвиняет вас в непрофессионализме и национализме. Пишет, что у нас многоконфессиональное государство и равные права всех граждан гарантированы Конституцией. И напоминает, что с 1918 года по 1944-й гимном СССР являлся «Интернационал», «о чем товарищ Миркин, вероятно, забыл». Что на это скажете?

Миркин гневно запыхтел, видимо, готовясь к отповеди, но майор опередил его.

– Знаете что, Лев Моисеевич...

– Что?

– Позовите-ка следующего.

Миркин вспыхнул, но сдержался и, резко развернувшись, вышел. По дороге он потерял один лапоть и долго и яростно пытался подцепить его ногой. Но тот никак не поддавался, и последние метры до двери Миркин прошел, шаркая одной ногой, как инвалид.

Едва он вышел, в кабинет без стука ворвался Куперман.

– Товарищ майор, ну это уже из ряда вон!

– Что именно? – невозмутимо спросил Кручинин.

– Я организовываю свой творческий вечер, рассылаю приглашения, а ко мне никто не приходит.

– Помилуйте, – максимально вежливо ответил майор. – А я-то тут при чем?

– Как это при чем? Вы должны вмешаться! Вы – руководство или не руководство?!

– Административное – да, но не художественное.

– Так и я о том же! Я выступал в институтах, на фабриках, в хлебопекарнях и сельских домах культуры, и везде были полные залы, меня слушали затаив дыхание, и...

– Во-первых, не говорите ерунды. Ни на каких хлебопекарнях вы не выступали и тем более никто затаив дыхание вас не слушал. Вы писали стихи со всякими

фигами в кармане и заслужили себе негромкую славу борца с властью. Но это уже после того, как вас турнули из Союза писателей. А во-вторых, что вы от меня хотите? Чтобы я силой сгонял людей на ваш творческий вечер?

Куперман осекся и с удивлением посмотрел на Кручинина.

– Знаете, товарищ майор... с таким отношением к работе, боюсь, карьеры вам не сделать.

– Ну, это не вашего ума дело, – огрызнулся Кручинин. – А вот, кстати, не хотите ли, я вам зачитаю одну записку?

Он порывлся в горке листов, уже выуженных из пакета, и, достав один, прочитал вслух:

– Довожу до вашего сведения, что поэт Куперман пишет неискренние стихи, в которых старается отчаянно выслужиться перед начальством, видимо, с целью как можно скорее быть отправленным домой. Тем самым он дискредитирует наше сообщество независимых и свободомыслящих творцов.

– Буревич? – мрачно спросил Куперман.

– Не подписано, но, думаю, да.

– Так и знал. Ну ничего... найду и на нее управу, – сказал Куперман и, сухо попрощавшись, вышел вон.

За ним зашел правозащитник Ледеяхин. Он поправил квадратные очки с толстыми линзами и откашлялся.

– Товарищ майор, к сожалению, ситуация выходит из-под контроля.

– Я заметил, – сухо ответил Кручинин.

– Я очень рад. Но это, видите ли, несколько длинный разговор.

– У меня есть время, – ответил Кручинин, – а у вас, как понимаю, тем более. За вами никто не занимал?

– Что? А-а. Нет.

– Ну, садитесь тогда. Или будете стоя говорить, как все предыдущие ходоки?

Ледяхин оглядел комнату, пододвинул ближайший стул и присел.

– Видите ли, – начал он, несмело положив ногу на ногу, – я, может, не совсем правильно понимаю задачу всего вот этого.

– Чего именно?

– Ну, Привольска вашего.

– Вашего.

– Нашего, – согласился Ледяхин, испугавшись, что майор начнет цепляться за слова и тогда они вообще не сдвинутся с места. – Я сейчас не говорю о правовых нормах. Они тут, как говорится, не ночевали. Мне просто интересно, чего, собственно, добивается КГБ.

Кручинин удивленно приподнял брови.

– Мне казалось, этот пункт мы уже давно проехали.

– Да-да, избавиться от диссидентствующих паразитов и так далее и тому подобное. Но вначале вы говорили о некоем исправительном пути. При этом вы создаете бесконтрольный город мастеров, так сказать, где каждый волен делать все, что ему в голову взбредет. Не все, не все, – поспешно поправил он самого себя, – но почти все. Где логика? И о каком исправлении может идти речь?

– Исправление может быть разным. Мы прекрасно понимаем, что художник, насилующий свою музу, не может создать ничего интересного. На этот счет пускай у других, которые дают Госпремии и создают закрытые спецраспределители для всяких творческих союзов, будут иллюзии. Мы же не дебилы. Понимаем, что государственная премия за роман толщиной в автомобильную покрывку совершенно не означает, что это

хороший роман. Чаще даже наоборот – это означает, что это стопроцентная макулатура.

– Я не понимаю, – растерялся Ледахин.

– А я поясню. Сюда мы собрали людей, которые в той или иной степени заявили о своем диссидентстве. Здесь нет людей, которые просто ставили подписи или оказывались втянутыми в какие-то самиздатовские кружки. Это все люди, довольно активно выступающие против советского... ну... пускай режима. Как вы понимаете, подобная борьба отнимает у них много сил и времени. Что же остается на творчество?

– Что? – автоматически спросил Ледахин, потерявший всякое понимание логики Кручинина.

– Вот и я спрашиваю, что? Не так уж и много. Пусть воспринимают это как благо, а не как зло. Что-то вроде дома творчества.

– Но... вы же могли бы их отпустить за границу.

– Повторяю. Нам не нужны лишние борцы с режимом за рубежом. Иначе бы мы давно вообще всех выперли к чертовой бабушке. Это бы создало неприятный дисбаланс. И так уже многих повыгоняли. Опять же, пострадал бы авторитет СССР в мире.

– А он есть? – хмыкнул Ледахин.

– Таким образом, – проигнорировал сарказм Кручинин, – по сути, мы предоставляем творческим людям возможность, не мешая ни себе, ни другим, работать и реализовывать свои творческие потребности без шума и суеты. Согласитесь, четыре часа на комбинате в день – это же просто необходимая любому творческому человеку физическая нагрузка. Кровообращение улучшается, кости разминаются. Да и нагрузка-то смешная. Фактически зарядка. Тем более что большинство уже работает в других сферах. Кто грузчиком, кто продавцом. А будет школа – будут и учителя. Правда, сначала

ла нужно, чтоб были дети. Это, впрочем, уже другой вопрос. За это все они получают деньги, равные восьми-часовому графику за пределами Привольска-218. Это даже не работа, а подработка. Не будем лукавить, многие из них точно так же подрабатывали, находясь в свободной зоне СССР, не имея возможности жить за счет творчества. Кроме того, вы, товарищ Ледеяхин, как знаток и поклонник Запада и в частности Америки, должны были бы знать, что в США редкий творец живет за счет искусства. Многие вынуждены искать приработок. Это нормаль-но. Звериный оскал капитализма, так сказать.

Ледеяхин растерялся. Логика у Кручинина была железной, но только куда он вел разговор, было непонятно.

– Иными словами, товарищ Ледеяхин, они, то есть вы, здесь для того, чтобы, не мешая ни себе, ни другим, заниматься своим прямым делом – творчеством. При чем, заметьте, свободным и бесцензурным.

– То есть вы хотите сказать, что КГБ вдруг занялось благотворительностью.

– Если под благотворительностью подразумевать «творение блага», да, безусловно.

– Но ведь вы не можете не понимать, что творческий человек, даже если посадить его в золотую клетку, творить не может.

– Для многих, здесь находящихся, СССР, если не ошибаюсь, был безусловной клеткой. При этом они что-то делали. Да, Привольск-218 – клетка потеснее, зато свобода творчества. Не об этом ли мечтает каждый художник?

– Да, но... в вакууме творить очень сложно!

– Информационной блокады нет. Слушайте радио, смотрите телевизоры. А то, что мы глушим западные «голоса», так мы их и по ту сторону забора глушим.

– Но художник не может творить в отрыве от своего народа!

– А в чем это, простите, выражается? Неужели вы меня хотите убедить, что Буревич до прибытия сюда ежедневно совершала променад на заводы и фабрики, ездила в колхозы и общалась с простым народом? Смею вас уверить, нет. А Миркин вообще сидел целыми днями дома, слушал западные «голоса» и писал какие-то протестные письма. О каком отрыве от народа вы вообще говорите?

Ледяхин почувствовал, что его аргументы стремительно тают.

– Но мы здесь как пауки в банке!

– Думаю, через полгода здесь будет порядка четырехсот людей. Со всей страны. Больше мы не наберем. Да и не надо. Это довольно солидная цифра. Занимайтесь творчеством! Читайте книги, ходите в кино, общайтесь на своих кухнях! А не выясняйте отношения, как будто вас сорок человек в отгороженной от мира коммунальной квартире. Вот вы, товарищ Ледяхин, по профессии журналист.

– Да, – неуверенно кивнул тот.

– А когда вы последний раз вообще писали что-то не «правозащитническое»? Ведь на каждом подписанном письме вы смело числитесь как искусствовед, журналист, а что искусствоведческого вы написали за последние полтора года?

– Вы прекрасно знаете, что борьба за человеческие права в этом людоедском государстве занимала у меня все время.

– А если бы не она, то?..

– То я бы... Ну хорошо, – почти сдался Ледяхин. – Пускай так. Пускай вы правы. Но есть еще кое-что. Невозможно писать в стол! Невозможно творить, если зна-

ешь, что твое слово не идет в народ! Что его никто не прочитает!

– Кто это вам сказал? – удивился Кручинин. – Во-первых, вы, я имею в виду не только вас, можете творить для себя и жителей Привольска. Публика, конечно, специфическая. Но, думаю, скоро появится и обычный народ, когда город окрепнет и потребуется серьезная инфраструктура.

– Ээки, что ли? – испугался Ледахин.

– А ээки не народ? А во-вторых, каждые полгода мы будем выбирать несколько лучших произведений, литературных или художественных, и, если это книга, например, будем выпускать умеренным тиражом и отправлять на Запад...

– А почему не в СССР?

– Вы слишком многого хотите. Да и кто здесь мог похвастаться выпуском крамолы через официальные издательства? Все передавали произведения на Запад и были уже счастливы. А тут весь Союз им подавай. К тому же, если особой антисоветчины там не будет, то почему бы нет? Небольшим тиражом выпустим и здесь. Опять же, кто здесь может похвастаться миллионными тиражами? Буревич или Куперман? Как в неволе быстро аппетиты растут. О чем я? Да. А если это картины, то будем посылать на выставки.

– А театр?

– А театр с удовольствием прокатим по провинции. Вы же так рветесь в народ. Так народ не в Москве живет. Покажутся по клубам деревенским и посмотрят, как народ их оценит. Но это уже совсем гипотетически. Потому что пока я особых театральных успехов не вижу. Да и откуда им тут взяться? Один Вешенцев, остальные-то любители.

Тут майор подумал, что насчет театра, гастролей и издания книг это он зря приврал (кто ему позволит?),

но, с другой стороны, сама идея была неплохой – можно будет покумекать.

– А вот с кино – это да, – продолжил Кручинин после паузы. – С кино туго. Но у нас тут и нет ярых диссидентов. Кинорежиссеры – слишком зависимые от коллектива и технической стороны дела люди. Это в театре может быть минимум декораций и пара актеров. А в кино... перекрыть кислород режиссеру легче легкого, крамола и так не пройдет. Художника или писателя отследить куда сложнее. Да и потом, киношники редко лезут напролом в политику. В общем, идите, товарищ Ледахин, работайте и не морочьте ни мне, ни себе, ни людям голову.

Ледахин для вежливости поерзал на стуле какое-то время, потом встал и направился к двери. На выходе Кручинин его неожиданно окликнул.

– Товарищ Ледахин!

– Да? – обернулся тот.

– Насчет «людоедского государства»... я бы хотел вам кое-что напомнить.

– Что же? – удивленно вскинул брови тот.

– Помните, как в семьдесят седьмом году вам доверили создать литературный журнал?

Ледахин прищурился и выдержал небольшую паузу.

– Ну допустим.

– И вы, конечно, помните, что собрали талантливых людей, журналистов, художников, которые бросили ради вас свои прежние места работы, некоторые бросили очень даже хлебные места. А через шесть месяцев вы, вместо того чтобы заниматься журналом, принялись давать какие-то интервью западным «голосам», подписывать письма, куда-то ходить, протестовать. Что мы вам тогда сказали?

– Сидите тихо, а то закроем журнал.

– Именно. А что вам говорили ваши коллеги, сотрудники?

Ледяхин сжал зубы и процедил:

– Примерно то же самое.

– Примерно, да не совсем, – усмехнулся майор. – Они говорили вам, что журнал и будет вашим рупором свободы. Что именно через него вы будете пытаться донести до простого советского человека творчество талантливых людей. Что этим журналом вы сделаете гораздо больше, чем своей непримиримой борьбой с властью. Но главное, они умоляли вас не становиться на путь диссидентства, когда они ради вас – многие, кстати, с семьями – рискнули войти в штат еще не существующего журнала. И как же вы с ними поступили?

– Не валите с больной головы на здоровую, – разозлился Ледяхин. – Вы прекрасно знаете, что поддаваться такому бандитскому шантажу со стороны государства – не всегда самый лучший выход. О понятиях типа честности, гордости, порядочности и прочее я молчу. Вашему пониманию они недоступны.

– Может быть. И все-таки вы не ответили на вопрос. Как вы поступили?

– Вы знаете как. Рассказал об этом шантаже журналисту с «Радио Свобода».

– И?

– Что «и»? Журнал закрыли.

– Точно, – кивнул майор. – Вы оставили без работы тридцать шесть человек.

– Я?! – изумился Ледяхин.

– Ну а кто? Я, что ли? Это у вас была трехкомнатная квартира в центре Москвы, это у вас первой женой была любимая и единственная дочка председателя горкома Герасименко, помогавшая вам даже после развода материально. Это у вас был стабильный заработок в ин-

ституте искусствознания. Нет, я понимаю, вы тоже рисковали, но тогда... тогда у разогнанных сотрудников журнала не было и половины того, что было у вас. Художник Макеев, ушедший из Детгиза ради вас, спился через полгода. Писатель Курякин, чей роман должен был быть опубликован в журнале, был вынужден передать роман за рубеж, в итоге эмигрировал...

– Иезуитская логика, – перебил Кручинина Ледеяхин. – Вы поставили всех их в условия запретов и всего этого советского рабства, а теперь обвиняете меня!

– Упаси бог! – всплеснул руками майор. – Это не я вас обвиняю. Это они вас обвиняют. Ведь ни один из разогнанных сотрудников не подал вам руки после закрытия журнала. Ведь так? Выходит, что никто из этих талантливых интеллигентных людей не захотел войти в ваше положение. Ай-яй-яй... Неужели ни у кого из них не было, как вы говорите, чести, гордости и порядочности?

На лице Ледеяхина выступили красные пятна. Он стиснул зубы и, не попрощавшись, вышел.

Майор некоторое время смотрел вслед ушедшему Ледеяхину, затем принялся лениво перебирать присланные записки. Все на что-то или кого-то жаловались. Причем далеко не все записки были анонимными. Скульптор Горский жаловался, что не может работать, так как под его квартирой, этажом ниже, постоянно собирается сомнительное общество, где до утра распевают песни опять же сомнительного содержания. Причем, не имея возможности работать, он вынужден (так и написал – вынужден) присоединяться к этим сомнительным компаниям и тоже распевать песни сомнительного содержания. Писатель Колокольников жаловался, что ему дали квартиру, как он выразился, на «несолнечной стороне», оттого у него всегда мрачное настроение

с утра, а в таком состоянии творить он никак не может. Поэт Лепин требовал, чтоб ему срочно привезли его любовницу или по крайней мере отселили от него же-ну-литературоведа, которая одним своим угрюмым видом вызывает у него суицидальные мысли. Все это было настолько удручающе однообразно, что Кручинин уже собрался затянуть пакет и отдать его лейтенанту для отчета, как одна из записок привлекла его внимание. Там не было ни жалоб, ни просьб, просто пять сухих строчек, что-то типа японского пятистишия танка, заканчивающегося, впрочем, довольно игриво:

Серость не хочет быть серостью –
Она создает мир серее себя,
Им она оправдывает свое существование.
Так и идет все по спирали.
А потом серость съест всех. Ам!

Внизу стояла подпись: *Яков Блюменцвейг.*

XIV

Тротуар конвейерной лентой струился под ногами. «Чушь какая-то», – думал Максим, уткнувшись глазами в летящий внизу асфальт. В голове царила полная каша. ВИТЧ, талант, свобода, Привольск, Блюменцвейг, Зонц, который к тому же еще и Изя.

Максим незаметно для себя сбавил шаг, пытаясь понять, а в чем, собственно, дело.

Обычно подобный разбор полетов был эффективен. Надо было задать самому себе четко сформулированный вопрос и постараться честно на него ответить. Желательно внятно. Во-первых, у Максима сложилось впечатление, что Блюменцвейг чего-то недоговаривает (хотя наговорил-то он кучу всего). Но что именно? Все метания Блюменцвейга после побега из привольского лагеря были вполне логичны. Человек совершил поступок, вырвался из когтистых лап власти («когтистые лапы власти» – это хорошо... надо бы запомнить), а затем принялся ворошить сонное царство, борясь против растущего изнутри ВИТЧа. Образно выражаясь. Смешное все-таки словцо. Но с неприятной фонетической ассоциацией. Уходя от Блюменцвейга, Максим мотнул го-

ловой в сторону таблички и спросил: «Как народ? Не пугается? ВИТЧ – ВИЧ... Может, тут больной живет?» На что Блюменцвейг со свойственной ему прямоотой сказал: «Срал я на народ. А если и пугается, то и слава богу. Народ надо время от времени попугивать. Легкий страх провоцирует рост самосознания. А то уже утонули все в общей благоственности».

Вообще-то Блюменцвейг слегка двинулся. Это факт. Впрочем, он и в институте был не без странностей, а лагерь, видать, только усугубил. И все-таки странно, почему он не хочет говорить о своем побеге? Да и вообще о лагере. Ну, допустим, больная тема. Психологическая травма. А может, он давал подписку о неразглашении? Все-таки закрытый город. Какое-то хিমпроизводство. А может, что-то скрывает? А может, не было никакого побега? Или был, но с помощью КГБ? Продался КГБ в обмен на свободу, а теперь совесть мучает? И все вещает про интеллигенцию, которая первой растит в себе ВИТЧ. И еще сказал, что самые страшные люди – это те, которые пользуются серой нормой для достижения своих личных целей. Спонсоры серости. Гм-м-м... О ком это? И вообще есть тут какая-то связь с Привольском. Но какая? Опять же непонятно, почему Блюменцвейг отговаривал Максима братья за книгу. Да еще сказал, что такая книга будет написана. Кем? Когда? Ерунда какая-то. Нет, пока в Привольск не съездишь, не поймешь. А едут они... завтра, что ли? Да, точно. Вчера как раз Зонц звонил. Вот Зонц тоже. Что за тип такой? Самоуверенный, неглупый, прет, как танк. Того и гляди задавит. И улыбается без перерыва, как американец. Говорит, что Блюменцвейг его не интересуется, а столько информации про него вывалил. Повез Максима в какой-то дорожный ресторан. За обедом много говорил. Что говорил – Максим не мог вспом-

нить, хоть убей, хотя с тех пор прошло всего-то три дня. Какие-то байки, анекдоты... Не стесняйтесь, Максим, я же пригласил – я и плачу. Шуба, блин, с барского плеча. Борец за культуру. Предлагал даже выпить за большое дело. Правда, когда Максим отказался, сославшись на сердце и возможный летальный исход, настаивать не стал. И на том спасибо.

Максим с раздражением подумал, что уткнулся в Зонца, как будто только в нем было дело. «Да гори оно все синим пламенем! – мысленно воскликнул он, ускоряя шаг. – Платят деньги – и хорошо. Криминала ж нет. Даже наоборот: и помощь Зонцу, и книга – все работает на культуру. То, чем я всегда жил. То, ради чего я... А что я? От жены ушел? Ну это-то тут при чем? Жизнь просрал? Да тоже... пока еще не очень».

Неожиданно Максим вспомнил, как в ресторане Зонц показал ему желтые листки со списками привольчан. Там были и Куперман, и Файзуллин, и скульптор Горский, которого Максим шапочно, но знал. Блеклый текст на страницах был явно набран на пишущей машинке, причем машинке с дефектом – буква «р» плохо пропечатывалась и была похожа на «г», отчего весь текст отдавал то ли еврейским акцентом, то ли какой-то простуженной гнусавостью. «Сведения, котогие изложены ниже, являются секгетными и не подлежат гаспгостганению». Далее шел внушительный список имен с указаниями паспортных данных и рода деятельности. Девяносто процентов людей в списке были литераторами: журналистами, писателями, поэтами, переводчиками и прочими, но попадались и художники. Внизу стояло еще одно имя – правда, написанное от руки (видимо, во избежание еврейского акцента машинки) и явно административного характера: майор КГБ В. Кручинин.

– Кто это? – спросил Максим у Зонца.
 – Не знаю, – пожал тот плечами.
 – Ну, так надо его найти и тоже расспросить.
 – Какой же с мертвых спрос? – усмехнулся Зонц. –
 В 1986 году майор умер «при невыясненных обстоя-
 тельствах».

Максим растерянно замолчал.

– Но ничего, – ободрил его Зонц. – Выясним на ме-
 сте.

Потом он дал Максиму координаты Блюменцвейга и сказал, что позвонит Максиму через недельку, так что готовность номер один, Привольск нас ждет.

И тут Максим неожиданно вспомнил еще кое-что, что смутило его в Зонце. Причем смутило совершенно интуитивно, то есть без всякого логического обоснова-
 ния. Весь рассказ Зонца о похождениях Блюменцвейга после восемьдесят шестого года был пронизан каким-
 то невольным восхищением деловитостью Якова. Почему-то Максима это слегка покорило. А почему?

Максим заметил, что давно подошел к метро, но за-
 стыл у входа, словно боясь, что, зайдя в метро, потеря-
 ет ариаднову нить рассуждений. Хотя нить и без того
 была давно потеряна – ее обрывки валялись в темных
 коридорах лабиринта и никуда не вели.

Максим нашарил в кармане проездной и шагнул
 в подземку.

Придя домой, он первым делом сел за книгу. К черту
 сценарии, к черту электронные переписки со всякими
 идиотами, к черту редакторов всех журналов и газет
 мира. Книга и ничего, кроме книги. В свете новых
 фактов простоватый мемуарный жанр постепенно
 приобретал почти детективные черты. Историю, по-
 жалуй, можно было бы даже написать от первого лица,
 как расследование. Главным героем в таком случае,

правда, становится сам Максим, но это тоже неплохо. Проницательный, скрупулезный, без страха и упрека бросающийся на белые пятна истории с копьем наперевес. Ха! Он покажет этому новому поколению пепси, на что шли люди искусства ради будущего страны (как выясняется, довольно серого будущего). Какие ценности отвоевывали для этих менеджеров среднего звена и любителей сникерсов, галимой попсы и женских декоративов.

Максим закурил, стер написанную ранее строчку про «замороженные мечтания и приглушенные кухонные разговоры» и стал прикидывать начало. Затем решительно застучал пальцами по клавиатуре:

«Эта история началась в 1979 году. Самолет, следовавший рейсом Москва–Мюнхен, поднялся с взлетной полосы аэропорта Шереметьево и растворился в хмуrom московском небе. Больше его никто никогда не видел».

Тут Максим оторвал пальцы от клавиатуры и задумался. Во-первых, в тот летний день небо не было хмурым, а наоборот, очень даже голубым и ясным, но это ладно – немного художественной выдумки не помешает. А вот фраза, что самолет никто больше никогда не видел, – это как-то сильно. Пассажиры-то видели. Да и потом самолет-то не исчез, а, выпустив диссидентов в Привольске, отправился, наверное, на свою секретную базу или куда там еще. Невнятно как-то.

Максим хотел переписать предложение, но вместо этого почему-то уставился в окно.

Мысли его снова вернулись к Зонцу. Он подумал, что тому очень подходит его фамилия – Зонц. При любом падежном склонении она звучала как «солнце» – иду к Зонцу, иду от Зонца, пою о Зонце, лечу над Зонцем. И вправду: Зонц был чем-то похож на главную звезду

нашей космической системы. На той тоже ежесекундно происходят сотни тысяч взрывов, превращающих водород в гелий, но только обычному глазу они не видны. Под головной корой Зонца тоже шел бесконечный напряженный мыслительный процесс, что-то все время взрывалось, вспыхивало и гасло, но при этом сам Зонц был максимально сдержан, обаятелен и лучист. А забраться внутрь его черепной коробки Максиму очень хотелось.

Максим оторвался от окна и вернулся к тексту, заменив концовку абзаца.

«Эта история началась в 1979 году. Самолет, следовавший рейсом Москва–Мюнхен, поднялся с взлетной полосы аэропорта Шереметьево и растворился в хмуrom московском небе. В Мюнхен этот самолет так и не прилетел».

Этот вариант ему понравился. Но едва он собрался писать дальше, как понял, что начало вышло хоть и детективно-увлекательное, но идиотское. Почему же «история началась в 79-м», если он собирался писать не о Привольске, а о «Глаголе»? Скорее уж закончилась. Но начинать книгу с фразы «эта история закончилась в 1979 году» было бы еще бóльшим идиотством.

Максим раздраженно стер первый абзац и задумался. Дело стало принимать затяжной оборот. Из наступившей тишины вдруг выступило тикание настенных часов. Затем у соседей заиграло «Радио Шансон». Тогда Максим вспомнил Блюменцвейга и, подумав, что легкий плагиат не помешает, решил начать так:

«Один мой приятель утверждает, что мы живем в век ВИТЧа. Несмотря на напрашивающуюся фонетическую ассоциацию, это не опечатка. Просто так мой приятель называет серость. Серость, которая захватила все сферы нашей жизни. Вирус иммунодефи-

цита талантливого человека. Или творческого. Тут он еще не определился. Так что если это и болезнь, то не смертельная. По крайней мере для отдельного человека. А вот для общества в целом – очень может быть. Еще он утверждает, что талантливый творец, зараженный ВИГЧ, опасен тем, что создает вокруг себя еще более серый и пустой мир. Чтобы было соответствие реальности и его представления о реальности. Тогда ведь и искусство отражает “жизнь”. Иными словами, он создает серую жизнь по своему образу и подобию, чтобы никто не обвинил его в том, что он “не знает жизни”, что его искусство – штампы, что он “лишний в этой реальности”, что он “не живет реальной жизнью”. Удобная позиция. Имеющая один недостаток. Чем серее жизнь, тем серее ты. Чем серее ты, тем серее жизнь. Ты кушаешь эту серую жизнь. Она ест тебя изнутри. Взаимное пожирание. И одному Богу известно, к чему это придет. Мой же рассказ о другом времени и о других людях. Тех, которые не убежали от реального мира в мир своего серого воображения. Они противопоставляли себя системе. Они боролись. Они творили».

Дальше пальцы забарабанили по клавиатуре, словно начали жить отдельной от Максима жизнью. Все постоянные звуки испуганно растворились.

Очнулся Максим, когда на часах уже было четыре ночи. Стал перечитывать написанное. Не без удовольствия. Правда, пришлось сделать скидку на позднее время – ночью что ни напиши, все кажется гениальным. Единственное, что смущало, – это некоторый пафос, что разъедал повествование изнутри, лишая реальные события правдоподобия. Например, рассказывая о первой встрече глагольцев, Максим опустил эпизод с поэтом Кукориным, который, напившись, влез в дис-

куссию о силлабо-тоническом стихосложении Пушкина и стал кричать, что класть он хотел на Пушкина. Обидевшись, что его никто не слушает, он, шатаясь, ушел куда-то, а через пять минут вернулся с томиком Пушкина, который швырнул на стол, а затем растерял ширинку и достав, под смущенный визг дам свой детородный орган, действительно и буквально положил его на Пушкина.

В глазах Максима этот эпизод как-то не очень вязался с общим пафосом книги о мужественном противостоянии семидесятников и власти. Впрочем, всегда можно было что-то потом подправить.

Удовлетворенный проделанной работой, Максим завалился спать.

С утра перечитал, что написал накануне. Текст показался глупым и напыщенным. Сел исправлять. В течение дня несколько раз ему звонили по поводу сценариев, но Максим раздраженно отмахивался, ссылаясь на большую загруженность. Особенно настырен был один молодой сценарист, который требовал дать оценку его сочинению.

– Два балла, – не выдержав, сказал Максим, когда тот позвонил в третий раз и зло добавил: – По десятибалльной.

– А почему? – растерялся сценарист.

– Вам сказать почему?! – вспыхнул Максим.

– Да, – уже несколько нагло заявил автор.

Максим, чертыхаясь, раскопал в стопке распечатанных текстов нужный сценарий, но, поскольку совершенно не помнил сюжет, стал яростно тыкать несчастного сценариста в грамматические ляпы, скрупулезно подчеркнутые красным фломастером.

– «Прилив радости и смеха на лице Андрея» – это что за ремарка? На каком вообще языке? А потом что бу-

дет? Отлив плача и горя? А вот еще перл. «По окончании курортного сезона туристы депортируются в Россию». За что же им такое наказание? А вот еще. «Во дворе гуляют два петуха другого рода». Это что за род такой? Женский?!

Отчитав сценариста, Максим посоветовал тому выучить сначала русский язык, а потом уже садиться писать. Больше бедалага не звонил.

Разобравшись с надоедливými «кредиторами», как он называл сценаристов и продюсеров, Максим целиком сосредоточился на работе и за пять дней умудрился написать почти шестьдесят страниц.

В конце недели объявился Зонц.

Звонок застал Максима не то чтобы врасплох, но, увлекшись работой, он слегка подзабыл о существовании Зонца. Впрочем, без воспоминаний глагольцев было все равно не обойтись.

– В общем, едем в Привольск, Максим Леонидович, – сказал Зонц как всегда неестественно бодрым голосом.

– Когда?

– Завтра с утра. Я заеду за вами в десять. Дорога не то чтобы дальняя, но слегка путаная, и возможны пробки. Так что запаситесь терпением.

После разговора настроение писать почему-то пропало, но Максим силком заставил себя продолжить и, как ни странно, постепенно набрал потерянный темп. Так до вечера и стучал.

Ночью ему приснился все тот же сон. Кожаный диван и плазменная панель телевизора. Женщина с глянцевым журналом и девочка с комиксами. Пес, уткнувшийся носом в миску с фирменным кормом, и дорогой ворсистый ковер, на который Максим стряхивает пепел сигареты. И снова все то же пластмассовое ощущение полной безжизненности происходящего. Затем,

как обычно, в сон вклинился вой то ли сирены, то ли сигнализации, который плавно перешел в звонок электронного будильника.

Максим разлепил веки. В окно било солнце. Он приподнял голову и посмотрел на часы. Половина десятого. Надо вставать.

Нечеловеческим усилием воли Максим скинул на пол ноги и тряхнул тяжелой сонной головой. Затем побрел в душ.

Позавтракав на скорую руку – чай, бутерброд, – оделся и спустился вниз. Там его уже ждал пунктуальный до тошноты Зонц.

– Не выспались?

– Нет, – плюнув на политес, честно ответил Максим.

– Ничего, – рассмеялся Зонц. – В дороге выспитесь.

После чего услужливо открыл дверцу своей машины.

– Как книга?

– Спасибо, движется.

– Ну, значит, и нам пора.

Никакой связи между книгой и их путешествием Максим не увидел, но у Зонца вообще все вытекало одно из другого, словно повинуюсь какому-то всемирному закону сообщающихся сосудов.

Ехали на сей раз на служебном джипе Зонца. Максим уже давно запутался, какие машины у Зонца личные, а какие служебные. Видимо, и теми и теми он пользовался попеременно и тогда, когда хотел. Более того, Максим до сих пор не понимал, где живет Зонц. Квартира, где проходила первая встреча, была явно пока нежилой – там даже мебели не было. Значит, как и говорил сам Зонц, за городом. Но даже примерных координат своей загородной резиденции Зонц ни разу не выдал. Была ли у него семья, родители, жена, дети, домашние животные – все это тоже оставалось загадкой.

Зонц не говорил на личные темы. Вообще чем дальше, тем острее Максим ощущал двойкость своего мнения о Зонце. С одной стороны, ему импонировали уверенность и красноречие последнего – ни тем ни другим сам Максим не обладал и отчаянно завидовал таким, как Зонц. Но с другой стороны, ему почему-то все чаще вспоминался один эпизод из школьного детства.

Надо сказать, что с одноклассниками у Максима отношения складывались не самые теплые. Школа находилась в рабочем районе, так что большинство учеников были самого что ни на есть пролетарского происхождения. На таком фоне Максим с отцом-филологом и мамой-переводчицей сильно проигрывал. Главным заводилой и авторитетом в классе был хулиган Васька Щербина по кличке Щербатый, который Максима не обижал, но относился презрительно. Однажды во время большой перемены в присутствии нескольких мальчишек, которые вечной свитой таскались за Щербатым, Васька похвастался, что он уже водил отцовский самосвал. Все, конечно, тут же стали умолять дать и им посидеть за рулем.

– Дам, дам, – ответил Щербатый снисходительно, – кроме Макса.

– Чего это? – обиделся Максим, хотя самосвал его совершенно не интересовал.

– А ты же интеллигент, – сплюнув сквозь передние резцы, сказал Васька. – Мы будем самосвал водить, а ты книжки читай.

И, воодушевленный смехом своих подпевал и прилипал, добавил:

– Вот вырастешь ты и будешь идти по дороге с палочкой и в очках. А я на самосвале тебе навстречу. Бу-у-у-у, – загудел Васька, крутя воображаемый руль воображаемого самосвала.

Максим задумался. С одной стороны, превосходство транспортного передвижения над пешеходным было очевидным. Тут Щербатый будет во всех смыслах смотреть на Максима сверху вниз. С другой – Васька исходил из ложной предпосылки, что самосвал у него уже есть (на самом деле самосвал был у его отца, да и то не личный), а у Максима никогда не будет машины. Еще Максима в рассказе Васьки немного смущали очки (у самого Максима-то было прекрасное зрение), но он знал, что в народном сознании всякий интеллигент близорук. Правда, то, что всякий интеллигент еще и инвалид, который почему-то должен брести по дороге пешком с палочкой, Максима озадачило. Однако и это легко объяснялось – в конце концов, ученые люди много читают, за здоровьем не следят, на свежем воздухе не работают, физический труд не уважают. Тут любой инвалидом станет.

– Р-р-р-р-р, – рычал Васька, давя на воображаемую педаль газа.

– И что? – перебил его Максим, косвенно признав возможность столь печального развития событий.

– Что «и что»? – удивился Васька, забыв про руль.

– Ну, я иду, а ты навстречу на самосвале. И что?

– Ну, я тебя и перееду, – пояснил Васька, видимо, искренне считая, что это единственный разумный выход из сложившейся дорожно-транспортной ситуации.

– Ну и дурак, – сказал Максим, подумав про себя, что нет смысла тратить время на болтовню с идиотом.

Щербатый побагровел от злости и даже хотел сначала врезать Максиму в ухо, но потом передумал. Наверное, решил, что рано или поздно все равно задавит Максима – чего раньше времени силы тратить?

Нет, Зонц вовсе не был похож на слегка приبلатненного Ваську, но, как ни странно, в его компании Мак-

сим тоже чувствовал себя каким-то хлипким интеллигентом, которого на самосвале переехать – что раз плюнуть. Почему – сам не знал. Зонц был вежлив и обаятелен, но как-то... дико неискренен, что ли. И во все его разговоры об интеллигенции, таланте, государственных интересах Максим почему-то не верил. Да, Зонц был вполне интеллигентен, но каким-то шестым чувством Максим понимал, что заботят того вещи гораздо более прозаические и приземленные. Только не мог понять, какие именно. И каждый раз, когда Зонц улыбался своей всепокоряющей улыбкой, Максим начинал ощущать себя тем самым старичком с палочкой, которого собирается переехать самосвал. Скорее всего дело было в том, что Зонц был из «хозяев жизни», Максим же был из вечных рабов. Еще на их самой первой встрече в ресторане Максим почувствовал что-то неладное. Дело было в том, что Максим совершенно не разбирался в людях. Он всегда одалживал деньги не тем, кому надо, то есть тем, кто потом не возвращал, а отказывал, наоборот, тем, кто как раз был обязателен. Он доверял женщинам, которые его впоследствии обманывали, а «закрывался» с теми, кто его как раз-таки и не предал бы. За помощью всегда обращался к тем, кто его посылал куда подальше, а осторожничал с теми, которые ему почему-то не нравились, хотя именно они-то и были готовы ему помочь. Но «опыт – сын ошибок трудных». И постепенно он научился управлять этой своей неразборчивостью. Он понял, что ошибается в людях с точностью до наоборот, и потому при новых встречах включал мозг, но отключал интуицию, которая, увы, его столько раз подводила. Встретившись с Зонцем, он сразу понял, что интуицию надо отрубать, и чем быстрее, тем лучше, ибо Зонц ему понравился немедленно и безоговорочно. Максим отча-

янно дергал рубильник, отвечающий за интуицию, но тот как будто заело. Зонц продолжал ему нравиться. Однако мало-помалу интеллект стал оттеснять эмоции на задний план, и Максим облегченно вздохнул. Теперь он уже мог оценивать слова и поведение Зонца более или менее критично. Тот, кажется, это почувствовал и слегка занервничал – ему явно хотелось быть своим на все сто. Неслучайно в его интонациях так часто стали звучать доверительные нотки, хотя он явно обладал такими полномочиями, что мог бы подавить любого силой. Но силу Зонц не уважал. Он был красив, обаятелен и хитер. Ему хотелось любовного подчинения. В молодости он считал высшим пилотажем снять красивую проститутку, но снять так, чтобы в итоге она не только не взяла с него никаких денег, а была бы еще благодарна и довольна. Удавалось это не всегда, но когда удавалось, Зонц ощущал невероятный душевный подъем. Похоже, окружающую его действительность Зонц воспринимал именно как такую красивую проститутку. Снять, трахнуть и услышать в конце «большое спасибо».

Столь интимных фактов из жизни Зонца Максим знать не мог, но подспудно ощущал эту красоту игры, которая явно импонировала Зонцу.

Рассматривая пролетающий за окном летний пейзаж, Максим почувствовал, что к нему возвращается дремота, и он уже собрался отдаться ей, как к нему вернулся Зонц.

– Ну что? Сходили к Блюменцвейгу?

Максим вяло кивнул и в трех словах описал свой разговор с бывшим однокурсником.

Как ни странно, на сей раз Зонц был не столь категоричен, как в первый. Более того, он слово за слово вытянул из Максима все подробности встречи.

– Глупость, конечно, этот его ВИТЧ, – резюмировал Зонц в конце, – однако кое-что ваш чокнутый Блюменцвейг уловил довольно точно.

Тут он почесал подбородок и хитро улыбнулся. Потом стер улыбку. У него была потрясающая способность резко менять выражение лица, и вообще в своих реакциях он был довольно непредсказуем. Вроде таракана, который, как известно, может за одну секунду двадцать пять раз менять направление движения.

– Это что же? – спросил Максим.

– А я поясню. Пришедшая норма, как сказал Блюменцвейг, диктует свои ценности. Довольно убогие, откровенно говоря. Да, пока все сыты, и обуты, и веселы, и водка дешевая, и туры в Египет есть, и по телевизору прыгает гламурная молодежь, все прекрасно. Но постепенно это становится обычным джентльменским набором. А представьте первые трудности. Вот кризис ударил. Пока ничего, более или менее держимся. А представь, что он действительно затянется на десятилетия. И вдруг вся эта масса, все это серое вещество, образно выражаясь, понимает, что эти ценности, которые были универсальным абсолютом, уже не так доступны, как раньше. И надо вытаскивать себя из болота за собственные волосы, потому что больше ничего другого нет. Вы себе представляете недовольство медведя, которому сначала объяснили, что мед – главное в этой жизни, а потом этот мед забрали? Вот в чем вся штука. Это только кажется, что государству нужна великая масса. Ими, дескать, легко управлять. Но масса не бывает просто так послушной. Есть два варианта: страх и доступные, подчеркиваю, доступные навязанные ценности. Причем чаще всего в одном флаконе. Скажем, тоталитаризм – это страх плюс навязанная сверху норма.

– Есть еще вера, – заметил Максим, слегка подавленный неожиданным красноречием Зонца.

– Да, вера в государство. Как, например, на Западе. Но у нас ее нет. И никогда не было. Только опять же, если под страхом. Как нас крестили силой, так и верим.

– Я вообще-то про бога, – робко заметил Максим.

– А это вообще ерунда. Реально верующих у нас в стране единицы. Церковь отделена от государства. К тому же сколько у нас конфессий? Это даже не обсуждается. Иными словами, государство должно обеспечивать отходные пути. А таковыми могут быть только духовные ценности. Отдушина. Некое остранение. А откуда им взяться? И тут мы возвращаемся к ВИТЧу. Когда безликой становится интеллигенция, за ней таким же становится и остальной народ. Интеллигенция – это дрожжи. Должно быть какое-то брожение.

«Ты, однако, еще и философ», – подумал Максим, но вопрос о ВИТЧе его зацепил за живое.

– Знаете... может, вы и правы. Но посмотрите на меня. Я писатель. Закончил литинститут. Подавал надежды. Моя повесть «Чтобы все по-честному» была обласкана критикой и коллегами. Разговоры о новом молодом писателе и так далее. Потом были менее удачные вещи, но неплохие. Была, конечно, и откровенная халтура. Кроме того, смею заметить, я занимался искусствоведением. Возможно, это даже в большей степени мое призвание, чем литература. Но чем я занимаюсь сейчас? Пишу? Нет. Сижу, правлю чужие бездарные сценарии, кропаю статейки в разные журналы. Причем никому не нужны мои знания, а ведь я уверен, что в стране наберется не более полутора десятков людей, которые с таким же рвением отсматривают новое кино, читают новую литературу и так далее. Так чем вам не ВИТЧ?

Зонц покачал головой.

– Это не ВИТЧ. Скажите, вы довольны своей жизнью?

– Скорее нет, – хмыкнул Максим.

– Вы считаете свое нынешнее положение соответствующим вашим, ну, пусть не талантам, но хотя бы знаниям?

– Нет.

– Вот то-то и оно, – заключил Зонц. – А люди с ВИТЧ, по мнению Блюменцвейга, – это люди, которые больше не рефлексируют. Они вполне довольны тем, что изменили сами себе. Слышал такой термин «творческое самоубийство»? Так вот это счастливые творческие самоубийцы. Живые трупы. Мертвые души. Которых скушала реальность. Был такой английский поэт Хаусман, не слышали?

– Очень даже слышал, – обиделся Максим на подозрение в невежестве, хотя что именно этот поэт написал, не помнил.

– Ну вот у него был такой стишок. В вольном переводе с английского звучит примерно так:

Медведь огромный – вот нахал!
 Ребенка не моргнув сожрал.
 Тому ж, похоже, все равно,
 Что он едою стал давно.*

На последних словах Зонц неожиданно захохотал, но оборвал свой смех так же резко. Нет, у него явно была какая-то кнопка.

* Стихотворение Альфреда Хаусмана "Infant Innocence":
 The Grizzly Bear is huge and wild; / He has devoured the infant child. / The infant child is not aware / It has been eaten by a bear (Перевод автора.).

– Иными словами, все это – мертвые души. Которые творят для мертвых душ. Вам, кстати, нравятся «Мертвые души»?

– Гоголя? – растерялся Максим.

– Нет, Гегеля, блин! Ну Гоголя, конечно.

– В общем да, – пожал плечами Максим.

– А знаете, что единственной живой душой на весь роман является Чичиков? Все остальные – мертвы либо в прямом смысле, либо в переносном. А почему? Потому что они мыслят узко, не глобально. Даже самые деловитые из них смешны. Они не готовы ничем поступиться ради высоких интересов. И только один Чичиков готов голодать, мерзнуть, врать, изворачиваться, колесить по России.

– Но это ж ради собственной наживы.

– Может быть. Но главное – это сделать большое дело.

– Хорошее дело – государство обманывать и мертвыми торговать.

– Ну, во-первых, мертвыми торгуют и все остальные, если помните. Только он покупает, а они продают. Во-вторых, у нас невозможно государство не обманывать, потому что иначе оно тебя самого обманет. А в-третьих, он – сам себе государство. Полагаю, он вообще единственный свободный человек в этом романе.

– Поэме.

– Неважно.

– Я немного запутался... И потом, вы... слегка передергиваете идею Блюменцвейга.

Зонц отвлекся от дороги и с интересом посмотрел на Максима.

– Вот как? В чем же?

– Блюменцвейг не имел в виду, что всякий талант есть благо для серого общества. Талант, который выде-

ляется из этого общества ради собственной выгоды за счет еще большего оболванивания общества, страшнее самого серого носителя ВИТЧ.

– Да? – задумчиво переспросил Зонц.

– Да, – твердо сказал Максим. – И Чичиков здесь не лучший пример свободного творческого человека.

– Ну что ж... Может, вы и правы. Хотя, по-моему, сам Блюменцвейг этим тоже грешил. Когда создавал свои театры дегенератов, общества вкладчиков и всякие дикие объединения.

Максим снова почувствовал в интонации Зонца какое-то внутреннее восхищение и даже теплоту по отношению к Блюменцвейгу. Словно он говорил о духовном брате.

– Может быть, но совершенно очевидно, что все эти партии были ему глубоко до лампочки. Ощущение, что он как будто с кем-то боролся.

Зонц достал сигарету и нажал кнопку прикуривателя.

– А он действительно боролся. Сам с собой. И с фоном. Заметь, все его начинания идут вразрез со временем, а их распад происходит именно тогда, когда они начинают сливаться с этим фоном.

– Да, – задумчиво согласился Максим. – Боролся. Или оттягивал.

– Что?

– Не знаю. Он похож на человека, который, потеряв любовь, бросается во все тяжкие. Это какой-то бесконечный вызов себе и реальности.

– Может быть...

Зонц прикурил и, выпустив тонкую струю дыма, добавил:

– Только не надо забывать, что мы сейчас обсуждаем человека, который, полагаю, не совсем психически здоров. Посему... немного критичности не помешает.

Тут Зонц неожиданно рассмеялся. На сей раз смех его почему-то показался Максиму особенно неприятным и фальшивым.

– Впрочем, – сказал Зонц после паузы, – бог с ним, с Блюменцвейгом. У нас другие задачи.

XV

В городе С., что располагался рядом с Привольском, они сделали небольшую остановку и пообедали в ресторане небольшой, но по-московски дорогой гостиницы. За все платил Зонц, что добавляло нервозности в состояние Максима, который ужасно не любил быть кому-то что-то должен.

Попутно они осторожно интересовались у местных жителей насчет Привольска. Сам Зонц в этих краях ни разу не был и потому слегка путался, несмотря на довольно подробную карту, где никакого Привольска не было, только точка, поставленная чьим-то жирным фломастером. Единственное, что смущало Максима, – это то, что их визит был как будто инкогнито. Было не совсем понятно, почему Зонц не может обратиться (со своими-то полномочиями) напрямую к местным властям – те-то наверняка знали, где, что и почем. И вообще их должны были встретить какие-то чиновники или как там принято у власть предержащих. Вместо этого советник президента по культуре спрашивал у местных жителей, где тут Привольск, словно был простым заблудившимся туристом. Впрочем, возможно, Зонц не

хотел подымать волну. Вел свою игру и не хотел впутывать в нее лишних людей. Он был элегантен и бесшумен, как пантера.

После получаса блужданий по бездорожью (благо было лето) им попался какой-то подвыпивший дед с авоськой в руке, который прошамкал беззубым ртом, что, мол, была какая-то военная часть на окраине города, а может, и сейчас есть – только там ворота железные и стены с колючей проволокой. На вопрос, где именно эта часть, он только махнул рукой куда-то в сторону неба. Никакого более определенного направления добиться от него так и не удалось. Однако, проплутав еще час, они наконец увидели нечто, отдаленно подходящее под вышеуказанное описание – высокие стены, колючая проволока, железные ворота. Оказывается, все было гораздо ближе, чем они думали. Этот военный объект был почти частью города С., точнее сказать, одна из улиц города фактически упиралась в его железные ворота. Другое дело, что дома в этой части города были заброшены и полуразрушены, асфальт давно растрескался и превратился в пыль, а по краям дороги все заросло лопухами и крапивой. Очевидно, город, если и расширился, то явно в каком-то другом направлении. Зонц остановил джип за сотню метров до ворот и выключил мотор.

– Ну что, Максим Леонидович, – улыбнулся он, – пойдемте проведем сектантов?

– Если они там есть, – мрачно ответил Максим, отстегивая ремень безопасности.

– Есть, есть. Куда они денутся... Значит, так. Сначала я проверю их на прочность, а потом подключитесь вы. Обязательно упомяните Блюменцвейга.

– А почему вам самому его не упомянуть? – спросил Максим.

– Потому что святое имя Блюменцвейга из моих уст – это кощунство.

Максим хотел спросить, что же такого святого в имени Блюменцвейга и при чем тут кощунство, но Зонц поспешно добавил:

– Я же уже сказал, что для них я всего лишь чиновник. Сегодня одно пообещал, завтра другое сделал. А вы для них свой. Назовете Блюменцвейга, потом представитесь, и тип-топ. И помните, главное – добраться до Купермана. Он же вас знает?

– Знает, – пожал плечами Максим.

– Ну вот. А он у них за главного. В общем, «Вперед!» и, как прибавлял наш замполит Кубиков, «навстречу солнцу и неведомой хуйне!».

«Вот уж точнее не скажешь», – подумал Максим.

Они вышли из джипа. Вокруг стояла липкая тишина, нарушаемая только скрипом песка и хрустом гравия под их ногами.

– Пока признаков жизни не наблюдается, – заметил Зонц и, полностью опровергая это утверждение, передернул затвор непонятно откуда взявшегося пистолета.

Максим испуганно покосился на оружие.

– А это-то зачем?

– Не скажите, Максим Леонидович, у них тут строго. Моего помощника в прошлый раз чуть не кокнули.

Максим в первый раз усомнился в безопасности мероприятия. Впрочем, книжку-то все равно надо писать. Или как?

– Вместе весело шагать по просторам... – неожиданно и с какой-то скрытой угрозой запел Зонц. Видимо, от внутреннего напряжения.

Первое, на что они оба обратили внимание, – витиеватая надпись над воротами, вылитая из чугуна или стали, что-то вроде знаменитого “Arbeit macht frei”

в немецких концлагерях. Только здесь было написано другое, а именно: “Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate”.

– Это еще что? – удивленно спросил Зонц.

– Это из Данте. «Входящие, оставьте упования». Ну или «Оставь надежду всяк сюда входящий». Кому какой перевод больше нравится.

– Ну-ну, – хмыкнул Зонц.

Максим тем временем стал рассматривать внешнюю стену лагеря. Блочный, шербатый от времени бетон, колючая проволока, кое-где явно пустующие вышки. Вполне себе лагерь. Лая собак только не хватает и однокорейки.

– Мрачновато, – заметил Максим, внутренне поежившись, – неудивительно, что Блюменцвейг не хочет сюда возвращаться.

– Это точно, – неопределенно согласился Зонц.

Подойдя к воротам, он несколько раз ударил кулаком по железу и крикнул:

– Алло, есть кто дома?

В ту же секунду где-то что-то щелкнуло, и желтый прожектор ослепил Зонца и Максима.

– Здесь закрытая часть ФСБ! – гаркнул чей-то хриплый голос откуда-то сверху.

– А мы как раз из ФСБ! – прикрывая от слепящего света ладонью лицо, крикнул Зонц.

На этот раз не последовало никакой реплики.

– Зачем вы про ФСБ-то? – удивленно спросил Максим.

– А вы считаете, что надо было сказать, что мы из минкульта?

Максим пожал плечами.

Зонц пнул ботинком ворота и снова заорал:

– Алло! Кто у вас тут главный? Пусть выйдет!

– Здесь закрытая часть ФСБ! – ответил тот же голос сверху.

– Блядь! – разозлился Зонц и тихо добавил. – У нас две новости. Хорошая и плохая. Хорошая: на Марсе есть жизнь. Плохая: марсиане – мудаки. Эй! – завопил он. – Смени пластинку! Пусть выйдет главный!

– У нас нет главных, – ответили сверху.

– Ты б вырубил свой прожектор перестройки, а?! – закричал Зонц. – Не видно ж ни хрена.

Эта просьба была проигнорирована.

Зонц снова пнул ногой по двери.

– Здесь закрытая часть ФСБ! – раздался все тот же голос.

– Я сплю, или он реально одно и то же говорит? – удивленно спросил Зонц у Максима. – Ну что? Переходим к плану «Б».

– Хорошо, – помявшись, сказал Максим.

Он сунул два пальца в рот и коротко, но громко свистнул.

– Фуи! Куперман у вас?!

Зонц с уважением посмотрел на Максима – он и сам в детстве пытался научиться свистеть, но так и не смог. Прожектор наверху щелкнул и погас. От светового перепада Максим на секунду потерял всякое зрение.

– А что надо? – вдруг почти буднично спросил голос сверху.

– Поговорить надо, – буркнул Максим.

– А ты кто?

– Я от Блюменцвейга.

– От кого?!

– От Яши Блюменцвейга!

Раздалось какое-то шебуршание, шаги и чьи-то тихие неразборчивые голоса. Наконец слева от ворот, там, где была входная дверь, что-то задребезжало. Затем

дверь скрипнула и приоткрылась. Оттуда высунулось дуло автомата.

– Неожиданная реакция на фамилию Блюменцвейг, – сказал Зонц, нащупывая пистолет.

– Похоже, его здесь недолюбливают, – пробормотал Максим.

Но вслед за дулом в проеме возникло немолодое бородатое лицо. Оно внимательно оглядело Зонца и Максима.

– Ты, что ли, к Куперману?

Максим вышел вперед.

– Ну я.

Он присмотрелся к лицу, которое ему показалось знакомым, но вспомнить, кто это, так и не смог.

– А он тебя знает?

– Знает.

Внутренне Максим уже проклинал себя за то, что ввязался в эту авантюру. «Сейчас прошьют меня очередь, буду на том свете рассказывать, как меня за какого-то Блюменцвейга укокошили. Вот там посмеются».

Но пожилой охранник только пожевал ртом и сказал:

– Ты можешь пройти на КПП, а твой друг пусть стоит где стоит.

Максим переглянулся с Зонцем. Тот кивнул и тихо шепнул:

– Еще одна хорошая новость: Куперман явно жив.

Но Максиму было не до шуток. Он мысленно перекрестился и вошел в открывшийся проем. Железная дверь, скрипнув, закрылась за его спиной.

Внутри была обычная обстановка советского военного КПП: желтый электрический свет, кирпичные стены, закуток для пропусков с плексигласовым окошком.

Максима обыскал второй охранник и, не найдя оружия, усадил на стул с порванным сиденьем, из которого торчала вата, как будто в нем уже покопался Остап

Бендер. Первый охранник, тот, что впустил Максима, все это время стоял рядом, сжимая в узловатых морщинистых руках калашников.

– Куперман сейчас подойдет, – сказал он. – Надеюсь, он тебя вспомнит.

«Мило, – подумал Максим. – А если не вспомнит?»

Перед его глазами почему-то встала душещипательная картинка. Входит Куперман и говорит: «Нет, я его не помню». Дальше Максим падает на колени и умоляет Купермана вспомнить, но поздно – его прошивает автоматная очередь. Мда-а. Но делать было нечего. Как говорится, назвался груздем...

Любопытно, что после сообщения о скором приходе Купермана оба охранника остались стоять безмолвными пограничными столбами. Видимо, был еще третий, который и отправился за Куперманом. Или здесь была какая-то телефонная связь.

«Интересно, – подумал Максим, – а эти охранники, по идее, тоже какие-то писатели или как?»

Он принялся тихо насвистывать какую-то мелодию, видимо, для создания иллюзии, что абсолютно спокоен, но почему-то, наоборот, разнервничался еще больше и вскоре замолчал.

Наконец дверь со стороны «военной части» открылась, и вошел Куперман. Одет он был вполне современно, даже модно, разве что длинные седые баки выдавали в нем что-то анахроничное.

– Максим? – удивился Куперман, сразу узнав гостя.

– Привет, Семен, – сказал Максим, вставая и пожимая руку.

Про себя Максим с грустью отметил, что Куперман сильно постарел. Факт чьей-то старости, несмотря на всю свою логичность и предсказуемость, неизменно поражал Максима.

– Какими судьбами? – спросил Куперман, присаживаясь на соседний стул.

Максим, который ожидал, что его проведут на территорию части, несколько растерялся, но потом тоже сел.

– Да, собственно, вот прослышал про Привольск и...

– От кого это? – насторожился Куперман.

– От Яши Блюменцвейга.

– Да ты что! – всплеснул руками Куперман и покачал головой. – Яша, Яша... Какой был человек. Такой холокост пережил... Он жив?

– Вообще-то да, только слегка умом двинулся.

– А что он о нас говорил?

– Да почти ничего. Вот, мол, был такой Привольск, и все.

– Да, – печально, но с каким-то удовлетворением кивнул Куперман. – Побила нас жизнь.

– Ты уж извини за любопытство, а что здесь у вас вообще происходит?

– А Яша разве не рассказывал? – спросил Куперман с явным напряжением в голосе.

– Да так... в общих чертах...

– Ох, Максим, – несколько театрально вздохнул Куперман. – Долгая история, но тебе как старому приятелю... В семьдесят девятом здесь устроили лагерь для творческой интеллигенции, для, так сказать, самых активных борцов с режимом. Обманом привезли нас сюда из разных городов и устроили... Нет, сначала все было мило. Вроде дома творчества. Закрытого типа. Но через некоторое время улыбка, образно выражаясь, сменилась звериным оскалом. Овчарки, колючая проволока, стены. Сам видишь. В общем, тюрьма как тюрьма. Ничего особенного... Многие не вынесли горьких испытаний, голода и издевательств. Знал бы ты, сколько умерших товарищей я вот этими вот руками зарыл

в землю. Скольких выходил на жестких нарах в холодных бараках. Люди ломались физически, люди ломались психологически. Психологически – это даже страшнее. Знаешь, как невыносимо больно видеть в некогда лучистых глазах художника пустоту и отчаяние, неверие и беспомощность, страх и безнадежность? Мы все словно заглянули в бездну. Отрезанные от мира, от человеческого тепла, от родных и близких, мы, сбившиеся в кучку, испуганные и душевно сломленные, боролись за свои жизни, как будто они что-то стоили. Жертвы бесчеловечного эксперимента... кремлевских мясников.

Тут Куперман почувствовал, что слегка переборщил с пафосом, и, ненатурально всхлипнув, достал пачку «Мальборо» из кармана куртки.

– Будешь? – протянул он сигареты Максиму.

Тот вытянул одну, и они закурили.

– Вот тот душевный опыт, который мы здесь приобрели, – закончил Куперман, видимо, посчитав, что для трогательной исповеди достаточно.

Максим затаился и почесал переносицу.

– А Блюменцвейг? – спросил он после паузы.

– Блюменцвейг... – сказал Куперман и задумчиво затаился сигаретой. – Блюменцвейг – наш герой. Тот, на кого мы все эти годы равнялись, тот, о ком думали все это время. Он один сумел вырваться на свободу. Как Прометей, укравший огонь, понес он нашу боль к людям. Но боль переполнила его душу, и он не смог выразить ее.

Максим подумал, что сравнение с Прометеем не очень удачно подходит к Блюменцвейгу, который сидит в уютной квартире и, слегка спятив, вещает что-то о ВИТЧ. Чай, печень-то ему никто не выклевывает. Если не брать в расчет алкоголь, которого Блюменцвейг никогда не чурался. Но Максим промолчал.

– Но таких, как Блюменцвейг, мало, – вдохновенно продолжил Куперман. – Для этого надо обладать волей, которая у большинства из нас к тому времени была растоптана.

И словно в качестве иллюстрации к этим словам Куперман растоптал свою недокурную сигарету – вот, мол, как топтали нашу волю. Затем поднял смятый бычок и бросил его в пустую пивную банку на полу.

– А майор Кручинин?

Куперман несколько секунд внимательно смотрел в глаза Максиму.

– А про него ты откуда знаешь?

Максим решил промолчать про список привольчан.

– Блюменцвейг упомянул его вскользь, но я ничего не понял.

– Мда-а... Ну что же... Если тебе интересно, то... Кручинин был поначалу комендантом лагеря, но совесть, как говорится, взяла свое. Он и помог бежать Блюменцвейгу. К сожалению, сам погиб. В темноте был застрелен охраной. В спину.

На этих словах Куперман встал и опустил голову, как бы в знак памяти о майоре. Люди с автоматами тоже опустили головы. Максим растерялся, но последовал их примеру. Сигарета в его пальцах горела, как маленький «вечный огонь».

– Ну спасибо, что заехал, – неожиданно деловым тоном сказал Куперман. – Всего хорошего.

И пошел на выход. Максим, который в тот момент затянулся сигаретой, чуть не подавился дымом от такой неожиданной развязки.

– Погоди, Семен! – вскочил он. – Но... хорошо. Муки, страдания... Но ведь СССР давно нет! Почему вы здесь сидите? Почему не уходите?

Куперман посмотрел на Максима с таким снисходительным сожалением, с каким мудрый старец смотрит на зеленого юнца.

– Вам это будет трудно понять... – перешел он на философско-обобщающее «вы». – А ведь здесь в некотором роде – музей. Музей наших душевных мук. Семи страшных лет страданий и еще тринадцати не менее страшных лет доживания.

– Музей – это когда можно купить билет и пойти посмотреть, – с неожиданным сарказмом ответил Максим. – А окошка кассы я тут не вижу. Да и ты не больно-то торопишься меня приглашать.

Ироническая интонация явно задела Купермана.

– Ты не понял, старик, – обернулся он. – Мы – последние из могокан. Мы – свидетели истории. И мы пишем эту историю. Время для которой еще не пришло. Если мы сейчас пустим гуннов в наш Рим, вы все разрушите и ничего не останется. Это наш долг. Наша задача. Цель, если хочешь.

Максим ничего не понял из этой белиберды, но на всякий случай прощупал почву.

– А сколько осталось свидетелей-то? Горский там?

– Горский умер в прошлом году от воспаления легких. Нас немного – примерно тридцать человек.

– Я не пойму, вы что, вообще отсюда не выходите?

– Лет пять назад были отпуска. Потом их отменили. Нашим людям тяжело с вашими. Ваши люди уже не могут понять наших людей.

«Еб твою мать! – мысленно выругался Максим, – твоя моя не понимай, белые люди со стреляющими палками пришли и сделали много смерть. Что ты мне, блядь, втираешь?»

– Послушай, Семен, – сказал он вслух. – Давай начистоту.

Куперман удивленно приподнял брови.

– Давай.

– Есть государственный проект. Узаконить... оформить... короче, создать здесь официальный музей-лагерь. Построить стенды...

– Они уже есть.

– Ну хорошо, – сбился с мысли Максим и добавил слегка раздраженно: – Дело ж не в стендах. Дело в том, чтобы восстановить инфраструктуру, сделать музей приемлемым... как это... приспособленным для посетителей... открыть его.

Куперман хотел что-то сказать, но Максим понял, что тут надо давить на газ, и не позволил себя перебить.

– Дай мне договорить! Короче, все, что мы хотим...

– Мы?

– Ну, я тоже участвую в этом в некотором роде. В общем, надо провести небольшой ремонт. Тут же все в запустении наверняка. Или что, вы ремонт тоже делали?

– Да нет, – смутился Куперман.

– Ну вот. Лагерь – это одно, а музей, мемориал, государственный культурный объект – немного другое. Что тут непонятного? Но самое главное, что все вы останетесь при деле. Хотите здесь дальше жить – да ради бога. Как свидетели, бывшие лагерники, будете экскурсоводить, помогать восстановлению. Это же огромный культурный проект. И вы не можете оставаться в стороне. И не должны. Только сначала сюда приедут рабочие, которые должны провести общий ремонт. Они починят, что надо, положат асфальт, где надо, заменят водопровод, проводку и так далее. И на этот период... – Максим замаялся, вспоминая, о каком периоде говорил Зонц – кажется, две недели, – ...буквально дней на десять вы все покинете территорию лагеря и поселитесь рядом. Ну, или в городе. Как только первичные работы

будут сделаны, вы вернетесь обратно. Вы будете получать зарплату и, так сказать, выполнять свою культурно-историческую миссию дальше.

Куперман задумался. Максим воспользовался паузой, чтобы слегка сменить тему. Тем более он чувствовал, что надо оттянуть время, дать Куперману задуматься, иначе будет сплошное «нет, нет, нет».

– И чисто человеческая просьба, Семен. Видишь ли, я сейчас пишу книгу о «Глаголе». Если ты помнишь, это...

– Да-да, – нетерпеливо перебил его Куперман. – Альманах. Наш диссидентский. Конечно помню.

– Ну вот. В общем, мне нужно взять интервью, кое о чем расспросить... Тебя, Авдеева, Файзулина...

– Файзуллин умер, к сожалению. Да и Авдеев давным-давно скончался. Спился. С горя.

– И Авдеев? Жаль... Ну, тогда... остаешься ты.

– А это что? Это все в рамках вот этого...

– Нет-нет, это моя личная инициатива. К Привольску это не имеет прямого отношения. Но в некотором роде у этих тем общий знаменатель.

– Понятно, – сказал Куперман, уставившись взглядом куда-то в стену. Потом задумчиво добавил: – Канализация на прошлой неделе рванула, все говном залило...

– Ну, вот видишь! – обрадовался Максим. – Своими силами не справитесь.

– В общем, так, – стряхнул задумчивость Куперман. – Мне нужно время. Посовещаться.

– Это сколько? – встревожился Максим.

– Неделю как минимум. Надо все обсудить, взвесить... Оставь свой телефон. Я сам с тобой свяжусь.

– А интервью?

– Давай так. Если мы согласимся, ты так и так приедешь. А если мы откажемся, ты приедешь просто ради интервью.

– Идет, – кивнул Максим и быстро начеркал на сигаретной пачке свой номер телефона. – Буду ждать звонка. Если да, мы приедем.

– Опять «мы», – поморщился Куперман.

– Ну слушай, я же не руковожу этим проектом. Надо мной люди... точнее, человек... он это... помощник президента по культурным вопросам.

– Ты ему доверяешь?

– Да, – кивнул Максим, понимая, что честность со всеми ее тонкостями и рефлексиями будет здесь неуместна.

– Эх, Максим, – поддавшись невесть откуда взявшейся ностальгии, сказал Куперман. – А помнишь, как мы ездили на Валдай, а? Гитары, горы, костер, лес, ночь...

– Да, – односложно ответил Максим, хотя никогда не был на Валдае и терпеть не мог всю эту турпоходную романтику. Что самое интересное, он сильно сомневался, что и Куперман куда-то ездил. С Семеном они познакомились на выставке художника Мякишева, которого Куперман обругал именно за пейзажи, сказав, что природа – худшее, что создала природа. Этот афористический бред Максим запомнил на всю жизнь.

– Здесь в лагере я часто думал о Зойке, – сказал Куперман куда-то в пустоту. – Или Зинке...

«Какой Зинке? Какой Зойке?» – мысленно заметался Максим, испугавшись, что Куперман тоже рехнулся.

– Нет, – уверенно сказал Куперман и поковырял мизинцем в ухе. – Зинка. Точно. И чего она нашла в Климове?

Тут Максим вспомнил, что, действительно, был в их студенческой компании такой лингвист-структуралист Климов, и у него была девушка по имени Зина. У Зины была внушительных размеров грудь (или, по чьему-то остроумному определению, «запоминающаяся грудь»).

Никаких других талантов за ней не водилось. И чего ее Куперман вдруг вспомнил?

Максим не стал спрашивать. Да он бы и не успел, потому что Куперман неожиданно кивнул ему на прощание и стремительно скрылся на территории лагеря. Бородатые охранники молча проводили Максима на выход.

После беседы с Куперманом у Максима так разболелась голова, что он вышел к Зонцу, слегка покачиваясь.

– Ну что? – спросил тот, заметно волнуясь.

– А хер их знает... Меня внутрь-то не пустили... Мы, говорит, последние из могижан, свидетели чего-то там...

– Чего?

– Истории. Истории они, понимаешь, свидетели.

– Мда-а? – хмыкнул Зонц. – А кто не свидетель-то? Все свидетели. Ладно, садитесь в машину. По дороге расскажете.

Максим покорно вскарабкался на сиденье и закурил.

В машине, как ни странно, голову слегка отпустило, хотя внутри что-то продолжало жужжать – какой-то надоедливый зуммер.

– А что еще говорил Куперман? – спросил Зонц, заводя мотор. – Сколько их там?

– Говорит, человек тридцать.

– Всего? Это хорошо. Это компактно.

– Еще плел про тюремную жизнь, про то, как он своими руками кого-то там хоронил, про творческие души, растоптанные советской системой. Разве что рубаху на себе не рвал.

– Ну а что с музеем-то?

– Сказал, что подумает.

– Серьезно?! – обрадовался Зонц.

– Неделю просил дать.

– Ну спасибо. Вот это хорошая новость. Я в вас не ошибся.

– Послушайте, – перебил возбужденного Зонца Максим, – я все-таки до конца не понял, что их там держит.

– Вас это сильно волнует?

– Вообще-то да. Люблю, знаете ли, ясность.

– Ясность или правду?

– А что, обязательно их противопоставлять? – раздраженно заметил Максим.

– Ладно, простите, – усмехнулся Зонц. – Но я действительно не очень знаю, в чем там дело. Меня лично больше волнует, согласятся ли они на наше предложение. А что там у них в голове...

– Жаль, что меня внутрь не пустили. Интересно было бы глянуть...

– С виду укрепления, конечно, суровые. Пока вы там сидели, я прошелся вдоль заборчика. Каждые двести метров вышка.

– Странная строгость для интеллигентных диссидентов, которые, в общем-то, ничего не совершили.

– А что Блюменцвейг?

– Ну, он у них герой. Единственный, кто осуществил побег. Кстати, я и насчет Кручинина спросил.

– И что?

– Да, кажется, он у них там тоже что-то вроде героя. Переметнулся на сторону узников, помог Блюменцвейгу бежать и все такое...

– Ну и хорошо, – неожиданно резюмировал Зонц и с довольным видом уставился на дорогу.

Максим хотел что-то спросить, но утренний недосып вкупе с нервотрепкой в Привольске дал о себе знать – Максим зевнул, прислонился виском к прохладному тонированному стеклу и, убаюканный тихим шелестом кондиционера, задремал.

Сон был какой-то невизуальный. Зато имел аудиосопровождение. Им было повторяющееся, как заезженная пластинка, стихотворение про медведя-нахала, сожравшего ребенка. В конце сна из темноты выплыла медвежья голова, причем безо всякого туловища, и сказала:

– Приехали, Максим Леонидович.

Максим вздрогнул и проснулся.

– Что?

Джип стоял на месте. Зонц курил, глядя через ветровое стекло куда-то вдаль.

– Приехали, – повторил он, не поворачивая головы.

Максим вытер слюну, которую, видимо, пустил во время сна, и приподнялся. Машина стояла у подъезда его дома.

– Да-да, – засуетился он, дергая ремень безопасности. – Я пойду.

Зонц помог разобраться с ремнем и открыл дверь.

– Я позвоню, – сказал он и протянул на прощание руку.

Максим пожал ее. Она была ни тепла, ни холодна.

XVI

На капризы привольчан майор Кручинин решил принципиально не отвечать. Таким дашь локоть, всю руку откусят. Но в январе 1980 года произошло ЧП, после которого майор задумался, не слишком ли он мягок. И не пора ли проявить настоящую строгость. Случилось это в субботу, когда народ, по идее, должен был отдыхать или творить. Сам майор никогда не отдыхал, просиживая за рабочим столом сутки напролет. Не потому, что был трудоголиком, а потому что начальство требовало бесконечных и подробных до тошноты отчетов. Вот и в это морозное утро он сидел, как обычно, в своем кабинете, сочиняя очередной опус на тему «никаких ЧП не произошло», когда к нему неожиданно без стука ворвался взволнованный Чуев и сильным голосом прокричал:

– Товарищ майор! Файзуллин разбился!

– Мать твою! – чертыхнулся Кручинин и, бросив все бумаги, рванул из-за стола за лейтенантом. Зацепился за край кителем. Китель хрустнул, но выдержал.

– Да е-мое! – выпутался наконец майор.

На бегу накинул пальто и шарф. И попытался выяснить детали.

- Как разбился-то? Из окна, что ли, выпал?
- Да не, – махнул рукой Чуев. – Сделал этот... дельтаплан и на нем полетел.
- Какой еще в жопу дельтаплан?
- Обыкновенный. Железяка с крыльями.
- А куда полетел? В магазин, что ли?
- Шутите, товарищ майор! Через забор полетел, конечно.
- Побег, значит?
- Вроде того. С крыши института сиганул.
- Вот debil! – сплюнул Кручинин.

Они выбежали на улицу. Снег искрился и слепил глаза. Майор поскользнулся и едва не упал, но, изогнувшись всем телом, словно цирковой эквилибрист, устоял. Чуев бросился по скрипучему снегу в сторону НИИ. Майор, чертыхнувшись, побежал следом. На ходу стал прикидывать свое будущее.

«Скрыть смерть, конечно, не удастся. Придется докладывать начальству. А это значит что? Недоглядел, товарищ Кручинин. Недосмотрел. Недоработал. И полугода не прошло, а уже первый труп. Ай-яй-яй. Мошкин доложит генералу Валяеву. Все повесит на меня, конечно. А Валяев меня на дух не переносит. Вызовет в Москву. Там начнут рыть личное дело. Вспомнят диссидента Кузьменко, которого я обрабатывал и который под машину попал. Снова начнется нудятина: “Случай, конечно, несчастный, но Кручинину советовали арестовать Кузьменко, а он отказался. Теперь Кузьменко погиб, и западные голоса подняли вой: убили! Сбили, как Михоэлса! Длинная рука КГБ!” Ха! Можно подумать, что, если бы я его арестовал, не было бы воя. Но теперь, конечно, снова несчастного Кузьменко прилетут. И попрут меня. Попрут как миленького».

Чуев тем временем убежал вперед. Заметив, что майор отстал, остановился в ожидании. Кручинин подбежал, тяжело переводя дыхание.

– А труп точно еще там? – спросил он, вытирая пот со лба.

– Чей труп? – испугался Чуев.

– Ну не мой же! Файзуллина, епти!

– А с чего ему помирать?

– Еб твою мать, лейтенант! Ты же сам сказал, что он разбился!!!

– А-а... Ой, товарищ майор, я не то имел в виду. Разбился в смысле упал, ушибся. А вообще-то он только ключицу сломал, ну и синяки там...

– Тьфу ты! – сплюнул Кручинин. – Что ж ты сразу не объяснил нормально? Я ж думал, он все... Фу-ты ну-ты!

От сердца отлегло. Майор перевел дыхание и, уже не торопясь, спокойной уверенной походкой обогнул вместе с Чуевым здание НИИ. Там уже собралась внушительная толпа.

Собственно, дело так и обстояло. Переводчик Файзуллин соорудил дельтаплан, на котором попытался перелететь забор Привольска. Затея провалилась, потому что по-настоящему высоких зданий в Привольске не было. А пущенный с четырехэтажного здания НИИ дельтаплан вместе с переводчиком быстро потерял высоту и впечатался в трансформаторную будку.

Надо сказать, что Файзуллин вовсе не собирался никуда бежать. Он прекрасно понимал, что такой огромный объект, как дельтаплан, да еще среди бела дня, неизбежно привлечет внимание охраны. Да и куда бежать? Они даже толком не знают, в какой части СССР находятся. Дело было в принципе, а точнее, в споре, который он затеял с Вешенцевым, утверждавшим, что сбежать из Привольска невозможно. Файзуллин, кото-

рый в тот момент был слегка подшофе, заявил, что когда-то занимался дельтапланеризмом и мог бы улететь отсюда в любую секунду, просто желания нет. В итоге Вешенцев сказал, что готов поспорить на четвертной, что у Файзуллина ничего не выйдет. Оскорбленный Файзуллин вызов принял, тем более что при споре присутствовали дамы и ему не хотелось ударить в грязь лицом. За неполную неделю он умудрился соорудить дельтаплан или по крайней мере нечто, что таковой отдаленно напоминало. На самом деле технически Файзуллин был не так хорошо подкован, как утверждал во время спора, поэтому собирал дельтаплан по учебнику, взятому в привольской библиотеке. Но, как известно, теория теорией, а опыт – сын ошибок трудных. Неудивительно, что дельтапланообразное чудовище, которое Файзуллин гордо нарек «Файз-1», не совсем соответствовало принятым стандартам. Однако отступать Файзуллин не привык. При помощи мускулистого Горского он втащил на плоскую крышу НИИ свое детище и приготовился к старту. Крыша была идеальной площадкой. Под ней проходили трубы отопления, и потому снег мгновенно таял, стекая по слегка наклонной плоскости в водосточные трубы. Внизу тут же собрались зеваки. Был там, естественно, и Вешенцев, который уже слегка жалел о своем неверии и судорожно думал, как бы теперь избежать расплаты.

Файзуллин тем временем стоял на крыше и глядел то в небо, то на землю, чувствуя, как его уверенность в успехе предприятия стремительно тает.

– Давай, Икар! – крикнул кто-то в толпе, желая подбодрить переводчика.

– Кретин! – крикнул ему в ответ Файзуллин. – Сплюнь три раза! Икар разбился! Это Дедал долетел!

– Давай, Дедал! – не смутившись, поправился кричавший.

Файзуллин вцепился в подвеску и представил, как, оторвавшись от крыши, воспарит над деревьями, над толпой, над заснеженным Привольском и, конечно, над гребаным Вешенцевым, втянувшем его в это безобразие. Он стиснул зубы и засеменил ногами по шершавому рубероиду крыши, волоча за собой неуклюжую конструкцию дельтаплана.

«Как оторвусь, сразу крикну “Лечу-у-у-у!” – подумал Файзуллин. – Так всегда кричат воздухоплаватели. Это производит впечатление».

Однако едва крыша выскользнула из-под ног, он понял, что не только не успеет крикнуть «Лечу», но и вообще вряд ли что-то успеет крикнуть, ибо сразу понесся не вперед, а вниз. И понесся довольно быстро. Грубо говоря, рухнул. Удар об трансформаторную будку, внезапно возникшую на пути спортсмена-любителя, был таким мощным, что треснула и смялась металлическая подвеска дельтаплана. В толпе охнули, но к всеобщему удивлению переводчик довольно быстро очухался. Снег смягчил падение. Выяснилось, что он отделался лишь ушибами и вывихнутым плечом, которое ему мгновенно вправил Тисецкий, имевший опыт в области травматологии. Теперь Файзуллин сидел, прислонившись спиной к будке, и тер ушибленную ногу. При этом он осоловело оглядывал собравшихся и почему-то ел снег.

Кручинин решительно раздвинул толпу и подошел к переводчику.

– Файзуллин! – строго выкрикнул он.

– С родителями в школу! – пошутил кто-то в толпе.

Кручинин смерил шутника ледяным взглядом, после чего повернулся к Файзуллину и процедил:

– Завтра ко мне в кабинет.

– Зачем? – недоуменно спросил тот.

– Новый дельтаплан делать будем! – съязвил майор и мотнул головой Чуеву: – Пошли, лейтенант.

На следующий день Файзуллин прихромал в кабинет к майору. Он сел на предложенный стул и сразу поник головой, как двоечник в кабинете у директора.

– Только не надо мне тут раскаяние изображать, – хмуро сказал Кручинин, закуривая.

– Я не изображаю, – глухо ответил Файзуллин, глядя в пол. – У меня после падения шея болит. Голову не могу прямо держать.

Майор хмыкнул и затянулся.

– Сами дельтаплан делали?

– По учебнику.

– Понятно. Ну и как мне прикажете с вами поступить?

– А что я сделал? – пробурчал исподлобья переводчик.

– Здрасьте. Я же в первый день предупредил: нарушение режима, попытка к бегству и прочее будет караться так же, как и в любой исправительной колонии. Теперь я должен принимать меры. У меня нет другого выхода, иначе вы все решите, что здесь курорт. Захотел – самолет построил, захотел – в город за сигаретами слетал.

Файзуллин, поморщившись, поднял голову.

– А какой это я режим нарушил?

– А границу Привольска кто пересекал?

– А кто пересекал? – искренне удивился Файзуллин. – Я не пересекал. А полеты, насколько мне известно, запрещены не были. Прыгнул – да, на спор. А бегства не было.

– То есть в будку вы тоже влетели намеренно?

– Ну вот еще. Но только забор же я не перелетел.

– Странная логика. Значит, пока зэк роет тоннель на

волю, его трогать нельзя – он же еще никуда не убежал. А вот когда убежит, тогда и лови его. Очень мило.

– Извините, товарищ майор, но вы сначала пропишите правила, а потом уж...

Тут Файзуллин мотнул головой, поморщился от боли и затих.

Кручинин затушил сигарету и потер лицо. Переводчик был прав. Правила-то майор и вправду не прописал. Вот что значит отсутствие опыта. Понадеялся на устное объяснение и понимание. А тут такой детский сад. Черт, неужели и вправду зону эковскую делать?

– Вы правы, Файзуллин. Будем считать это недоработкой с моей стороны. Будут правила. Вы свободны. Но на будущее запомните: еще одна такая попытка покинуть территорию Привольска, я пишу рапорт, и вы отправляетесь в места не столь отдаленные.

– Это по какой же статье?

– Порча государственного имущества. Или, по вашему, трансформаторная будка денег не стоит, что вы ее так разворотили? Идите, Файзуллин. И займитесь наконец, творчеством. Государство вас не для того в Привольск привезло, чтобы вы с крыш прыгали и будки ломали.

Едва Файзуллин вышел, Кручинин достал чистый лист бумаги и принялся писать правила нахождения в Привольске. Далось это ему не без труда, ведь Привольск не был тюремной зоной, где расписан каждый шаг заключенного. К тому же большое количество запретов и ограничений вступало в некоторое противоречие не только с убеждениями майора, но и с творческим духом города. Тогда Кручинин решил поступить иначе. Первым пунктом он написал: «Что не разрешено, то запрещено», после чего составил список разрешенных действий – добавить что-то по ходу всегда мож-

но, а так надежнее будет. Да и выглядели допустимые действия приятнее, чем бесконечные «нельзя» и «запрещается».

Расправившись с правилами, он отдал Чуеву распоряжение отпечатать список и довести его до сведения. Кроме того, приказал законопатить выход на крышу НИИ, а также ввести контроль за выдаваемой в библиотеке литературой.

– Зачем это? – удивился лейтенант.

– Затем это, – огрызнулся майор. – Что когда Файзуллин возьмет самоучитель по сборке танка, я хотя бы буду знать, чего ждать.

Вскоре история с дельтапланом забылась и жизнь вошла в свое привычное русло. На память о происшествии осталась внушительная вмятина на трансформаторной будке и небольшое двустигшие, сочиненное местными зубоскалами по поводу этого короткого полета и последующей хромоты Файзуллина:

О, как ты, будка трансформаторная, зла!
Умеешь трансформировать тела.

XVII

Войдя в родную прихожую, Максим первым делом проверил автоответчик. Никаких сообщений. Это его расстроило. Во-первых, это говорило о том, что он никому не нужен. Кроме Зонца разве что. Что было вдвойне тошно. Во-вторых, он давно пытался дозвониться до жены и сына в Израиль, но никак не мог их застать дома и все время оставлял сообщения с просьбой перезвонить. Но, похоже, жена решила вычеркнуть бывшего мужа из жизни навсегда. На что Максиму было, честно говоря, наплевать. Но вот то, что она пыталась вычеркнуть его из жизни сына, – это уже было свинством. В конце концов Максим всегда старался им помогать. Даже когда слонялся по Америке без денег, и то находил возможность что-то выкроить и выслать им в Израиль. Вернувшись в Россию, он отчаянно просил жену отпустить сына к нему погостить, но как об стену горох. Она даже отказалась дать ему координаты сына. Потом сын вырос. И когда Максим наконец вычислил его телефон, тот почти забыл отца и никаких сыновних чувств к нему не испытывал. Максим решил сам полететь в Израиль, но тут начался кризис, работы не ста-

ло, денег не стало. Надо было крутиться и выживать, а не по миру мотаться.

Максим подошел к столу и включил компьютер. Но когда на экране высветился текст будущей книги, он понял, что работать у него не было ни сил, ни желания. И хотя головная боль, начавшаяся в Привольске, прошла, ощущение было, что мозг по-прежнему гудит.

В течение следующих дней Максима никто не тревожил. Зонц куда-то пропал и не звонил. Максима это вполне устраивало. Жизнь пошла своим привычным чередом. В качестве небольшой творческой разгрузки он вернулся к сценариям, начал кропать что-то культуроведческое, а также продолжил активную переписку-перепалку с очередным журналом по поводу своих статей. Через пару дней позвонил сводный брат Алик, которого Максим сто лет не видел. Алик был режиссером-мультипликатором. В юности они довольно много общались, несмотря на разницу в возрасте (Максим был старше на четырнадцать лет), но потом Максим уехал в Израиль, и с тех пор они виделись раза три-четыре. К слову сказать, кроме Алика у Максима и не осталось-то никакой родни. По крайней мере в России. Общим у них был отец, профессор физико-математических наук, который после смерти матери Максима, погибшей при сходе лавины где-то в Кабардино-Балкарии, женился на своей студентке. Максиму было к тому моменту почти четырнадцать лет, и молодая мачеха вызывала у него смешанные чувства: с одной стороны, она ему нравилась как женщина, с другой – он отказывался считать ее членом семьи (вот еще! сегодня пришла, завтра ушла, на таких, с позволения сказать, членов членских билетов не напасешься). Но затем мачеха забеременела, и Максим понял, что дело принимает затяжной характер. Обстановка стала стремительно накаляться: пе-

реходный возраст Максима и беременность мачехи создавали неблагоприятный эмоциональный фон, но урегулирование конфликта прошло тоже стремительно – папа просто снял Максиму отдельную квартиру, чему сам Максим был безмерно рад. Впоследствии с мачехой он помирился и даже часто сидел с маленьким Аликом, когда родители уходили в гости или театр. Правда, злой рок неумолимо преследовал профессора. Незадолго до отъезда Максима в Израиль профессор с женой, путешествуя по Кавказу на только что купленном «жигуленке», разбились. Трагедия естественным образом сблизила Алика и Максима, но одновременно придала дополнительную весомость аргументам жены Максима в пользу эмиграции. Мол, теперь и отец погиб, значит, держаться не за кого. Алик же, наоборот, как будто еще крепче врос в родную почву – эмигрировать не собирался ни до, ни после перестройки.

Редкость их встреч Максим объяснял тем, что каждый визит заканчивался каким-то кисло-горьким послевкусием. Максим и сам не понимал почему. У Алика была крепкая семья, громадь планов, Максим же всегда выходил каким-то гордым одиноким пожилым бесребреником – роль, которая ему совершенно не нравилась, но на фоне более молодого, к тому же брызжущего оптимизмом и энергией Алика это было почти неизбежно. В этот раз Максим дал себе слово, что зайдет к брату и постарается наладить более тесный контакт с его семьей. Но с датой они не определились – Алик сказал, что на две недели уезжает в Питер. Договорились созвониться.

Потом позвонил Толик-кинорежиссер. Как всегда весел и бодр.

«Свести бы его с Зонцем, – подумал Максим, – они б вдвоем всех задавили своим оптимизмом».

– Привет! Чем занимаешься? – почти выкрикнул в трубку Толик.

– Думаю, – мрачно ответил Максим, хотя в момент звонка сидел на краю ванны и стриг ногти.

– Понятно. Так и представляю тебя в позе микеланджеловского «Мыслителя».

– Роденовского, – поправил его Максим.

– Не суть, – как обычно не смутился Толик. – Что с книгой?

– Пишу потихоньку. Смотри, чтоб твой книгоиздатель не смылся.

– Да не... Он мужик солидный. Я его сто лет знаю.

– И где ж вы познакомились?

– Как где? На моем дне рождения!

– Он присутствовал при родах?

– Почему? – удивился Толик и расхохотался. – А-ха-ха! Классно ты меня подколот. Молодец. Да нет. На праздновании моего дня рождения. Ты ведь не пришел...

– В этом году, что ли?! Это ж месяц назад было.

– Ну да.

– А говоришь, сто лет его знаешь.

– Ну это ж образно! – разозлился Толик. – Ты что, не понимаешь, что такое образное сравнение? Слушай, чего ты переживаешь? Он тебе что, аванс не перевел?

– Да перевел, перевел, – отмахнулся Максим, устав бороться с Толиковой логикой.

– Слушай, совсем забыл! Приходи завтра на премьеру.

– Какую еще премьеру?

– Фильма.

– Твоего? – ошарашенно спросил Максим и чуть не отстриг себе палец.

– Нет, Родена, блин, – фыркнул Толик. – Ну естественно, моего.

- Ты что, его уже снял?!? За месяц?!
 - А что тянуть кота за яйца? Чик-чик, и готово.
 - Чик-чик, и нет яиц?
 - В общем, легкая семейная комедия. Называется «Любовь плюс любовь».
 - Очень оригинально.
 - Да мне тоже не нравится, - вяло согласился Толик. - Вообще-то хотел назвать «Любовь плюс любовь равняется любовь».
 - Ну это, конечно, меняет дело.
 - Но прокатчики взбунтовались. Говорят, слишком длинно. Зритель не поймет. Тяжело творческому человеку с этими прокатчиками. У них только деньги на уме.
 - А у тебя? - саркастично спросил Максим.
 - А у меня деньги и бабы, - хохотнул Толик. - Чувствуешь разницу?
 - Не очень, потому что сомневаюсь, что прокатчиков не интересуют бабы.
 - Судя по их поведению, их интересуют скорее мужики. Ха-ха. Ладно. Короче, приходи. Останешься на банкет, ну и все такое.
- Максим обещал прийти, но не пошел. Не потому, что представлял себе качество фильма и боялся каких-то распросов со стороны Толика (тот был совершенно равнодушен к критике), а просто не хотел тратить время.
- В метро случайно столкнулся со своей юношеской любовью, которую не видел лет пятнадцать. Даже не сразу узнал, но у нее были смешные ямочки на щеках - по ним и определил. Хотел окликнуть, но потом почему-то спрятал лицо и отвернулся. Не хотел, чтобы она видела его постаревшим.
- А в один из дней на мобильном высветился незнакомый номер.

– Алло! Максим! Это Андрей!
– Какой Андрей?
– Не узнал?! Богатым буду! Одноклассник твой! У нас встреча выпускников. Приходи.

Максим так опешил от этого неожиданного звонка, что несколько секунд беззвучно шевелил губами, как аквариумная рыбка. Наконец обрел дар речи.

– Каких выпускников?
– Школьных, конечно!
– Господи, нам скоро всем на тот свет выпускаться, а тут какая-то школа.

– Ну, так вот именно! – бодро ответил Андрей. – Надо успеть до того света.

– Зачем?
– Ой, слушай, Максим, давай без этого вот сарказма.
– Слушай, а как ты меня нашел?
– А что? Пробил по телефонной базе, вот и нашел.
– А-а...

– Короче, дело к ночи. У нас будет встреча выпускников. Шестнадцатого сентября. В девятнадцать ноль-ноль в «Палате номер шесть».

– В какой палате? – неуверенно переспросил Максим.
– Господи, ну клуб на Солянке. Мы все тебя ждем.
– Да-да, Максим, мы все ждем! – врезался чей-то пислявый женский голос.

– Кто это? – испугался Максим.
– Ха-ха. Не узнал? Это Люда. Помнишь Люду? Твоя школьная любовь. Ну все. Запиши себе куда-нибудь.

– погоди! Э-э-э... А Щербатый тоже там будет?
– Кто? А! Ха-ха! Щербатый!

На том конце трубки покатались со смеху. Наконец отсмеялись.

– Да нет, он умер давно.
«Очень смешно», – подумал Максим.

– Его это... машина сбила. Грузовик, кажется. Уж лет пять назад.

«Вот те и самосвал», – подумал Максим, но без злорадства, лишь слегка удивившись жестокой иронии судьбы.

– В общем, не бойсь – Щербатого не будет. Как у тебя-то жизнь?

– Жизнь нормально, – промямлил Максим.

– Понятно, а сам ты как?

И он снова заржал, но почувствовав, что шутка не прошла, добавил:

– Чем занимаешься?

Максима этот вопрос всегда заставлял врасплох. Сказать, что ты писатель – все равно что сказать, что ты поэт. Люди смотрят как на идиота. При этом писателем он был уж получше, чем Толик – кинорежиссером, однако слово «режиссер» у всех вызывало священный трепет. Ну как же! Писать каждый может. А кино снимать – это удел избранных. Даже если ты – полная бездарь. Говорить таким людям, как Андрей, что ты – искусствовед, еще глупее. Для них это все равно что бездельник.

– Да так, журналистикой подрабатываю... пишу что-то... А ты?

Спросил из вежливости. Его совершенно не интересовал ни род деятельности Андрея, ни его положение в обществе. Тем более что он и не очень-то помнил этого Андрея. Кажется, был какой-то белобрысый в классе по имени Андрей – он ли?

– Заведую крематорием, – ответил Андрей. – Если что, заходи, устрой вне очереди.

И снова загоготал.

– Зайду на днях, – мрачно ответил Максим.

– Заходи и друзей приводи!

С юмором у Андрея было все в порядке.

После этого звонка Максим еще долго отходил, пытаясь, подобно спиритическому медиуму, вызвать в памяти образ Андрея, а также Люды и всех остальных. Андрея он наконец вспомнил. Перешел к ним в школу в восьмом классе. Запомнился тем, что вечно просил дать списать. Причем делал это настолько занудно и унизительно, что давать-то давали, но с большой неохотой.

«Поразительно, – подумал Максим, – такой зануда, и превратился в гогочущего жизнелюба. Не иначе как работа в крематории меняет характер в лучшую сторону. Может, и мне в гробовщики податься?»

Эта мысль неожиданно привела его снова к теме Привольска, погибшего «при неизвестных обстоятельствах» майора Кручинина, к Блюменцвейгу, к «Глаголу» и собственно книге. Максим снова бросил сценарии и бессмысленные переписки и вернулся к книге.

А через пару дней позвонил Куперман и сухо сказал, что предложение насчет музея принято, так что пусть приезжают для переговоров.

Максим тут же перезвонил Зонцу. Тот был сдержан и деловит. Как-то даже чересчур деловит. А когда Максим сказал что-то насчет музея Привольска, Зонц почему-то буркнул «музейщики», хотя было совершенно непонятно, что он вкладывал в это слово. Но потом Зонц как будто исправился, пару раз пошутил и предложил Максиму осуществить поездку в Привольск в начале следующей недели.

Максим согласился, и они попрощались.

После этого Максим решил позвонить Блюменцвейгу. Во-первых, он все-таки хотел вытянуть из того информацию о «Глаголе». Во-вторых, а вдруг тот все-таки

решит поехать в Привольск за компанию? В дороге бы и поговорили.

Весь день у Блюменцвейга никто не брал трубку. К вечеру ответил тихий женский голос:

– Алло.

– Алло, – слегка растерялся Максим. – А можно Якова?

Женщина кашлянула.

– А кто его спрашивает?

– Приятель.

– Понимаете, – начала она и запнулась, – тут такое дело... в общем, Блюменцвейг умер.

– Как умер?! – опешил Максим. – Когда умер?!

– Да дней пять назад. Упал с платформы под поезд. Я, правда, деталей не знаю. Я просто сестра хозяйки квартиры. Он же ее снимал. В смысле, квартиру... Мы тут ремонт сейчас делаем. Обои меняем. Надо потолок покрасить. Может, паркет перестелить...

Женщину почему-то понесло в детали будущего ремонта – возможно, этим она пыталась компенсировать недостаток информации касательно смерти Блюменцвейга.

– Подождите, – прервал этот словесный поток Максим. – А как же вещи, библиотека?

– А их вчера забрал его брат двоюродный... Он сначала на полках что-то искал... потом рукописи и документы забрал...

– А книги?

– Не, книги он оставил... И мебель оставил... Но только что с ней делать... мы бы вывезли на дачу, но там и так всего хватает... в прошлом году мы сарай новый построили, но там же яблоки...

– А когда же похороны? – перебил Максим, чувствуя, что женщину, словно уставшего пловца каким-то под-

водным течением, все время относит от главной темы разговора.

– А его вроде кремировали уже... Но, если честно, это мне сестра сказала, а сама я не в курсе.

– Понятно, – растерянно прошептал Максим, не зная, что еще спросить, но не решаясь повесить трубку, словно смерть Блюменцвейга только с окончанием разговора станет непреложным фактом.

– А вы, может, хотите книжки забрать? Так они сейчас пока тут.

– Я подумаю...

– Вы извините, мне надо идти, – смущенно сказала женщина и, не дождавшись ответа, повесила трубку.

«Вот тебе и крематорий, вот тебе и ВИТЧ», – подумал Максим, чувствуя, как нагрелся от его щеки пластик телефонной трубки.

XVIII

Зонц сидел на втором этаже своей подмосковной дачи. В тех кругах, где он работал и вращался, это называлось «загородной резиденцией». Вокруг был идеальный порядок – все так, как он любил. Раз в неделю сюда приходила убираться женщина, которая уже давно знала все его привычки и капризы – знала, что можно трогать, а что нельзя, что можно переставлять, а к чему лучше вообще не прикасаться. Она иногда подворовывала, но по мелочи. То ручку сопрет, то зажигалку. Но поскольку выше этих скромных клептоманских притязаний она не шла, Зонцу было все равно – он и так слишком многих уборщиц перепробовал. Воровали все. Но только последняя делала это элегантно, можно даже сказать, ненавязчиво. Как бы намекая Зонцу, что воровство для нее не первостепенная задача и даже не приработок, а просто дань традиции, так сказать, естественная часть процесса.

Зонц сидел на диване, разложив на низеньком стеклянном столике желтые листки со списком имен, который получил от своего помощника. Он курил и думал.

История с Привольском ему жутко не нравилась. А главное, до Привольска все шло как по маслу – и на тебе! Но больше всего его смущало и раздражало ощущение нелепицы и абсурда, которое незримо витало над каждым новым фактом о Привольске. Поражения Зонц переносил стоически, но непонимание выбивало его из седла. В администрации президента его ценили именно за проницательность. Здесь же он чувствовал себя школьником-недоучкой.

Зонц задавил сигарету в пепельнице, потер усталые глаза и взял пожелтевшие листки со списком привольчан в руки. В сотый раз побежал взглядом по фамилиям: Авдеев, Александрóвич, Амелин, Аполлонова, Аюшев, Балашова, Балкин, Бердан, Блюменцвейг, Бондарь, Буревич, Вешенцев... Все эти фамилии не говорили ему ровным счетом ничего. И сплошь поэты да писатели... Что они написали? Что вообще сделали? Хоть бы одно имя было знакомым...

А впрочем, бог с ними. Пусть историки в этой каше копаются. Главное – результат. А результат есть. Куперман после недельного раздумья позвонил Максиму, дал добро, и, значит, можно ехать в Привольск и приступать к работе. Да, с Максимом Зонцу определенно повезло. К Куперману ведь на кривой козе не подъедешь. Жаль, что Блюменцвейг, своенравный и замкнутый, оказался тупиковой фигурой. С ним Зонц жестоко прокололся. Но хорошо то, что хорошо кончается.

Зонц набрал номер своего помощника.

– Я вас слушаю, Изя Аркадьевич, – покорно ответил тот. Он знал, что для босса не существует рабочих и нерабочих часов.

– Слушай внимательно, Панкратов. Мне нужен Гусев. Который занимался Новомысском. Просто до зарезу.

Выкопай его из-под земли, достань с Марса, с того света, мне все равно. Понял?

– Понял, – хмуро ответил Панкратов, представив себя почему-то летящим на Марс с лопатой, чтобы выкопать Гусева.

– Есть что новое? – вклинился в его фантазии голос Зонца.

– По Привольску? Ну в общем, да.

– А хули ты молчишь? – разолился Зонц.

– Так я только собирался позвонить, а вы сами позвонили, – обиженным голосом возразил Панкратов.

– Короче, Борменталь, – отрезал Зонц.

– В общем, я по своим каналам пробил. Там действительно имеется склад химических отходов. Там когда-то был химзавод. К сожалению, архивов никаких не осталось...

– Это «к счастью» называется, а не «к сожалению». А почва?

– Почва более или менее в норме. Но, конечно, если они взорвут склад, мало не покажется.

– А у них есть чем?

– Вот это вам никто наверняка не скажет. Тут сперва надо попасть на территорию.

Зонц задумчиво потеревил нижнюю губу.

– Ладно... сейчас это уже не актуально... А может, и актуально. Они там и вправду чокнутые какие-то... а?

Панкратов на том конце трубки молчал.

– Ты заснул там, что ли? – раздраженно спросил Зонц.

– Нет, Изя Аркадьевич.

– Так реагируй. Найдешь Гусева, скажешь ему, чтоб он со мной срочно связался. Мы поедем в понедельник.

– И я?

– Я же сказал «мы», значит, «мы». Будем надеяться, что у них там еще не все мозги от химотходов разложились.

Панкратов, не зная, как реагировать, искусственно хохотнул.

– Отбой, – сухо сказал Зонц и отключил трубку.

Он встал, подошел к столу и с тоской посмотрел на гору распечатанных документов. Столько же, если не больше, еще было в нераспечатанном виде в компьютере. Как назло, в этом месяце была уйма всяких культурных мероприятий, и ему нужно было все их изучить и разобраться, какие из них достойны президентского посещения, а какие нет. Плюс всякие юбилеи, награждения, встречи... Коллега Зонца по нелегкому культурному труду Гордеев вторую неделю плескался вместе с семьей в волнах Тихого океана, и вся работа свалилась на плечи Зонца и его команды, или, как их в шутку называли в кремлевских кулуарах, «зонцеркоманды» или «зонцевской группировки».

«Ладно, – подумал Зонц, – будем решать проблемы по мере их наступления».

И, закурив, включил компьютер.

XIX

То ли ввиду отсутствия всякой реакции со стороны майора Кручинина, то ли ввиду появления других забот, но жалобы от привольчан поступали все реже и реже. Майор же просто перестал их читать, посчитав, что склоки вызваны так называемым эффектом коммунальной квартиры. В конце концов, психологическую совместимость никто не отменял, а когда собираешь такое количество незнакомых людей в одном месте, жди недовольства и нервозности. Тем более что подавляющую часть привольчан составляли по-прежнему мужчины, а мужчины без женщин начинают вести себя агрессивно и неадекватно. Не бром же им всем в еду добавлять! Неудивительно, что уже через полгода все немногочисленное женское население Привольска начало получать усиленную порцию мужского внимания. Даже Буревич, на которую в обычной жизни вряд ли кто-либо вообще позарился бы, на новом месте жительства стала пользоваться бешеной популярностью. Все это очень радовало малочисленное женское население Привольска, но очень огорчало майора Кручинина, ибо он помнил еще по своей службе в морфлоте,

что «баба на корабле – жди беды». Меньше всего майору хотелось заполучить конфликты еще и на сексуальной почве. Он даже стал подумывать, не привезти ли ему для разнообразия эмоциональной и физиологической жизни привольчан каких-нибудь зэчек. Но начальство замахало руками. Там уже и сами были не рады, что заварили всю эту кашу с Привольском: не хватало еще головной боли с бабами-заключенными, они, чай, тоже не лыком шиты – не дай бог, побеги начнутся, дети появятся. Бардак, короче. Более того, майору прямым текстом сказали, что вообще никого в Привольск больше посылать не будут. А что касается химкомбината, то оставшихся химиков очень скоро переведут на другой секретный объект, потому что началась гонка вооружений с США и нужно заниматься не утилизацией отходов, а созданием химического оружия против потенциальных врагов в потенциальной третьей мировой войне. Так что судьба Привольска вообще под большим вопросом. И завозом баб никто заниматься не будет. Кручинин вздохнул, но на рожон лезть не стал. Впрочем, надо заметить, что конфликты из-за женщин если и случались, то скорее курьезные. Например, новосибирский поэт Еремеев и краснодарский писатель Костюшко не поделили диссидентку без определенных занятий Балашову и устроили что-то вроде дуэли. Кстати, Балашова понятия не имела, что ее собираются делить, потому что ни к первому, ни ко второму ухажеру не испытывала никакой душевной симпатии. Так или иначе, но Костюшко незадолго до наметившейся дуэли успел крепко «залить за воротник» и потому шел на встречу с соперником навеселе. Ничего удивительного, что, увидев в темноте журналиста Зуева, он с пьяных глаз принял того за поэта Еремеева и, как говорится, не отходя от кассы набил бедолаге морду. Когда по-

нял, что ошибся, долго извинялся перед невинной жертвой, умоляя его простить. При этом он угрожал, что в случае непощения он повторно изобьет Зуева. Перепуганный Зуев извинения, конечно, тут же принял. И оба продолжили свой путь в разных направлениях. Костюшко дошел до цели без эксцессов, а вот Зуев на свою беду встретил направлявшегося к месту дуэли поэта Еремеева, который, как и его противник, был не совсем трезв. Черт дернул Зуева рассказать Еремееву, что он только что подрался с Костюшко. Еремеев спьяну решил, что Зуев тоже претендует на Балашову, и отметелил Зуева. Самое интересное, что, встретившись полчасом позже, Еремеев и Костюшко неожиданно решили не драться из-за «какой-то бабы», а просто еще немного «накатить». Таким образом, результатом их несостоявшейся дуэли стал дважды избитый, но ни в чем не повинный Зуев. Всю эту историю еще довольно долго пересказывали в лицах жители Привольска, прибавляя к ней, как водится, все новые и новые фантастические подробности. Майор тоже неоднократно слышал ее, но с каждой новой интерпретацией уже и сам не знал, где правда, а где выдумка. Его гораздо больше радовало, что никого не убили, а Костюшко и Еремеев помирились. Однако радость его была недолгой. Нет, к женщинам это уже не имело никакого отношения, просто к концу 81-го года он стал замечать какие-то странности в поведении привольчан.

Во-первых, налицо было падение творческой активности. Если раньше «громადье планов» носилось в воздухе, то теперь всё как-то успокоилось, улеглось, перешло в режим вялотекущей рутины. А во-вторых... было что-то, что майор и сам толком не мог объяснить. То ли какое-то напряжение, разлитое в атмосфере, то ли какая-то недосказанность. В какой-то момент он даже

решил списать это на собственное переутомившееся воображение – шутка ли, без отпуска торчать в одном и том же месте. Может, просто мерещится всякая чепуха. Но в январе 1982-го, пару недель спустя после Нового года, произошло странное событие, которое заставило Кручинина отбросить мысли о переутомлении.

В конце января к нему в кабинет пришел Ледахин. Приходил он и до этого, и даже довольно часто. Он явно взял на себя функцию защитника прав привольчан – то есть выражал некое «общее народное мнение». Чаще всего это были какие-то претензии. Майора все это не сильно беспокоило, тем более что, как правило, все просьбы Ледахина он игнорировал, однако ему нравилось, что есть возможность быть в курсе настроений привольчан таким вот прямым и недвусмысленным образом – стукачества он не переваривал. Но на сей раз дело оказалось серьезнее, чем он предполагал, хотя правозащитник довольно долго ходил вокруг да около, явно подготавливая майора к чему-то серьезному.

– Я, собственно, пришел поблагодарить вас за то, что вы позволяете мне время от времени доносить до вас умонастроения местного населения, – начал издаലെка Ледахин и тут же поправился: – Доносить в смысле приносить, а не в смысле доносить в смысле стучать.

– Я понял, – кивнул Кручинин. – И рад, что вы рады.

– Я также признателен за то, что привольчане больше не работают на химзаводе.

– Закрытие комбината – не моя инициатива. Так что не за что.

– Правда, вот лечебницу закрыли.

– Лечебница была психиатрической и изначально планировалась для умирения наиболее буйных. У нас

там и работали-то два врача да два санитаря. Но процесс адаптации, кажется, уже давно прошел, нет?

– Конечно, – кивнул Ледеяхин и замолчал.

– А врача из соседнего города, к которому вас возят на осмотр, насколько я понимаю, пока хватает.

– Безусловно.

Ледеяхин явно не знал, как приступить к следующему этапу беседы. Майор не знал, как ему помочь. Наконец тот откашлялся и выдал следующее:

– Понимаете, на этот раз у меня есть просьба, которую иначе как деликатной не назовешь.

– К сожалению, мне запретили привозить сюда женщин, – перебил его Кручинин.

– О нет, дело совсем не в этом. Это, может, даже и хорошо. Ну, в смысле, не очень, конечно, хорошо, но, в общем, дело не в этом.

– Давайте покороче, Ледеяхин, – устало сказал майор. – Мне еще отчет писать.

– Да-да. Конечно. В общем, суть в том, что мы считаем, что надо слегка ужесточить условия содержания.

– Не понял? – переспросил майор, решив, что ослышался.

– Ну что тут непонятного? Мы кто? Мы – диссиденты. То есть в той или иной степени враги государства, так сказать, не оправдавшая доверия партии интеллигенция. Вы же сами так говорили.

– Да, – насторожился майор, который сам хоть и любил заходить издалека, но очень не любил, когда сложные логические конструкции предлагались в его адрес. Этот страх у него был еще со школы, где главный заводила и буян в классе по фамилии Хомяков, прежде чем сделать что-то большое и неприятное, задавал жертве какой-нибудь каверзный вопрос типа: «Ты ведь любишь мороженое?» – «Ну да», – отвечала жертв-

ва. «А что такое мороженое?» – спрашивал Хомяков. «Ну, это типа сладкого льда... то есть молока», – путалась жертва, понимая, что загоняет себя в угол. «Типа холодного сладкого молока?» – переспрашивал Хомяков. «Да», – заворожено шептала жертва. После чего мучитель кричал: «Ну, раз тебе нравится, получай!» – жертву хватили двое помощников, расстегивали той штаны, а Хомяков лил прямо в трусы холодное молоко и высыпал туда же громадную порцию сахара. Потом все со смехом разбежались. Причем ответить «правильно» на вопрос гнусного Хомякова не представлялось никакой возможности – у него всегда про запас был «сюрприз». Вот и сейчас майор внутренне съежился, чувствуя, что Ледяхин своими наводящими вопросами гнет в какую-то нехорошую сторону, но в какую именно – непонятно.

– Я это к тому говорю, что мы же здесь не на курорте, правильно?

– Говорите короче, – раздраженно сказал майор.

– В общем, мы считаем, что надо ужесточить условия содержания. Вот список наших просьб.

Ледяхин достал сложенный вдвое листок и положил его майору на стол.

– Заметьте, не требований, – добавил он.

– Еще не хватало, чтобы вы мне требования предъявляли, – хмыкнул Кручинин. – А кто это «мы»?

– Мы – это привольчане, – гордо ответил Ледяхин.

– У вас там что, тайные собрания происходят?

– Ну зачем? Нас здесь не так много. Можно каждого индивидуально опросить. Но... если вам любопытно, то это не секрет... Инициатива шла от Купермана.

– Вот как? – переспросил майор, который давно заметил, что именно Куперман почему-то все время оказывается в центре всеобщего внимания.

– Впрочем, – поспешно добавил Ледеяхин, – если вы его изолируете, на его место придет другой.

– Придет, придет, – отмахнулся майор. – Ладно, я ознакомлюсь с вашим списком. Это ведь не срочно?

– Нет, – выдавил Ледеяхин.

– Хотя, если там речь действительно идет о каком-то ужесточении, я не понимаю, с чего вдруг такой мазохизм.

– Ну, это вы грубовато выразились.

– Хорошо. С чего вдруг такая сознательность?

Ледеяхин набрал воздуха для ответа, но затем развел руками и выпустил воздух вхолостую.

– Понятно, идите, – мотнул головой Кручинин.

Едва Ледеяхин покинул кабинет, майор развернул листок. Надо сказать, что поначалу он решил, что все это либо неудачная шутка, либо продукт воспаленного мозга Ледеяхина, либо и то и то одновременно, но чем старательнее он пытался вникнуть в смысл написанного, тем с большим ужасом понимал, что и шуткой здесь не пахло, и сумасшествие было ни при чем. Ибо с ума, как известно, сходят поодиночке. А Ледеяхин был явно не один.

В письме был текст, состоящий из десяти пунктов, и какие-то рисунки. На рисунках майор решил пока не заострять внимание, а вот текст прочитал. И этот текст поверг его в растерянный ужас.

Уважаемое руководство!

Мы, жители ЗАТО Привольск-218 в количестве 134 человек, просим (предлагаем) нижеследующее:

1) Усилить охрану нашего города. В связи с чем предлагаем установить наблюдательные посты (вышки) по периметру всей территории города. Вышки могут быть оборудованы соответствующими прожекторами и укомплектованы воору-

женным персоналом в количестве одной человеко-единицы на вышку.

2) Во избежание осуществления побега увеличить количество колючей проволоки на бетонном ограждении Привольска-218. Также просим провести по ней электрическое напряжение. Допустим, в 220 вольт.

3) В связи с упразднением института принудительного психиатрического лечения (видимо, государству это оказалось накладным) ввести наказание за различные правонарушения в виде помещения в холодный карцер с питанием в виде воды и хлеба (макс. срок – 10 дней). План карцера (автор – заслуженный художник республики КОМИ АССР Владимир Раж) прилагается.

4) Отменить доставку в Привольск-218 дефицитных товаров.

5) Ввести ежедневную обязательную побудку, отбой, а также утреннее и вечернее построения. Предполагаемое время подъема – 7 утра. Предполагаемое время отбоя – 10 вечера. Предполагаемый предмет побудки – рельса. Рисунок рельсы (автор – заслуженный художник республики КОМИ АССР Владимир Раж) прилагается. На утренней и вечерней проверках выбранные бригадиры должны докладывать соответствующему руководству о присутствии всех подотчетных привольчан. В случае отсутствия кого-либо ввиду болезни сообщать незамедлительно. В случае несоблюдения правил построения (опоздание, отсутствие без уважительной причины) наказывать помещением в карцер сроком на 10 суток (см. пункт 3). Утреннее и вечернее построения должны сопровождаться обязательным исполнением гимна СССР, а также гимна Привольска-218. Текст гимна (автор музыки и слов К. Клюев) прилагается.

6) Ввести обыск квартир и досмотр личных вещей привольчан (шмон) на предмет конфискации запрещенных в СССР или на территории Привольска-218 предметов.

Обыск может проводиться произвольно и без соответствующего ордера.

7) С целью искоренения неравенства в Привольске-218 предлагаем отделить мужчин от женщин и поселить в разных местах. Территорию можно также разграничить бетонным забором с колючей проволокой и наблюдательной вышкой.

8) Предлагаем ввести на территории Привольска-218 обязательную униформу: мужчины – серые рубашки и штаны, женщины – серые рубашки и длинные юбки. Рисунок униформы (автор – заслуженный художник республики КОМИ АССР Владимир Раж) прилагается.

9) В целях предотвращения возможных побегов предлагаем считать любые компании свыше трех человек подозрительными, социально опасными и подлежащими разгону, при необходимости – с применением силы. В случае сопротивления подвергать нарушителей наказанию (см. пункт 3).

10) Предлагаем переселить привольчан из домов в бараки. План бараков (автор – заслуженный художник республики КОМИ АССР Владимир Раж) прилагается.

Также в связи с ограниченностью пространства Привольска-218, а стало быть, в целях элементарной гигиены предлагаем построить на территории города небольшой крематорий. Сжигание трупов умерших привольчан будет более целесообразным и экономичным. План крематория (автор – заслуженный художник республики КОМИ АССР Владимир Раж) прилагается.

Ниже располагались рисунки: барак, карцер, крематорий, рельса, одетые в робу мужчина и женщина, а также текст гимна Привольска-218.

Кручинин смотрел на все это, не понимая, как он должен к этому относиться. После слов Ледяхина он, конечно, предполагал, что в тексте будут какие-то тре-

бования (возможно, даже странные), но то, что он прочитал, заставило его крепко задуматься насчет душевной нормальности Ледеякина, а также всех остальных, кто это письмо составлял. Отпечатанное на машинке, оно своим четким канцелярским шрифтом производило леденящее душу впечатление – словно с листа на майора смотрел хладнокровный безумец. Именно хладнокровный и именно безумец. Комбинация убойная.

Ни о каких бараках, крематории, побудке, карцере и произвольном шмоне речи, конечно, и быть не могло. Государство создало Привольск-218, а не колонию строгого режима. Иначе зачем было самим себе голову морочить? Но Кручинина волновало другое. Откуда взялись эти требования? С чего вдруг такая перемена в настроении и жажда самоистязания? Тем более странно, что озвучить все это решил Ледеякин – ярый борец за права человека. Может быть, в этом был вызов? Мол, давайте, гнобите нас по полной. Но зачем? Разве им плохо живется без карцеров и крематориев? Разве их не радуют дефицитные товары? Да и что за блажь с этими вышками и пулеметчиками? Боятся сами себя? Боятся, что убегут?

Чувствуя, что от вопросов у него начала кружиться голова, Кручинин решительно встал. Закурил, взял в руки пепельницу и подошел к окну. Из окна открывался вид на площадь перед зданием НИИ. У небольшого ветвистого дуба суетились двое мужчин: то ли что строили, то ли что крепили.

– Лейтенант! – зычно крикнул Кручинин через стену.

Через секунду в дверях возник Чуев.

– Товарищ майор! – отрапортовал он. – Лейтенант Чуев по вашему приказанию...

– Отставить «по вашему приказанию». Скажи мне, лейтенант, что вон те два мазурика делают возле дерева.

Чуев даже не стал подходить к окну.

– Известно что, товарищ майор. Рельсу вешают.

– Какую еще в жопу...

Кручинин задавил сигарету в пепельнице и закашлялся.

– Блядь! Немедленно отставить «рельсу»! Обоих в карц... Тьфу! В смысле... какие у нас тут есть наказания?

– Никаких, товарищ майор. Психбольницу закрыли же. Разве что на зону отправить можем.

Кручинин застонал.

– Короче, немедленно прекратить самоуправство!

– Есть прекратить самоуправство, – рявкнул лейтенант и выбежал вон.

«Маразм, – подумал майор. – Может, и правда карцер ввести?»

XX

Хмурое небо кропило землю мелким дождем. Максим стоял на углу Нового Арбата и Поварской и, лениво позевывая, кутался в пиджак. В мокром кулаке он сжимал ручку зонта. Зонт то и дело сносило порывами ветра, и приходилось все время вертеть им, как парусом.

Было девять утра, по меркам Максима запредельная рань (что-то вроде четырех утра для обычного человека), но он совсем не рассчитывал, что Зонц будет так сильно опаздывать, тем более по такой мерзкопакой погоде. Тут даже и спрятаться было негде. Дома было бы, конечно, приятнее ждать, но Зонц сказал, что по таким пробкам заезжать за Максимом, жившим на самом юге столицы, будет потерей времени, и попросил того подъехать к Новому Арбату. Перед тем как повесить трубку, Максим хотел сказать Зонцу о смерти Блюменцвейга, но потом передумал – лучше уж с глазу на глаз при встрече.

Максим почему-то вспомнил, что одно время у Блюменцвейга была странная манера вставлять в речь какие-то древнерусские слова типа «поелику» или «токмо», чем он, признаться, сильно раздражал педагогов

и однокурсников. Потом у него это увлечение прошло. Зато появилась колоритность мысли. Так, о каком-то современном художнике он выразился следующим образом: «Его картинам мешает отсутствие таланта у автора». В другой раз он посетовал по поводу одного их общего знакомого, что тот «очень малообразован», а о каком-то эпико-героическом фильме он сказал так: «Размах бессмысленности замысла поражает не только воображение, но и все прочие области мозга».

Иногда Блюменцвейга уносило в полную неадекватность, и тогда становилось ясно, что рано или поздно им заинтересуются соответствующие органы. Что, собственно, и произошло, когда он организовал «тайное общество любителей советского гимна». Более того, Блюменцвейг придумал устав общества, в котором были указаны права и обязанности его членов, а также цель общества, которая формулировалась емко и недвусмысленно: «Любить советский гимн». Все. Никаких других целей общество, видимо, не преследовало. Кроме того, Блюменцвейг прописал в уставе, что членство в обществе является односторонним, то есть, единожды став его членом, человек уже не может покинуть организацию, а посему продолжает быть обязанным любить советский гимн до конца жизни. В уставе был и еще один не менее абсурдный пункт, который гласил, что общество имеет право записывать в свои члены любого человека без согласия последнего. Правда, этим пунктом Блюменцвейг злоупотребить не успел. На момент обнаружения общества в нем состояло всего четыре человека: Блюменцвейг, два студента (которые на вопрос, любят ли они советский гимн, естественно, ответили «да») и сосед Блюменцвейга, алкоголик Леха, который вступил в организацию за бутылку «Жигулевского» и сам же с пьяного перепугу выдал

свое членство в непонятном обществе приятелю-алкашу. Последний, не будь дураком, тут же побежал в милицию. Не иначе как перепугался, что и его в одностороннем порядке включают в члены общества.

Правда, в тот раз гэбисты связываться с Блюменцвейгом не стали (да и что предъявлять? разве что «тайность» общества), но на всякий пожарный отправили Якова на психиатрическое обследование. Врачи, однако, сказали, что он совершенно здоров. Поняв, что Блюменцвейг не идиот, «компетентные органы» взяли его на карандаш и с тех пор следили, не спуская глаз.

Максим вспомнил, что и ему Блюменцвейг предлагал вступить в свое общество. Как знать, как бы теперь сложилась его судьба, если бы он тогда согласился. Возможно, как-то иначе. Но как именно иначе, Максим, как ни тужился, представить не мог.

В этот момент, взвизгнув мокрыми покрывками, рядом притормозил серо-стальной джип с тонированными стеклами, и Максим облегченно выдохнул. За рулем, улыбаясь во все свои тридцать два сверкающих зуба, сидел Зонц. В прошлый раз джип был черный.

«Интересно, – подумал Максим, – сколько же у него машин?»

Он открыл дверцу и полез на заднее сиденье, ибо переднее было уже кем-то занято.

На заднем тоже, впрочем, сидел мужчина лет сорока, который тут же протянул руку и вежливо, но сухо представился:

- Панкратов Алексей.
- Помощник мой, – встрял Зонц.
- Максим, – поздоровался Максим.

У Панкратова были квадратная челюсть с раздвоенным подбородком и цепкий взгляд кастрированного

бульдога. Впрочем, он не был похож ни на телохранителя, ни на криминальную шестерку – скорее просто мужчина внушительной комплекции и слегка пугающей внешности. На щеках, однако, у него были ямочки, которые резко дисгармонировали с остальными чертами лица. словно природа, спохватившись, что создала столь малосимпатичный экземпляр, решила в последнюю секунду компенсировать свое упущение дурацкими детскими ямочками.

– Простите, ради бога, за опоздание, Максим Леонидович, – сказал Зонц, вырубивая на дорогу. – Готов испить свою вину хорошим обедом.

Максим промычал что-то невнятное и бросил взгляд на переднее пассажирское сиденье.

Там сидел какой-то тип с рыжей шевелюрой, которая упиралась в потолок салона. Услышав мычание Максима, он обернулся и, улыбнувшись, тоже протянул руку.

– Валентин Гусев.

Одет он был элегантно и даже слегка вычурно: особенно Максиму бросился в глаза галстук-бабочка – розовый в зеленых крапинках.

– Валентин – мой советник по финансово-экономически-юридической части, – встрял Зонц. – Высококлассный специалист.

Гусев гордо тряхнул рыжей шевелюрой, но ничего не сказал. Зонц тут же заполнил возникшую паузу.

– Вас, Максим Леонидович, возможно, удивляет, что я сам веду машину?

Максима это совершенно не удивляло, но он только пожал плечами.

– Так это потому, что люблю рулить. И разруливать. Ха-ха! А когда пускаешь другого человека за руль, ты как бы доверяешь ему свою жизнь.

– Как я вам сейчас, например, – заметил Максим.

Зонц рассмеялся.

– Да, но машина-то моя.

– Тоже верно, – согласился Максим, подумав, что по большому счету с самого рождения он находился в положении человека, доверившего кому-то свою жизнь или, образно выражаясь, едущего в чьей-то машине. В советское время это были сначала родители, потом педагоги, потом власть. Затем за штурвал взялась жена, заставлявшая его ходить по всяким ОВИРа́м, а позже – учить иврит и искать работу в Израиле. В Америке он зависел от эмигрантской тусовки, которая давала ему работу. В новые времена он ни от кого не зависел, но это была независимость ненужного человека.

Максим подумал, что ехать в чьей-то машине иной раз приятнее и надежнее, чем быть вовсе выброшенным из нее. Но где кончаются зависимость и компромисс и начинаются самоотречение и потеря своего «я», он не знал. А что если покойный Блюменцвейг был неправ насчет убогости простого человеческого покоя? Что если искусственное (от слова «искусство») будоражение жизни – бессмыслица? И не надо взваливать на себя неподъемный крест миссионера. А надо просто плыть по течению жизни, стараясь принять максимально удобную позу...

Максим почувствовал, что снова засыпает. Он прикрыл глаза, но тут же стукнулся виском о стекло. Ехали они на этот раз очень быстро, и джип слегка заносило на поворотах, швыряя покорные тела пассажиров из стороны в сторону. Видимо, так Зонц пытался компенсировать свое собственное опоздание. При этом он явно злоупотреблял своей принадлежностью к власти предрежающим. По крайней мере создавалось впечатление, что он только и ждет, что их остановит какой-нибудь добросовестный гаишник, которому

можно будет ткнуть в нос красную или какую-то там корочку. Панкратов молчал. Молчал и Гусев. Возможно, причиной тому было их подчиненное положение. Зонц обернулся к Максиму и вопросительно вздернул подбородок:

– Есть новости?

– Блюменцвейг, например, погиб, – сказал Максим каким-то будничным голосом.

– Вот те раз! – воскликнул Зонц и поцокал языком. – Вы что ж, ходили к нему?

– Да нет... Позвонил просто.

– Мда-а... Жаль. Хотя он и был слегка чокнутым. Он ничего вам не передавал?

– В каком смысле?

– Ну я не знаю.

– Да нет. И с чего бы он мне стал что-то передавать?

Он же не болел, а под поезд попал.

– Понятно... Будете сегодня брать интервью?

– Не знаю... Как получится... Я взял диктофон на всякий случай. Там видно будет.

– Это точно.

Максим какое-то время подождал, не получит ли беседа продолжение, но, не дождавшись никакой реакции со стороны Зонца, закрыл глаза и вскоре задремал. Он снова перенесся в гостиную с телевизором. Снова по бокам сидели жена и дочка. Снова у ног лежал пес. И снова, откуда ни возьмись, завывала сирена. Максим расцепил слипшиеся веки и зачмокал пересохшими губами. Сиреной оказался гудок Зонца.

– Ты дашь мне проехать или нет?! – кричал Зонц, отчаянно сигналив едущему впереди грузовику, которого мотало по всей дороге, как пьяного. Наконец Зонц чертыхнулся, пересек двойную сплошную и обогнал

того по встречной. Мужик за рулем грузовика посмотрел на сидящих в джипе и дружелюбно-враждебно осклабился.

– Далеко еще? – пробормотал Максим и потянулся.

– Почти приехали, – ответил Зонц. – Только сначала перекусим.

Максим почувствовал, что у него нагрелись колени. Пока он спал, дождливая погода сменилась небывалой жарой. Выглянувшее солнце ударило по мокрому асфальту, и теперь тот дымился, как будто они ехали по дороге в ад. От земли тоже шел пар. В салоне стало невыносимо душно, и Зонц включил кондиционер.

Еще через четверть часа они припарковались напротив небольшого придорожного кафе, сложенного в виде бревенчатой избы.

– Привал, – коротко выдохнул Зонц и заглушил мотор.

Помощник сурово сказал, что не голоден и потому посидит в машине.

– Как знаешь, – сказал Зонц и вышел из джипа. Следом из салона выкарабкались Гусев и Максим.

Из динамиков, установленных под карнизом крыши кафе, неслось что-то шансонное про фраера, фуфло, зону и горькую судьбу.

Гусев, поправив бабочку, вежливо заметил, что, кажется, Зонц выбрал не самое удачное место для перекуса. Зонц сказал, что, во-первых, Гусева как юриста не должен смущать лагерный шансон – в этой стране все живут давным-давно как на зоне, то есть по понятиям. А во-вторых, до Привольска еще час езды, а потом времени на еду вообще не будет. Максим отказался от комментариев. Как говорится, и не в таких едали.

В кафе было тихо и душно. Под потолком сонно шуршал огромный вентилятор, гоняя своими грязно-белыми лопастями теплый воздух по деревянным столам и стульям. На полу у барной стойки спал жирный кот. Изредка он поднимал свою осоловевшую от еды и жары морду и, щуря правый глаз, водил ленивым взглядом по помещению, как бы проверяя, все ли в порядке. Затем безвольно ронял тяжелую голову на бархатные лапы. И каждый предмет, и каждое живое существо в этом сонном царстве было под стать этому коту. Даже мухи, казалось, летали как-то неуклюже и тяжело, словно продирались сквозь вязкий воздух. Неудивительно, что и официантка, плечистая баба неопределенного возраста, стоявшая за стойкой, подошла к столу новоприбывших посетителей не сразу, а только тогда, когда Зонц, которому надоело ждать, громко хлопнул в ладоши. Впрочем, звук этот как будто бы тут же утонул в густом киселе липкой атмосферы. До официантки он, впрочем, долетел. Она сгребла в охапку несколько экземпляров заламинированных меню, выплыла из-за стойки, переступила через кота и подошла к столику.

– Любезная, – в какой-то церемонной дореволюционной манере обратился к ней Гусев, – мне бы сразу, если можно, воды какой-нибудь похолоднее.

– Вы меню посмотрите сначала, – сказала официантка не то чтобы вежливо и не то чтобы недружелюбно, а где-то за гранью вообще всякой эмоциональной краски. Казалось, даже слова выползли из ее рта, тяжело перевалившись через нижнюю губу, кряхтя и жалуясь на жизнь. Она протянула три меню, после чего вернулась к стойке, лениво покачивая внушительным задом. Заметив ее приближение, кот поднял голову и как будто сочувственно посмотрел на нее – бедная, тебе еще

и двигаться надо. Потом лизнул шершавым языком лапу и тут же уронил голову, словно обессиленный этим чудовищным напряжением мышц.

– Понятно, – согласился Гусев почему-то с опозданием и уткнулся в меню.

– А мне здесь нравится, – бодро сказал Зонц и закурил. – Заметьте, Максим. Жизнь здесь течет по своим законам. Точнее, понятиям.

– Жизнь здесь, по-моему, вообще не течет, – мрачно ответил Максим, изучая нехитрое меню.

– Пускай, – легко согласился Зонц. – Пускай стоит. Но пока мы где-то в нашем мире спорим об искусстве, интеллигенции и тэ дэ, здесь, всего в нескольких часах езды от столицы, все замерло, как вода в зарослях камыша. И кому какое дело, что мы там вообще думаем? Хоть мы на головы встанем, тут ничего не изменится.

– Вы говорите довольно банальные вещи, – не поднимая головы, заметил Максим, пытаясь понять, что означает указанное в меню блюдо «уха (куриная)».

– Банальные, стало быть, верные, – парировал Зонц. – Я все думаю о Блюменцвейге.

– И что же надумали?

– Что все его эти организаторские дела, весь этот его бунт против реальности были следствием пожирающей его болезни. ВИТЧ.

На этих словах Зонц устрасшающе вытаращил глаза и засмеялся.

– И вообще он должен был хлопнуть дверью. Погибнуть на греческих баррикадах, как Байрон. Но, увы, – Зонц развел руками и цокнул языком, – он свалился под поезд.

Максим слегка покоробила уничижительная ирония этого сравнения.

– Байрон погиб не героически, а просто сильно простудился под дождем, катаясь на лошадях.

– Да? – удивленно приподнял брови Зонц. – И все же не надо из Блюменцвейга делать Дон Кихота.

– То есть полубезумного идиота, мчащегося с копьем наперевес на выдуманные им же самим мельницы?

– Ну если в таком смысле, то сравнение уместно. Даже более чем. Нет, я имел в виду, героизировать его не надо.

– А я и не героизирую, – возразил Максим. – Просто думаю, что он был единственным, кто пытался менять реальность. Кто тревожил это вечное болото. А в движении – жизнь. Да, Блюменцвейг был отчасти провокатором, но разве не должен быть художник провокатором?

– Художник никому ничего не должен, – парировал Зонц.

Но Максим уже завелся.

– Ну почему же? Художник должен своему таланту. А истинный талант – всегда провокация. Только не в банальном понимании. Разве талант не провоцирует мысль читателя, воображение зрителя, душу слушателя на какое-то движение? Я лично говорю о таком роде провокации.

– Да я вовсе не хочу обидеть покойного, тем более что он обладал исключительными организаторскими талантами. Да и креативщик, как сказали бы мы сейчас, был тоже от бога. Но все его общества «Россия для русских-нерусских» и «Театры дегенератов» – все это потонуло, нисколько не изменив реальность. Ни реальность, ни жизнь самого Блюменцвейга. Какой-то перпетуум мобиле на холостом ходу. Впрочем, я вообще не уверен, что искусство может или должно что-то менять.

Смущенный таким выводом из уст работника культуры, Максим хотел что-то возразить, но в их спор неожиданно вклинилась подошедшая официантка.

– Бдте заказывать? – спросила она, проглотив почти все гласные, словно по такой жаре сэкономила даже дыхание.

Зонц и Максим быстро отбарабанили свои заказы. Лишь Гусев долго мялся, что-то расспрашивал, чем начал явно раздражать официантку. Наконец он тоже выбрал себе еду и откинулся на спинку стула, запроляя себе под подбородок белую бумажную салфетку.

– А кто этот ваш Блюменцвейг? – спросил он.

– Да был один, – элегантно прихлопнув зазевавшуюся муху, сказал Зонц. – Выдумал болезнь какую-то, все пытался реальность расшевелить. Но бесплодно. Потому что бессистемно. То есть без понимания механизмов этой реальности. Человека несло, человека мотало, человека замотало и пронесло. Ха-ха!

– Я Блюменцвейга не знал, – откашлявшись, сказал Гусев. – Но как только слышу о каком-то там изменении реальности, сразу спрашиваю, а что есть эта ваша реальность. Увы, эта штука так же непостоянна и относительна, как и все другое.

– Ну, это все философия, – неожиданно резко и даже зло перебил его Зонц. – Реальность – это то, что мы сидим сейчас в этом кафе, где даже мухи покорно ждут, пока я их прихлопну, как будто совершают сознательное самоубийство. А люди – те же мухи. В основной массе. Зазевался – тебя прихлопнули. Летаешь – живешь. Вот она – реальность. И вот ее вечный закон. Проблема в том, что слишком много зазевавшихся, – неожиданно зло добавил он в конце.

– И их надо прихлопнуть? – удивленно приподняв брови, спросил Максим.

– Не знаю. Может быть. Общество и так болтается как говно в проруби. Ни туда, ни сюда. Вечная кома какая-то. И если единственный способ расшевелить это общество – это его добить, чтобы начать все с нуля, то почему бы нет? Падающего подтолкни. Тонущего утопи. Задышающегося задуши.

Зонц заразительно рассмеялся, но Максим на сей раз даже не улыбнулся.

– Спасибо, концепция примерно ясна. Тем более что она не нова. «До основания, а затем»?

– Типа того. Изучайте заветы Ильича.

– Что?

– Изучайте заветы Ильича.

– Вы о чем? – растерялся Максим.

– Долго объяснять, – усмехнулся Зонц.

– По поводу реальности – это вы зря, – продолжил Гусев. – Я вовсе не имел ничего такого уж гипотетического. Реальность – это то, что вы видите, и то, как вы ее воспринимаете. То есть сплошная субъективность. Вот вы сейчас ждете суп. И думаете, что будете есть суп и только суп. Такой вам представляется ваша реальность?

– Ну да, – растерялся Зонц.

– А реальность такова, что эта официантка плюнет вам в тарелку или еще чего хуже. И будете вы, сами того не подозревая, есть не суп, а плевков официантки.

– Типун вам на язык, товарищ Гусев, – поморщился Зонц.

– Вот вам и реальность, – рассмеялся Гусев. – Самая что ни на есть объективная.

Зонц на секунду смешался, хотел что-то возразить, но тут официантка принесла заказ и стала расставлять тарелки. Спор как-то сам собой сошел на нет. Гусев взял ломоть черного хлеба, отломил от него кусок и принял-

ся жадно есть суп. Зонц посмотрел на свою тарелку с борщом, но прежде чем приступить, осторожно и брезгливо повозил в ней ложкой, словно искал что-то. Заметив насмешливый взгляд Максима, он криво улыбнулся и демонстративно смело зачерпнул ложкой багровую гущу.

Когда они подъехали к Привольску-218, было около пяти дня. Зонц, утомленный вождением, тут же выскочил из машины и принялся как умалишенный вертеть головой и туловищем, разминая застоявшиеся мышцы. Следом выкарабкались пассажиры. Самым помятым выглядел почему-то Максим. Гусев, который после сытного обеда в кафе быстро задремал, выглядел чуть лучше – он стоял, оперевшись на машину, и заразительно зевал. Лучше всех выглядел, впрочем, Панкратов. По крайней мере на лице у него не было и тени усталости.

– Ну что? – громко сказал Зонц, подходя к остальным. – Начнем процесс мирных переговоров?

Максим почему-то подумал, что, если бы сейчас была зима, Зонц наверняка бы зачерпнул снега из сугроба и сунул бы его в рот. Потом бы встряхнул мокрой рукой, достал бы платок из кармана и вытерся. Во многих фильмах самые активные (начальники разведотрядов, партизанские командиры) перед решительными действиями любили зачерпывать снег и хрустеть им, улыбаясь во весь рот. «Кажется, я уже сам живу в другой ре-

альности», – подумал Максим и с досадой пнул носком ботинка сухую кочку.

Затем все четверо тронулись к воротам. Там Зонц стукнул кулаком по железной двери и на всякий пожарный прикрыл ладонью лицо от возможного света прожектора. Но на сей раз ничего не щелкнуло, не вспыхнуло, не ослепило. И совсем не сверху, а скорее наоборот, откуда-то снизу раздался обычный человеческий голос:

– К Куперману?

– В общем, да, – завертел головой Зонц, пытаясь понять, откуда идет звук, и добавил загадочно-магическое «нам назначено».

Ответа не последовало, но через пару минут появился сам Куперман. Он настороженно осмотрел гостей, кивнув только Максиму.

– Здравствуйте, Семен Борисович, – начал Зонц. – Прошу любить и жаловать. Это Валентин Гусев. Он нам поможет в решении финансовых вопросов. Максима вы уже знаете. А это мой помощник. Ну, а я – Зонц Изя Аркадьевич. Курирую культурные вопросы и в частности ваш... э-э-э... Привольск.

Куперман пожал всем по очереди руки, а затем, мотнув головой, как экскурсовод, зовущий за собой туристов, нырнул в скрипучую дверь. За ним нырнули остальные. Первым Максим, затем Панкратов, Зонц и наконец Гусев. Они поднялись на КПП с молчаливыми автоматчиками и стали спускаться по ступенькам. Максиму не терпелось поскорее увидеть город – он едва ли не раньше Купермана спрыгнул на землю Привольска, но почти тут же застыл, скривив губы в глубоком разочаровании: пейзаж, который открылся ему и его спутникам, впечатлял разве что своей запредельной унылостью: кривая улица, ведущая в никуда, серобетонное

здание НИИ, пара пятиэтажек и густые, почти в человеческий рост, заросли крапивы, тянущиеся вдоль блочного забора с колючей проволокой.

– С такой крапивой и проволоки не надо, – усмехнулся Зонц и шутливо ткнул Панкратова локтем в бок.

– Машина времени, как она есть, – хмуро кивнул Панкратов.

Что-то подобное, должно быть, испытывали западные немцы, забредшие после падения берлинской стены на территорию ГДР. А чего, спрашивается, ожидали?

Куперман пропустил все реплики гостей мимо ушей и, ничего не говоря, двинулся к зданию НИИ. Гости засеменили следом.

– Если захотите, потом могу устроить экскурсию по нашему лагерю, – сказал Куперман. – Вон там, например, находится бывший крематорий.

Он ткнул пальцем в полуразрушенное здание за зданием НИИ.

Зонц с Максимом переглянулись.

– А вон там находится наш мемориал, – продолжил Куперман. – Отсюда не видно, институт загораживает, но, если будет желание, можете сходить посмотреть. Мы, кстати, идем по бывшей улице Ленина. Теперь она носит имя майора Кручинина. А пересекает ее бывшая Коммунистическая. Теперь улица Блюменцвейга. Так мы решили увековечить наших героев.

– А Блюменцвейг-то умер недавно, – сказал Максим.

– Как это?

– Под поезд попал.

– Жаль, – покачал головой Куперман. – Но это даже лучше. В честь живого улицу называть как-то неудобно, а теперь вроде все законно.

Кажется, он был даже доволен, что смерть Блюменцвейга узаконила переименование улицы.

У самых дверей института он обернулся и тихим, почти извиняющимся голосом сказал:

– Мы тут, может, слегка одичали, поэтому вы же не сердчайте, ежели что. Судьба-то нас не баловала.

Куперман открыл дверь и стал пропускать вперед себя прибывших: в фойе НИИ уже слышался гул голов – их явно ждали.

После слов Купермана Максим почему-то ожидал увидеть персонажей с картины «Отступление Наполеона из России» – рваная обувь, дырявая одежда, жалкие остатки бывлой гвардии. Но, ступив в холл, где толпились привольчане, сразу увидел, что ошибся. Все старики были довольно прилично одеты и обуты. Хотя физически выглядели, конечно, не ахти: старость – не радость. Никого из тех, кого он знал когда-то лично, кроме Купермана, здесь не было. Видимо, умерли.

Завидев гостей, старики, которые стояли в ряд, зашумелись, как школьники, которым в класс привели новеньких.

– Товарищи привольчане, – поднял руку Куперман. – Время идет, а мы не молодеем...

Словно в качестве иллюстрации к этим словам кто-то из стариков зашелся в сухом трескучем кашле.

Куперман переждал кашель.

– А это товарищи из Министерства культуры. Как я и говорил уже, здесь будет организован музей концлагеря Привольск-218. И все мы примем участие в его работе. И таким образом продолжим наше существование таким образом.

Дважды повторенное «таким образом», как ни странно, хорошо закольцевало мысль Купермана, и он замолчал. Затем вздрогнул.

– Среди них, кстати, есть и наш коллега, искусствовед Максим Терещенко, который лично знал Блюменцвейга.

При упоминании имени Блюменцвейга старики зашелестели, как осенняя листва. Максим кивнул, но на всякий случай не очень уверенно.

– Здравствуйте, товарищи, – бодрым голосом физрука сказал Зонц.

В холле сразу воцарилась тишина. Потом кто-то чихнул.

– Будьте здоровы, – сказал Зонц и улыбнулся. – В общем, ситуация такая. Дней на двадцать, максимум месяц, вы все покинете Привольск и получите бесплатное жилье на окраине города С., а также денежную помощь. Сразу по окончании первичного осмотра по определению объема необходимых работ желающие смогут вернуться в Привольск.

– А когда же музей будет готов? – спросил кто-то.

– Думаю, приблизительно через три-четыре месяца. Объем работы не позволяет сделать это в более короткие сроки. Сами понимаете, надо менять канализацию, трубы, проводку, отремонтировать дороги и здания. Затем надо будет определить детали организации музея, расположение объектов, дорожки для туристов и прочее. В этом мы, кстати, очень рассчитываем на вашу помощь. Но давайте только обсуждать это не здесь, а...

– Прошу вас в конференц-зал, – засуетился Куперман, указывая на большую дубовую дверь в конце холла.

Зонц что-то шепнул Панкратову на ухо, и тот кивнул.

– Я, пожалуй, пройдусь, – тихо сказал Максим Зонцу. – Я ведь не нужен?

– Что? А-а. Да. Идите. Только далеко не отходите.

На улице Максим закурил и огляделся. Куда идти, он не знал. Вдали виднелся химкомбинат. К нему вела ули-

ца Ленина, то бишь теперь майора Кручинина (именно на ней и находился НИИ). Ее пересекала другая. К пересечению Максим и отправился. На углу стояло здание продмага с заколоченными дверьми. Кривая табличка на магазине гласила: «Улица Блюменцвейга, д. 1». «Бывшая Коммунистическая» было приписано от руки чуть ниже. Словно кто-то здесь мог заблудиться. То, что две единственные улицы Привольска были переименованы, Максима не удивило – он был готов к изгибам местной логики, – но то, что он увидел, подойдя к магазину, поразило его воображение. Можно даже сказать, Максим остолбенел. Он помнил слова Купермана о скрытом за зданием НИИ мемориале, но такого все-таки не ожидал. Это была огромная бронзовая скульптурная композиция метров в пятнадцать высотой. Оставалось только гадать, где, да и на какие средства, Горский (а это была явно его рука) умудрился ее отлить. Композиция изображала двух мужчин, один из которых сидел на чем-то вроде поваленного дерева, другой стоял, глядя куда-то вдаль. Сидевшим, судя по телогрейке, был Блюменцвейг. Стоявшим, судя по военной форме, был майор Кручинин. Вся композиция напоминала памятник Минину и Пожарскому. Единственным отличием (скорее даже идеологического характера) было то, что Минин и Пожарский собирались изгонять врагов, а Кручинин и Блюменцвейг сами собирались убежать. По крайней мере это следовало из названия композиции «Перед побегом», которое Максим прочитал, когда подошел к основанию скульптуры.

«Да... на такую славу, думаю, даже Блюменцвейг вряд ли рассчитывал», – подумал он, запрокидывая голову и рассматривая детали творения Горского. Потом он опустил голову и стал рассматривать большой стенд, который находился на пьедестале и был посвящен

Привольску и его жителям. Он так и назывался: «Из истории лагеря Привольск-218». Под толстым стеклом стенда была приклеена пара десятков черно-белых фотографий с подписями. В частности, была фотография трансформаторной будки, под которой стоял следующий текст: «Знаменитая трансформаторная будка, в которую врезался Файзуллин А.И., предпринявший знаменитую попытку перелететь забор Привольска на знаменитом самодельном дельтаплане». Была еще размытая фотография какой-то норы с подписью: «Знаменитый лаз, через который Я. Блюменцвейгу удалось осуществить свой знаменитый побег под носом у охранников знаменитого привольского концлагеря». Были тут и фотографии крематория, и карцера, и даже каких-то невнятных орудий пыток. Единственное, что смущало Максима, – это количество слова «знаменитый» во всех подписях. Практически каждое описание фотографий на стенде начиналось именно с этого слова: «Знаменитое дерево, под которым...», «знаменитый кирпич, которых...», «знаменитый гвоздь, с помощью которого...» и так далее. Казалось, привольчане были уверены, что, как только мир узнает о Привольске, все здесь обрстет легендами и станет знаменитым, поэтому они решили заняться, так сказать, подготовкой почвы. Это напомнило Максиму семью одного его знакомого художника. Когда он пришел к ним в гости в первый раз, не сразу смог понять, в какой системе летоисчисления те живут. Он спросил художника о том, когда была написана какая-то картина. Жена художника ответила за мужа: «Эта картина была закончена совсем недавно». Неожиданно муж возразил: «Ой, ну что ты! Это ж было до банки!» Жена поспорила: «Нет, после банки!» «А я говорю, до! – вскипел муж. Максим недоуменно вертел головой, пытаясь понять, о чем идет речь. Затем появился мало-

летний сын художника и сказал, что мама права, что картина была закончена где-то с год после банки. «А я говорю, год до банки!» – разозлился глава семейства. «Да ты вспомни! – всплеснула руками жена. – Два года после банки у тебя была выставка, и к ней ты и закончил картину!» Чувствуя неумолимо надвигающееся сумасшествие, Максим поинтересовался, о какой банке идет речь и почему все исчисляется до нее и после нее, как до Рождества Христова и после. Оказалось, три года назад у художника на кухне появилась пятилитровая банка с компотом из сухофруктов. Причем не покупная, а явно ручной, так сказать, работы. Никто не знал, откуда эта банка появилась и кто ее принес. Сами они компот никогда не варили, да и не очень любили. Если же это был кто-то из гостей, то тоже странно: кто ж ходит в гости с пятилитровыми банками? Так или иначе, все события в их жизни незаметно поделились на «д. б.» (то есть до банки) и «п. б.» (то есть после банки). Кому-то это могло показаться диким, но сами они не только привыкли к подобному календарю, но и умудрились приучить к нему некоторых из своих гостей. По крайней мере Максим собственными ушами услышал, как на одной из посиделок приятель художника, поэт Зубцов, пытаясь поточнее вспомнить, когда познакомился с художником, сказал, что это было после банки. Вообще, если вдуматься, то ничего такого уж удивительного в этом нет. В конце концов, время есть понятие относительное и у разных народов исчисляется по-разному. У евреев отсчет идет с Сотворения мира. У христиан с Рождества Христова. У японцев и того хлеще: каждый раз с начала правления очередного императора (то есть дальше сотого года они физически не могут двинуться?). Почему бы в таком случае не принять летоисчисление, в котором главной точкой отсче-

та будет появление на кухне банки с компотом? Все нормально. Немного, конечно, странно, но не более. Похоже, что привольчане тоже жили в своей системе координат. По крайней мере Максим бы не удивился, если бы узнал, что в Привольске и время тоже течет по каким-то своим законам, и на дворе стоит совсем не двадцать первый век, а все еще конец двадцатого или, например, просто первый век.

Вернувшись от этих мыслей к стенду, Максим бросил на фотографии и скульптуру прощальный взгляд и пошел дальше по улице имени Блюменцвейга: мимо здания кинотеатра и небольшого скверика. Но уже через несколько минут уперся в стену – Привольск был истину небольшим городком. Возвращаться в НИИ не хотелось, но деваться было некуда. Разве что на бывший химзавод наведаться. Но туда почему-то не тянуло. Максим посидел какое-то время на лавочке, потом покурил на ступеньках полуразрушенного кинотеатра, в котором явно давно не шло никакое кино. Затем встал и еще немного прогулялся. Обогнул здания НИИ и нашел «знаменитую» трансформаторную будку, в которую врезался знаменитый Файзуллин. Правда, он ожидал увидеть на ней мемориальную доску, но до этого, видимо, руки у привольчан еще не дошли. Наконец вернулся в НИИ. По дороге встретил несколько бредущих из института привольчан.

«Надо же, – подумал Максим, глянув на часы. – Упались за полтора часа».

В холле института было пусто. Максим зашел в конференц-зал. Привольчан там уже не было, но оставались Куперман, Зонц, Гусев и Панкратов. Панкратов сидел на стуле в углу и равнодушно ковырялся во рту зубочисткой. Куперман и Зонц о чем-то говорили, облокотившись о сцену. Рядом за столом, заваленным мно-

гочисленными листками, бланками договоров, бухгалтерскими ведомостями и прочим, сидел Гусев и что-то торопливо писал.

– А-а, вот и наш литератор, – радостно воскликнул Зонц, увидев Максима. – Ну что, трогаемся, а? Валентин Игоревич?

– Да-да, – сказал Гусев и принялся собирать бумаги.

– Мне бы надо поговорить с Семеном, – робко заметил Максим. – По поводу альманаха.

– Так я это и имел в виду, – сказал Зонц. – Сидите, общайтесь. А мы с Валентином Игоревичем пока пройдемся по территории лагеря. Вы не против? – повернулся он к Куперману.

– Да нет, – пожал тот плечами.

– Ну вот и отлично. А вас, Максим, будем ждать через полчаса в машине. Пошли, – мотнул головой Зонц Гусеву, и они вышли. Панкратов, кивнув Куперману на прощание, вышел следом.

– Ну а что ты, собственно, хочешь знать? – спросил Куперман, сядя на стул, где только что сидел Гусев.

– Как что?! – удивился Максим и, присев на сиденье в первом ряду, достал диктофон. – Как «Глагол» организовывался. Кто стоял у истоков. Сам подумай – из тех людей, кроме тебя, никого нет. К кому же мне еще обращаться? Авдеев умер, Файзуллин тоже, Блюменцвейг, как видишь, тоже.

Куперман поскреб щеку.

– Да как-то все просто было. Позвонил мне Авдеев. Говорит, что есть, мол, идея сделать такой альманах. Нет ли, мол, у меня желания поучаствовать. Я и дал свой рассказик. Вот и все.

Информация была настолько сухой и исчерпывающей, что Максим растерялся.

– Ну а как происходили собрания, обсуждения?

– Да, в общем, спокойно. Мы же не были подпольщиками какими-то. Хотя, конечно, понимали, что резонанс будет. По крайней мере со стороны КГБ.

Тут Куперман стал припоминать какие-то детали, но все они были скучными и для книги совершенно не годились. Максим подумал, что, кажется, придется многое додумывать. Конечно, художественность не помешает, но не в таком же количестве. К тому же Купермана все время относил к теме Привольска, лагеря, подавления свободы творчества и личности, и Максиму приходилось, образно говоря, за шкуру возвращать оратора к теме «Глагола».

После получаса невнятной беседы Максим выключил диктофон.

– Ладно, Семен. Я поднакоплю вопросов и приеду еще, если ты не возражаешь.

– Валяй, – равнодушно отозвался тот.

Они встали и пожали друг другу руки на прощание.

– Извини, Максим, – сказал Куперман, как будто смутившись. – А ты сам-то этому Зонцу доверяешь?

– А что? – смутился Максим.

– Не знаю... Как-то он все время улыбается странно...

– Ну что ж теперь поделать, раз он улыбчивый такой?

– Да нет... улыбается он как-то... недоверчиво, что ли... да и про Блюменцвейга как-то пренебрежительно выразился...

– Это как?

– Ну, я предложил почтить память Блюменцвейга минутой молчания, мол, погиб человек, а он как-то хмыкнул и сказал, что, мол, нечего было шляться по Павелецкому вокзалу в столь поздний час. Нет, потому что он поправился, извинился даже, но как-то было неприятно...

Максим почувствовал, как по спине проползло что-то холодное и липкое.

– Какому вокзалу? – переспросил он.

– Что? А-а... Павелецкому.

Максим рассеянно еще раз пожал руку Куперману и вышел из зала.

Всю дорогу до КПП он снова и снова прокручивал в голове эту странную реплику Зонца по поводу Блюменцвейга. Проблема была в том, что место смерти последнего Максим и сам не знал. А стало быть, и Зонцу сообщить об этом не мог. Откуда ж такая точность? Не мог же Зонц брякнуть про Павелецкий вокзал просто так. Можно было бы, конечно, спросить у него напрямую, но почему-то не хотелось.

Покинув территорию Привольска и сев в машину, где его уже дожидались, Максим стал мучительно вспоминать все подробности его разговоров относительно смерти Блюменцвейга. Попал под поезд... дней пять назад, сказала сестра хозяйки квартиры... обои надо менять... черт! При чем тут обои? Ах, там же были полки с книгами... и что? Нет, все правильно... там была библиотека... А что с библиотекой? Библиотеку забрал двоюродный брат... Двоюродный брат... но у Блюменцвейга не было родственников!

Максим почувствовал, что по позвоночнику, перебирая своими липкими холодными лапками, снова ползло что-то неприятное до омерзения.

Как же он мог это забыть? Ведь и сам Блюменцвейг ему об этом сказал. А двоюродный брат – не такая родня, чтоб ее так легко запомнить. Это ж тебе не четвероюродный племянник какой-нибудь.

Максим почувствовал, что уткнулся в тупик. Всю дорогу до Москвы мысли о Блюменцвейге крутились в его голове, как белье в стиральной машине. Вот только дав-

ным-давно закончилась и стирка, и отжим, и сушка, а барабан все крутился и крутился.

Изредка Зонц что-то говорил ему, но Максим каждый раз отвечал таким рассеянным «а?», что Зонц вскоре отстал.

Наконец за окном потянулся подмосковный пейзаж: бесконечные рынки бытовой техники, шиномонтажи и бензоколонки. Максим попросил не подбрасывать его до дома, а, что называется, выкинуть у первого метро. Впрочем, кажется, до дома его везти и не собирались.

Инцидент с рельсой был довольно быстро улажен и забыт. Чего нельзя было сказать о требованиях. Ледашкин, впрочем, не интересовался их судьбой, да и сами привольчане на эту тему не говорили, но майор упрямо хранил эту бумажку у себя, размышляя, надо ли прикладывать ее к отчету в центр или нет. Решил обождать. Но с того момента стал присматриваться к своим подопечным – не учудят ли еще что. Внешне все выглядело пристойно, но за каждым ведь слежку не установишь.

Какое-то время было тихо. Даже социальная активность (которая начала слегка нервировать Кручинина) как-то сошла на нет. Никто не выражал протеста. Никто не конфликтовал. Жалобы полностью прекратились. Все отчеты майора, посылаемые в центр, дышали уверенностью в завтрашнем дне и полном контроле над ситуацией. Элитное ЗАТО Привольск-218 был в полном порядке.

Если бы не одно *но*. То самое *но*, которое почему-то отчаянно портило настроение майору и заставляло его снова и снова мысленно возвращаться к тем idiotским требованиям об ужесточении режима. Малень-

кое, гнусное *no*. Все творческие начинания, на которые возлагалось столько надежд, еще в восемьдесят первом году стали сами собой сходиться на нет. Газета «Правда-218» постепенно превратилась во что-то среднее между доской объявлений и школьной стенгазетой. В объявлениях писали что-то типа «куплю-продам», «ищу», «недорого отдам». А в художественной части помещали какие-то не очень смешные сатирические фельетоны и карикатуры. В них высмеивался то продмаг номер 1 (всего в Привольске их было три), потому что там кого-то обхамили, то просто какой-нибудь недобросовестный житель Привольска. А к середине 1982 года даже этого не стало, ибо газета почилла в бозе. И надо сказать, что главред Тисецкий не предпринимал никаких попыток реанимировать свое детище. Скульптор Горский забросил свою композицию, посвященную жертвам сталинизма. Нет, для начала он попытался взбодрить сам себя, переименовав его сначала в памятник жертвам ленинизма, потом в памятник жертвам марксизма-ленинизма, а после и вовсе в памятник жертвам вообще коммунизма, но эта новость не вызвала ни с чьей стороны никакого интереса, и все застыло где-то на уровне эскизов. А ведь в свое время в родном Воронеже стоило Горскому однажды ляпнуть, что он собирается ваять памятник писателю Платонову (уроженцу тех мест), так шуму было столько, как будто он уже этот памятник слепил и поставил на Красной площади. Художник-авангардист Раж нарисовал цикл невнятных полотен, которые сам же и сжег в мусорном баке – настолько они ему не понравились. Ревякин, который якобы писал «антисоветский роман», написал на самом деле всего одну главу про Ленина под многозначительным названием «Детство Антихриста». Но суть

была в том, что он всего лишь подробно описал (или, точнее, переписал из разных источников) детство Ленина без какой-либо интерпретации, если не считать заголовка. Дальше дело не сдвинулось. Перечитав написанное, он понял, что на таком жалком фоне любой Бонч-Бруевич и то выглядел бы Солженицыным. А посему бросил начатое. Театральные инициативы Вешенцева тоже приказали долго жить. Драматург Певчих долго писал какую-то пьесу про завод, где все пролетарии воровали и пьянствовали, но сюжет получился не шибко интересным – скорее перевертыш классического советского конфликта хорошего с лучшим, только у Певчих это был конфликт плохого с ужасным. Но вышло как-то плоско и нежизнеподобно. Даже Буревич, которая начала было писать поэму про узников Привольска-218, быстро потеряла к теме всякий интерес. Чего уж говорить про ярую антисоветчицу Кулешову, которую еще в 80-м выпустили из «застенок», поняв, что угрозы она не представляет. (Тем более что психлечебницу было решено упразднить.) Она так растерялась при виде общей апатии, что все ее планы по подготовке восстания или хотя бы подполья улетучились, словно и не существовали вовсе. Единственным, кто плодотворно трудился, был Яков Блюменцвейг. Он написал поэму в честь КГБ (с упоминанием майора Кручинина), два романа с говорящими названиями «Коммунизм не за горами!» и «Ленинский завет», а также цикл стихов под названием «Родина моя – Привольск!», чем, как ни странно, сильно всех разозлил. Отчасти потому, что, несмотря на все комфортные условия, привольчане считали дурным тоном «лизать задницу власти». Отчасти потому, что не очень понимали, насколько искренне Блюменцвейг писал эти стихи. Кроме

того, всех раздражала его плодотворность на фоне общего творческого безрыбья. Особую ненависть вызвал многостраничный труд под названием «И вновь продолжается бой!», где Блюменцвейг на полном серьезе доказывал, что все обвинения сталинского режима в адрес репрессированных были абсолютно справедливыми, а все, что писали тогдашние газеты, — чистая правда. Так, пользуясь неведомо откуда взятыми документами (то ли подлинными, то ли вымышленными, скорее всего последнее), Блюменцвейг подробно и последовательно доказывал, что обвиненные в шпионаже действительно были шпионами (приводились тайные договоры, разговоры, выдержки из переписки Бабеля, Мейерхольда и прочих со своими «хозяевами»), врачи-вредители действительно были «убийцами в белых халатах», а Михоэлса никто не убивал, поскольку он и вправду был сбит случайным грузовиком (приводились технические характеристики машины, свидетельские показания и еще куча документации). Также Блюменцвейг доказывал, что никакого ГУЛАГа с невинными жертвами и тюремными пытками не было, а были простые лагеря для преступников, где никто никого ни холодом, ни голодом, ни работой не морил. Все это предельно обстоятельно и с приведением невероятного количества документов. Но главным кощунством, которое выводило из душевного равновесия каждого, кто хотя бы краем глаза видел первые главы романа, был язык, которым он был написан. Ибо тот до боли напоминал (а точнее, пародировал) язык главного светоча инакомыслящей интеллигенции, автора знаменитого «Архипелага ГУЛАГ».

«Этот невероясанный труд, который разум человеческий сдвинул для постига прошлого нашего зелострадального Оте-

чества, станет со временем важнопужным звеном в цепи исторических исследований». Одного этого предложения (которым, собственно, и начинался роман) было достаточно, чтобы обвинить Блюменцвейга в предательстве всех светлых идеалов диссидентства. С Яковом перестали здороваться (он был почему-то этому очень рад), поносили его на каждом углу, но втайне были благодарны, поскольку он привнес (хоть и на короткое время) оживление в размеренную жизнь Привольска. Но потом и Блюменцвейг как-то отошел на второй план. Тем более что роман так и не был закончен и представлял собой несколько разрозненных главок. Казалось, Блюменцвейгу важен был лишь произведенный эффект, а не сам труд.

На кухнях по-прежнему собирались и что-то обсуждали, но все реже и реже, да и то чаще сбивались на простое распевание песен. Новых людей, как обещал Кручинин, КГБ давно перестало привозить. Да и откуда им было взяться? Нет, диссидентствующих по стране хватало, но реально творческих людей среди них было не так уж и много. Привольский химкомбинат тоже захирел, так что работали все сами на себя. Поддерживали чистоту и порядок как могли. Боролась с пьянством и тунеядством. Некоторые даже заделались дружинниками. Открылась танцплощадка. Но довольно быстро захирела, так как за ней надо было следить, ремонтировать, обустроить, а делать это было лень. Хотели построить школу, но смысла не было – детьми никто не обзавелся (говорили, что это химкобминат виноват, вроде как он бесплодие вызывает). Каждый первый обзавелся телевизором. В кинотеатре сделали видеосалон, где крутили разные азиатские боевики и прочий киноширпотреб. Так что по большому счету живущие в Привольске-218

ничем не отличались от живущих за пределами Привольска. Точнее, с некоторым опережением, ибо персональные видеомэгнитофоны появились в СССР чуть позже. Нет, некоторым из них по-прежнему казалось, что они в тюрьме, но вслух это не произносилось – все понимали разницу между обычной тюрьмой и таким вот поселением. Ученые доказали, что эволюция человека – настолько медленная штука, что это только кажется, что человек миллион лет назад был каким-то другим. На самом деле, если была бы возможность взять младенца из той далекой прачеловечьей семьи и поместить его в обычную современную семью, он бы вырос абсолютно полноценным членом нашего общества и никто бы никакой разницы не заметил. Чего уж говорить о сроках гораздо меньших, чем миллион лет. Кстати, о сроках. Когда пресловутая «пятилетка», обещанная Кручининым, стала приближаться к концу, никто о ней даже не вспомнил. Точнее, были какие-то разговоры, что, мол, последний звонок грядет, еще годика полтора, и все, но никто толком не знал, что по окончании срока надо требовать и куда идти. На всякий случай майор Кручинин объявил, что когда дело пойдет к финалу, желающие покинуть город смогут подать соответствующую апелляцию. Как ни странно, желающих не нашлось. Тут были разные причины. Одной из основных было то, что с самого начала было объявлено, что все жители Привольска-218 проходят некий испытательный срок. Но ни один из них не понимал, прошел ли лично он этот срок успешно. Ведь никаких критериев не было. С точки зрения советской идеологии все вели себя довольно безобразно, в смысле, особой лояльности режиму не проявляли. С другой стороны, это вроде не возбранялось, а даже поощрялось. Но теорети-

чески каждого можно было бы в чем-то обвинить (это-то советская власть очень даже хорошо умела) и намотать строптивцу еще одну «пятилетку». В общем, решили с заявлениями погодить. Надо будет – отпустят.

XXIII

Войдя в квартиру, Максим первым делом бросился к телефону. Набрал номер Блюменцвейга и стал мысленно молиться, чтобы там кто-то ответил. Мольбы были услышаны, и трубку подняли. Правда, сначала это был мужской голос (судя по акценту, какой-то гастарбайтер-ремонтник), а затем трубку взяла сестра хозяйки.

– Простите, – засуетился Максим. – Я как-то звонил по поводу Блюменцвейга. Вы сказали, что его документы и какие-то книги забрал его двоюродный брат.

– Да, – уверенно ответила та. – Не книги, а бумажки всякие... рукописи, что ли...

– А вы уверены, что это был его брат?

– Ну а кто бы еще так быстро явился? Мы сами только-только узнали о смерти, а этот уже у двери. Только родственник и мог узнать так быстро.

«Железная логика», – мысленно хмыкнул Максим.

– А как он выглядел?

– Брат этот? Да, честно говоря, странно – совсем и не похож на покойного... Но с двоюродными это бывает...

– Ну а все же?

– Нет, ну наш-то жилец был такой интеллигентный... вполне себе благородный... а этот какой-то молодой... взгляд такой тяжелый... Что еще... Ну, брюнетистый такой... А-а... подбородок раздвоенный...

– Подбородок?

– Ага. Я такие вещи сразу подмечаю. У меня у первого мужа был такой. У мужиков с такими подбородками характер тяжелый. Лучше не связываться.

– Слушайте, – вдруг засуетился Максим, озаренный нелепой догадкой, – а ямочек, ямочек на щеках не было?

– Ой, точно. Были. А я и забыла.

Максим застонал, прикрыв глаза.

– Вы что? – испуганно спросила женщина.

– Да я-то ничего, – раздраженно ответил Максим. – А вот вам бы следовало в следующий раз документы проверять у таких братьев.

Он повесил трубку и уставился на стену.

Панкратов. Точно Панкратов. А кто еще? Все верно. Зонц знает о Блюменцвейге. Панкратов пришел за братья документы. Ну и что дальше? А дальше ничего.

Пазл сложился, но сложился как-то неправильно. Его изогнутые детальки упруго вписались друг в друга и даже создали ровный четырехугольник, но... картинка по-прежнему не было.

Максим просто не знал, что ему делать со всей этой информацией. Можно было бы потребовать объяснений у Зонца, но только какой смысл? А если он скажет, что про Павелецкий вокзал он узнал по каким-то своим каналам, а за вещами заходил не Панкратов, а кто-то на него похожий? И что? Максим начнет расследование? А главное, куда это все ведет?

Во рту стало кисло, как будто он только что облизал протекшую батарейку. Нестерпимо захотелось

выпить. Но Максим мужественно сдержал этот по-
зыв.

Нет, нет. Надо писать книгу. Заказ-то пока никто не отменял, слава богу. А что касается Зонца, то просьбу его он выполнил, больше он ему ничего не должен. Точка. Правда, взамен он ничего не получил. Ну не считать же лепет Купермана полезной информацией. Другое дело, что Привольск оказался тоже довольно интересной темой. Если вдуматься, поинтереснее «Глагола». Тут тебе и настоящее диссидентство, и гонения, и даже героический побег Блюменцвейга. Можно и ВИТЧ как-нибудь приплести. Для забавности.

Максим расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, уселся за компьютер и стал перво-наперво чистить текст книги. Это было старой привычкой – сначала перечитать и исправить уже написанное, затем двигаться дальше. Но едва Максим закончил правку, зазвонил мобильный. Это был Толик.

– Что делаешь?

– Работаю над книгой, – ответил Максим, уставившись в монитор и пытаясь вспомнить, как употребляется глагол «довлеть».

– Молодец.

– Спасибо, учитель, – отозвался Максим. – Между прочим, скоро закончу. Так что дай мне координаты своего издателя, я с ним свяжусь.

– Координаты?

– Ну да. Телефон, например.

– А у меня нет.

– То есть как?!

– Да он мне сам обычно звонит. Но ты не переживай. Как только позвонит, я все передам. Ты, кстати, оторваться не хочешь? Есть интересная тусовка.

– Знаю я твои интересные тусовки. Бродят медийные рожи с бокалами дорогого шампанского и думают, что они что-то из себя представляют.

– Ой, да ладно. Можно подумать, твои диссиденты интереснее.

– Да уж поинтереснее. Люди все-таки реальность меняли, за свободу боролись. Теперь, правда, этой свободой пользуются твои медиарожи, но это уже претензии не к «моим диссидентам».

– Мои медиарожи тоже реальность меняют.

– Они ее не меняют. Они ее сами выдумали, в ней живут и нас в ней жить заставляют.

– Ладно, не хочешь – как хочешь. Но когда захочешь, помни – я всегда готов. Как пионер. Ха-ха.

Затем раздались короткие гудки, но Толиков смех еще долго звенел в ушах Максима, подобно улыбке чеширского кота, которая, как известно, исчезала последней.

Следующие несколько недель Максим упорно трудился над книгой. Шлифовал корявости, выправлял нестыковки, безжалостно вычеркивал как фальшивый пафос, так и чрезмерный юмор, чувствуя себя эквилибристом на проволоке – шаг влево, шаг вправо. Тем не менее как он ни старался держаться в описании глагольцев-привольчан относительной объективности, а все равно выходила некоторая героизация. В немалой степени этому способствовал и сам привольский лагерь. А также полное отсутствие собственно трудов этих самых привольчан-глагольцев. Нет, экземпляр «Глагола» он все-таки забрал у Бухреева, но где взять романы, повести и статьи, написанные героями его книги? Девяносто процентов этих произведений писались в стол и канули в Лету. Были ли они действительно хороши –

утверждать спустя столько лет было сложно. В этом Максим убедился, перечитав «Глагол». Нет, по меркам своего времени некоторые из рассказов и повестей были верхом смелости, но с художественной точки зрения оставляли, мягко говоря, желать лучшего. Единственная вещь, которая произвела на Максима впечатление, была небольшая, но абсолютно безумная пьеса Блюменцвейга (кто бы сомневался), в которой Ленин, подобно Дракуле, вставал из гроба, покидал Мавзолей и шел пить кровь своих сограждан. В отличие от набивших оскомину рассказов про восставших из гроба вождей и царей, которые, оказываясь в современном городе, приходили в ужас от увиденного будущего, в пьесе Блюменцвейга Ленин вообще не интересовался реальностью. Он просто нападал на припозднившихся прохожих и пил у них кровь. Насосавшись крови, он возвращался в Мавзолей, где хватался от смеха за бока и картавил в злорадном экстазе:

– Сколько вкусных людей! Какое широкое поле для работы!

Милиция сбилась с ног, но поймать вампира не могла, ибо Владимир Ильич был последним, кого можно было бы заподозрить в подобном безобразии. Часовые же, которые охраняли покой кремлевского мечтателя, при виде выходящего каждую ночь из Мавзолея Ленина, как правило, теряли речь и рассудок, и толку от них было, как от козла молока. Их увозили в дурдом, а на их место заступали новые. У часовых Ленин кровь почему-то не пил, предпочитая просто сводить с ума. В общем, такой политически-сатирический триллер. Но это только до конца первого акта. Дальше сюжет пьесы делал совершенно невообразимый кульбит, переводя действие в абсолютно иную плоскость. Не зная, как противостоять этому бесконечному сумасшествию ча-

совых, гэбисты решают на время убрать Ленина из Мавзолея. Они кладут на его место своего человека и в караул ставят тоже своих людей. Тем временем о вампирических наклонностях покойного вождя прознают интеллигенты-диссиденты. К подобному выводу они приходят, найдя упоминание о подобных кровосоках в каких-то древних книгах – мол, есть такие типы, которые при жизни пьют кровь в переносном смысле, а после смерти продолжают ее пить уже в буквальном. Но только в том случае, если их не захоронить. В общем, ровно в полночь эти умники являются в Мавзолее с осиновым колом. Для начала они убивают охрану, потому что та бы и не пропустила их внутрь. Затем проходят в главный зал и загоняют осиновый кол в сотрудника КГБ, заgrimированного под Ленина. Бедняга хрипит, истекая кровью, а диссиденты, уверенные, что перед ними корчится вампир Ильич, произносят над агонизирующим телом проклятия и какие-то там заклинания. Но тут у жертвы отклеивается борода, и диссиденты понимают, что ошиблись. Чтобы избежать расплаты, они прячут трупы убитых ими гэбистов и хотят уходить, как вдруг слышат на улице шум мотора и голоса – там приехала группа проверяющих. Двое диссидентов срочно переодеваются в часовых, а один ложится на место Ленина. Фальшивых часовых отправляют в срочном порядке на новый объект – охранять какого-то высокопоставленного бонзу. А «Ленина» накрывают стеклянным колпаком. Когда все уходят, бедняга пытается выбраться, но, оказывается, пуленепробиваемое стекло плотно завинчено. К утру он в страшных муках умирает. Новые часовые, услышав предсмертные хрипы и удары, бегут внутрь. Там они видят труп и приходят в ужас оттого, что охраняли живого человека. Они срочно приводят его посиневшее изогнувшееся тело в

естественное положение. Там же обнаруживают запряжанные группы трех гэбистов. С перепугу выносят их наружу и закапывают под кремлевской стеной. Тем временем двое диссидентов в форме гэбистов успешно охраняют партийного начальника, получают от него одобрение, грамоту и повышение по службе. И их теперь уже вполне официально оформляют на работу в КГБ. Пьеса заканчивалась тем, что два диссидента работают в КГБ, третий работает Лениным (посмертно, естественно), а реальный Владимир Ильич хранится в подвалах Лубянки, где о нем вскоре забывают, а он через некоторое время начинает бродить по запертой камере и выть. Арестованные называют его лубянским призраком и рассказывают легенду, что это бродит замученный в застенках борец с советской властью.

Неудивительно, что пьеса с душераздирающим сюжетом и явно издевательским названием «Спи спокойно» окончательно взбесила КГБ, и власть решила больше не миндальничать ни с Блюменцвейгом, ни с «Глаголом». Закончилось это известно чем – Привольском-218.

Максим подумал, что хорошо бы узнать у Купермана, не писалось ли что-нибудь во время их пребывания в Привольске или, на худой конец, после того, как лагерь был упразднен. Может быть, какие-то воспоминания. А может, и художественная литература. Поставил же Горский свой чудовищный памятник Кручинину и Блюменцвейгу. Но связи с Куперманом не было никакой. Разве что через Зонца, но Зонцу звонить не хотелось. Тем более что и сам Зонц не звонил. Нельзя сказать, что Максим очень страдал от этого невнимания. Его гораздо больше занимал пропавший издатель. В самом издательстве, телефон которого Максим не без труда выловил в мутных водах Интернета, неизменно отвечали, что Евгений Борисович отсутствует, а мо-

бильный телефон давать отказывались. Утешало только то, что вторая часть аванса была своевременно переведена на счет Максима. В кризисные времена подобная финансовая щепетильность была порукой тому, что и прочие договоренности будут выполнены. Нет, был, конечно, и письменный договор, но бумагам Максим, как истый шестидесятник, не очень верил. Во времена его молодости все решалось в накуренной кухне за бутылкой вина. Такой устный договор обычно начинался со слов «слушай, старик, не в службу, а в дружбу». Тогда словам еще верили.

Шло время, и постепенно книга обрела структуру, композиционную стройность и запоминающееся название, которое Максим позаимствовал у Блюменцвейга, надеясь, что покойник возражать не будет – «Мания безличия». Название было броским, а самое главное, автоматически решало вопрос концепции. Ведь в книге Максим описывал самый пик застоя – вторую половину семидесятых, когда всем правила серость и полное безличие. И только редкие представители интеллигенции барахтались в этом болоте, пытаясь, подобно лягушкам, попавшим в кувшин с молоком, взбить из мутной жижи подобие твердой почвы, чтобы не утонуть и выкарабкаться наружу. Привольск был в этом смысле идеальной метафорой. То есть сначала «Глагол», а потом Привольск. Этапы небольшого пути творческой диссидентствующей интеллигенции. Борцов против серости и безличия, которых так не хватает в наше время, яркое и пестрое, но не менее серое, чем самый советский застой. Вот такая нехитрая концепция. Мир ей, конечно, не перевернешь, но скромную лепту в борьбу с ВИТЧем внести можно. Это Максима радовало. Оставалось только съездить в Привольск. Но эту поездку Максим постоянно откла-

дывал, сам не зная почему. Возможно, в надежде, что объявится Зонц и сам предложит съездить туда за компанию. Но лето подходило к концу, а Зонц все не объявлялся.

Пару раз Максим звонил сводному брату Алику – обещал зайти, но никак не мог собраться: то настроения не было, то книга отвлекала. Пропустил и встречу одноклассников, правда, без малейшего сожаления. Уж как-нибудь Щербатого, задавленного грузовиком, и без него помянут.

В первых числах сентября Максим наконец твердо решил выкроить время для Привольска. Где-то в глубине души он надеялся, что там уже кипит работа по созданию музея, и было бы очень неплохо завершить работу именно таким оптимистическим пассажем – мол, в наши дни Привольск-218 из лагеря превращен в мемориал, который каждый может посетить, благо он располагается недалеко от Москвы. Что-то вроде того.

Максим назначил сам себе день, когда поедет в Привольск, и даже одолжил у соседа по лестничной клетке фотоаппарат. На всякий случай. Но планы строить, как известно, – Бога смешить.

За два дня до намеченной поездки, вернувшись из магазина, Максим увидел, что на автоответчике мигает лампочка оставленного сообщения. Учитывая, что все его знакомые давно звонили только на мобильный, это было явно сообщение от кого-то извне. В первую секунду мелькнула шальная мысль – не жена ли это с сыном из Израиля, но едва Максим нажал кнопку play, стало ясно, что, увы, нет. Из автоответчика донесся недовольный голос Купермана.

– Ну, Максим, спасибо. Не ожидал. От тебя никак не ожидал. Ловко.

Дальше раздались шипение и гудки.

От растерянности Максим совершенно забыл, что в пакете у него лежат продукты, а также мороженое, которое имеет неприятное свойство превращаться за пару минут в тепле в липкую молочную жижу.

Максим еще раз прослушал сообщение в надежде, что, возможно, пропустил какое-то важное слово или даже фразу, но ничего подобного. Скрипучий голос Купермана упорно повторил четыре коротких и крайне неприятных предложения.

«Что он от меня не ожидал? – недоуменно пожал плечами Максим. – Бред какой-то... Надо срочно звонить Зонцу».

Максим достал из портмоне визитную карточку Зонца и принялся лихорадочно набирать указанный на ней номер, но там, как назло, металлический голос упрямо говорил, что абонент находится вне зоны действия сети. Максим засуетился, споткнулся о пакет, наступил на него, затем поднял и, чертыхаясь, побежал к холодильнику. Выложив продукты, застыл, пытаясь сообразить, что надо делать дальше. Видимо, ехать в Привольск. А может, это все его фантазии? Может, Куперман что-то неправильно понял? Или ему дали какую-то искаженную информацию. А про что информацию-то? О книге, например. Маловероятно. Куперман вообще не проявлял особого интереса к книге Максима, а тут такой звонок. И уж больно голос был у Купермана злой. Тут не мелочь. Тут что-то крупное.

Максим стал прикидывать, за сколько времени он доедет до С. Плюс такси. Плюс обратная дорога. Теоретически можно уложиться за сегодня. Черт! Надо ехать.

Перед выходом набрал номер Толика.

– Я слушаю! – раздался на другом конце провода знакомый бодрый голос.

– Толик, это Максим.

– Приветствую тебя. Решил оторваться?

– Да-да. Я решил оторваться. От Москвы. Образно выражаясь. Я хотел спросить по поводу книги моей. В смысле издателя. Ты не в курсе, там никакой глупой шумихи не было?

– По поводу чего? По поводу твоих диссидентов? Ха-ха! Ты что, выпил? Кому они нужны? Вот вчера певица Арина упала во время показа мод и у нее вывалилась грудь – вот это событие. Это да. Тут гудит весь Интернет.

– Плевал я на Арину и на Интернет, – огрызнулся Максим. – Я просто спросил. И потом, я же не виноват, что твой издатель исчез и я не могу с ним связаться. Это свинство, в конце концов!

– Э-эй! Погоди. А он тебе что, не звонил?

– Нет, – удивился Максим. – А должен был?

– Да видишь ли, – смутился Толик. – Я с ним говорил неделю назад. И он сказал, что сам тебе позвонит.

– Но он не звонил.

– Странно... Понимаешь, тут такая петрушка вышла... В общем, заказ-то аннулировался.

– Не понял. Какой заказ?

– Да на книгу твою.

– То есть как? – выдохнул Максим, чувствуя, что, кажется, теряет рассудок.

– Да так. Что-то у них там отменилось. Он еще сказал, что остаток аванса тебе переведет, и все. Вроде как не нужна им больше книга-то. Ты прости... я как-то чувствую себя виноватым. Хотя я и не виноват. Но ты не расстраивайся. Не одно, так другое...

Максим почему-то подумал, что если бы подобная ситуация была описана в сценариях, которые он редактировал, дальше была бы фраза «Герой роняет трубку и, схватившись за сердце, сползает спиной по стене». Эта

фраза встала в его мозгу с такой болезненной четкостью, что он едва не последовал ей как инструкции. Но жизнь – не сценарий. В жизни он стоял с трубкой у уха и слушал виноватое бормотание Толика. Потом опустил взгляд на ковер и подумал, что хорошо бы его пропылесосить.

Добираться до Привольска на перекладных оказалось гораздо удобнее, чем на машине. От Казанского вокзала до города С. шла экспресс-электричка, а в самом С. Максим просто поймал такси и вскоре был на месте. И только приехав на место, понял, что понятия не имеет, зачем приехал. До Зонца он так и не дозвонился. Координат Купермана и остальных у него нет. Не обходить же все дома в поисках привольчан. Единственное, что оставалось, – это посетить сам Привольск, может, он там кого и встретит. Максим не понимал, связаны ли эти события (Блюменцвейг, книга, звонок Купермана) между собой или нет, но если связаны, то каким образом? Неизвестность раздражала его. Стремление к ясности свойственно вообще любому человеку, но Максим был в этом стремлении особенно неистов. Ему всегда казалось, что, когда он достигнет ясности, наступит мир и покой. Это, наверное, тоже был пережиток советского периода. Тогда все делилось на правильное и неправильное, на принципиальное и беспринципное, на друзей и врагов. Со временем Максим понял, что ясность мало того что не

вносит никакого покоя, но более того, таит в себе еще большее беспокойство, ибо любая однозначная ясность обедняет мир и приводит его в диссонанс. Когда-то давно он встречался с одной девушкой. Ему все время казалось, что ее чувства к нему не так уж сильны, что, возможно, она тяготится этими отношениями. Она могла уехать с друзьями в какой-то дурацкий поход на байдарках, потом в конный поход, потом на археологические раскопки и прочее. И везде ей было радостно и легко. Как будто Максим ей вовсе и не был нужен. Он так извелся, что в один из вечеров, провожая ее до метро, спросил напрямую: «Скажи честно, ведь ты не любишь меня?»

Она задумчиво покачала головой и сказала «Нет». Но добавила, смутившись: «Но это что-то другое... может быть, более... я не знаю...»

Максим, конечно, сделал вид, что очень доволен этой честностью, даже выдал что-то вроде «спасибо», но страдал ужасно. И в итоге сам разорвал с ней отношения. Сделав больно и себе, и ей. Только много лет спустя понял, что она хотела сказать: она не любила его любовью страстной, всепоглощающей (ха! как будто ее испытывал Максим – к тому моменту они встречались уже почти два года), но то была другая любовь, в чем-то, может быть, более сильная и глубокая. Однако Максим со свойственным ему тогда максимализмом (вот где имя-то подвело) не стал брать эти доводы в расчет. Ему нужна была хоть какая-то ясность. А то, что некоторые вещи словами не объяснишь, он понимать не желал – слишком верил в литературу и слово: все может быть выражено и объяснено!

Впрочем, сейчас речь шла о материях менее высоких. Нужен был простой ответ на простой вопрос: что вообще происходит?

Добравшись до цели, Максим отпустил таксиста, предварительно взяв у того телефон вызова для обратной поездки, и с некоторой опаской направился к проходной Привольска. Уже издалека он заметил кое-какие изменения: железные ворота были как будто слегка приоткрыты, прожектор безжизненно болтался на проводе, словно выбитый глаз, цитаты из Данте на воротах не было. От всего веяло каким-то запустением. И хотя запустением здесь веяло и в прошлый визит, но то запустение было как будто нарочитым. Сейчас же это было какое-то разрушительное запустение. Если, конечно, не считать огромной новенькой таблички внушительного размера, запрещающей проход на территорию всем посторонним лицам. Максим робко стукнул кулаком в железную дверь ворот, но больше для проформы. Затем заглянул в щель. Никого. Осторожно приоткрыл жалобно скрипнувшую дверь и просунул правую ногу на территорию Привольска-218. Замер, стоя одной ногой тут, другой там. Услышал собственное дыхание и ударивший в нос запах ржавого железа. Затем решительно вошел. Вокруг была звенящая тишина. Максим быстро взбежал по ступенькам проходной. Здесь было пусто. На полу валялся какой-то мусор: бумажки, окурки, обрывки газет. Спустился по ступенькам к шлагбауму. Город был мертв. Осенний ветер равнодушно гонял разноцветные листья по серому потрескавшемуся асфальту взад-вперед. Куда идти дальше, Максим не знал. Вокруг не было ни души. Сам пейзаж изменился, но явно не в лучшую сторону. То есть повсюду, конечно, виднелись явно привезенные откуда-то бетонные плиты, кирпичи, доски, металлические конструкции, трубы и вообще ощущалась какая-то «стройплощадочность», но все то, что Максим видел в прошлый приезд, словно подверглось серьезной воз-

душной атаке: асфальт в нескольких местах был вскрыт, земля перекопана, а здание НИИ явно приготовлено к сносу. Максим, конечно, знал, что перестройка бывает всякой, но не думал, что она может быть настолько деструктивной. Это уже и не музей выйдет, а сплошной новодел. Только зачем?

Максим неторопливо двинулся мимо НИИ к продмагу на улице имени Блюменцвейга. К его удивлению, табличка с названием улицы валялась на асфальте и, похоже, никакой исторической ценности для строителей не имела. Сам же магазин стоял без крыши, и через пустые глазницы окон с выбитыми стеклами гулял ветер. Но еще больше его поразила скульптурная композиция а-ля Минин и Пожарский. Точнее, то, что от нее осталось. А остался от нее только постамент. Сам же памятник бесследно исчез. Возможно, конечно, что его отправили на реконструкцию или еще куда-то, но на фоне всеобщей разрухи логичнее было бы предположить, что его отправили на переливку – все ж таки бронза. На эту печальную мысль наводил и разбитый стенд с фотографиями. Черно-белые снимки валялись на асфальте, как опавшие осенние листья. Максим поднял один. На ней был изображен холм с крестом. Ниже подпись: «Могила лейтенанта Чуева, помощника майора Кручинина. Он не смог пережить смерть своего начальника и покончил с собой». Словно Чуев был верным псом, умершим с тоски без любимого хозяина.

Максим почему-то положил фотографию в карман и подумал, что искать Купермана теперь совершенно бессмысленно. Все и так было ясно. Никакого музея здесь не будет.

Но что именно будет в Привольске, на этот вопрос мог дать ответ только один человек. Зонц.

Максим вернулся к полуразрушенному зданию НИИ, присел на одинокую зеленую скамейку и внезапно почувствовал себя последним человеком на Земле.

«Видимо, так и будет выглядеть планета после ядерной катастрофы, – подумал он, разлядывая бесцветный пейзаж. – Жалкие остатки цивилизации в виде высоковольтных проводов, позорных коробок, называемых домами, и треснувшего асфальта».

Он втянул носом сырой воздух и вытер заслезившийся от холодного ветра глаз. Потом заметил на земле обрывок газеты и поднял его. Это был номер газеты «Правда-218» от пятого сентября 1983 года. Раритет. Лист был порван крайне неудачно – по какой-то кривой диагонали: прочитать что-либо от начала до конца не представлялось возможным. Единственное, что Максим смог разобрать, – это телевизионную программу передач: 9:30 – программа «Будильник», 10:00 – Служу Советскому Союзу, 11:00 – «Утренняя почта»...

Максим закрыл глаза и незаметно задремал. Как это часто бывает с дневной дремотой, он как будто видел окружающую действительность, но не имел сил на нее реагировать – что-то вроде летаргического сна. Сон накладывался на реальность, как два кадра из разных кинопленок. Ему снова привиделась гостиная с диваном, женщина с ребенком и лохматый пес на белом ворсистом ковре. И снова, как и в прошлый раз, заревела непонятно откуда взявшаяся сигнализация. Максим вздрогнул и открыл глаза. Он по-прежнему сидел на скамейке. Где-то ревел вклинившийся в сон автомобильный мотор. Максим завертел головой в поисках источника звука – рев доносился из-за железных ворот. В ту же секунду ворота КПП открылись, и на территорию зашли несколько людей в штатской одежде, но в строительных касках. Они оживленно болтали, но

двигались при этом решительно, жестикулировали и вертели головами. Максим почувствовал себя загнанным зайцем – скамейка располагалась на виду, и уйти с нее незамеченным было невозможно. К тому же его уже засекли. Первым желанием было вскочить и позорно убежать. Но Максим остался сидеть – ничего такого уж противозаконного он и не делал.

Один человек отделился от группы и подошел к нему. Рыжеватые усы. Похож на доктора Ватсона из фильма.

– Добрый день, – поздоровался он.

Максим протер сонные глаза и кивнул.

– Этот объект является закрытым, – сухо сказал Ватсон. – Поэтому прошу вас покинуть его.

– Ну хорошо, – пожал плечами Максим как бы равнодушно, но вышло напряженно, словно он содрогнулся. – А вы не знаете, куда делись все люди?

– Не знаю, – отрезал Ватсон. – Видимо, увезли.

– А что здесь будет?

– Простите, но по всем вопросам относительно строительства вам следует обращаться к руководству, то есть заказчику.

– Ну да, – согласился Максим, не очень-то рассчитывая на развернутый ответ. – А где искать это руководство?

– Это я вам сказать не могу.

– Понятно, – сказал Максим и встал.

Другого ответа он и не ожидал. Ватсон тем временем посмотрел в сторону остальных сотрудников, далеко ли те ушли, но двигаться не спешил – терпеливо ждал, пока посторонний покинет территорию.

– Подождите, – сказал Максим, замерев. – А вы знаете, что здесь химкомбинат раньше был? Здесь все отравлено. Как здесь люди-то будут жить?

Строитель, однако, быстро просек подвох.

– Будут здесь жить люди или не будут, я не знаю. А что касается химкомбината, то все давно вывезено.

Максим решил прекратить бессмысленную викторину, кивнул собеседнику и направился к КПП. По дороге набрал номер службы такси.

Такси приехало довольно быстро. По крайней мере Максим успел выкурить всего две сигареты. На все вопросы касательно строительства в Привольске таксист только жал плечами и отвечал односложными предложениями типа «да хер их разберет». А на вопрос, не было ли в городе разговоров о Привольске-218 или о новых жителях, ответил и того загадочнее: «Да херня это все».

Потеряв надежду получить связный ответ, Максим решил больше не пытаться судьбу, но судьба вдруг сама преподнесла сюрприз.

У самого вокзала в городе С. Максим заметил одиноко бредущего старика, лицо которого показалось ему знакомым. Он попросил таксиста остановить машину, расплатился и бросился за стариком. Тот, увидев бегущего к нему Максима, заметно напрягся и замер, словно в ожидании атаки.

– Простите, – крикнул запыхавшийся Максим. – Вы же из Привольска, да? Я вас узнал.

Старик испуганно завертел головой по сторонам.

– А что?

– Вы меня помните?

– Еще бы, – хмуро ответил старик.

– Тогда, может, вы мне объясните, что происходит. Где музей, например.

– А что тут объяснять? Никакого музея не будет.

– Но как же так?! Куперман... мы, то есть вы подписывали договор...

Старик махнул рукой.

– Да какой еще договор! Вы же нас просто надули.

– Да я-то не надувал!

– Значит, вас просто использовали.

– То есть как!?

– Да так... Куперман никому бы не поверил. А вас он знал. Вам и доверился. А иначе бы ха! Разве б мы кого пустили?!

– Ну-у-у... вас могли бы и силой вытащить.

– Разбежался! У нас склад с химотходами был. Мы б, если что, его на воздух – и привет! Тут бы все на ухах были. Полное заражение всего вокруг. Не-е... силой никак. А вот вам Куперман поверил... Вот так-то...

Старик кашлянул и, не попрощавшись, пошел дальше.

– А что же там будет? – крикнул ему вслед Максим.

Старик, не оборачиваясь, пожал плечами.

Сойдя с поезда на Казанском вокзале, Максим двинулся по платформе, следуя общему потоку людей. На сей раз его почему-то совершенно не раздражало, что его толкают, задевают тяжелыми сумками на колесах и норовят обогнать, наступив при этом на ногу. В этой суете, как ни странно, было что-то умиротворяющее. Особенно после безлюдного Привольска. Жизнь на планете Земля как будто возрождалась. В тот момент, когда шершавый асфальт платформы закончился и Москва собралась окончательно и бесповоротно поглотить Максима, в кармане у него завибрировал мобильный. Номер не определился, что навело Максима на мысль о вполне конкретном абоненте – именно этот абонент всегда звонил с номеров, которые не определялись. И он не ошибся. Это был Зонц.

– Добрый день, Максим Леонидович, – вполне дружелюбно поздоровался Зонц.

Максим сразу представил белоснежную улыбку на том конце провода, и его почему-то передернуло.

– Я вам вообще-то звонил, – сухо сказал Максим.

– Знаю, – ласково ответил Зонц. – Знаю. Но дела... Сами понимаете.

– Вот как раз по поводу дел я и звонил.

– А что вас беспокоит?

– Многое. Очень многое. Даже не знаю, с чего начать. Например, что произошло с Привольском-218? Куда делись привольчане? Что случилось с Блюменцвейгом? И знаете ли вы, например, что заказ на мою книгу отменен?

Последний вопрос слегка выбивался из общего ряда, но интуитивно Максим чувствовал, что связь тут какая-то есть.

Зонц кашлянул.

– Понимаете, Максим... Это не совсем телефонный разговор. А вообще... минэ нравится, что ви задаете вопросы.

Последнюю фразу Зонц произнес с грузинским акцентом, как Сталин.

«Шутник, бля», – подумал Максим с раздражением, решив, что пришло время проявить решительность. Он был разозлен своим нынешним невнятным положением, отсутствием контакта с бывшей семьей, одиночеством и еще кучей вещей и теперь пользовался этой накопленной злостью как аккумуляторными батареями. Знал, что скоро запас злости кончится и он снова превратится в безвольного плюшевого интеллигента.

– Вопросы вопросами, но хорошо бы еще получить на них ответы. Пока я не получил ни одного. И, честно говоря, мне это очень не нравится.

– Но вы же видите – я вам сам позвонил. А ведь мог бы и не звонить вовсе. Вы бы меня и не нашли никогда. Разве нет? А раз звоню, значит, готов ответить на ваши вопросы.

– Но не по телефону? – полуутвердительно спросил Максим.

– Но не по телефону. Вы дома?

– Пока нет, но буду через полчаса.

– Вот и отлично. Я заеду к вам через час.

Максим хотел возразить, что, мол, не рассчитывал на такое быстрое решение проблемы, но в трубке уже были короткие гудки.

«Сам напросился, правдолюбец, блин», – отругал он сам себя и вошел в метро.

Зонц явился ровно через час, как и обещал.

– Милая квартира, милый дом, – сказал он, снимая плащ и оглядывая прихожую Максима.

– И в чем же милость дома? – мрачно поинтересовался Максим. Злость уже прошла, но инерция осталась.

– У лифта внизу висит объявление, не видели? «Товарищи жильцы! Кто спер кадку с пальмой из подъезда? Верните на место». А в самом лифте напротив каждой кнопки с номером этажа от руки нарисованы совершенно другие цифры.

– Объявление висит уже год, а панель с кнопками просто от другого лифта поставили.

– Замечательно, – восхищенно произнес Зонц. – Это лишний раз подтверждает, что реальность в России всегда обманчива и двойственна. Мне разуваться?

– Да не надо, – махнул рукой Максим. – Можно прямо так. Туда, на кухню.

Зонц послушно кивнул и двинулся за хозяином по коридору.

– Кофе, чай?

– Не, не, – замотал головой Зонц. – Мне чай. Кофе я и так на работе пью все время.

– Как скажете.

Максим приготовил себе кофе, а затем поставил чашку с кипятком перед Зонцем, мотнув головой в сторону пиалы с кучей чайных пакетиков и сахара.

– Берите. Чай, сахар.

– Спасибо.

Зонц опустил пакетик в чашку, задумчиво проследил, как тот тонет, а затем поднял голову.

– Ну, я готов.

– В смысле? – смутился Максим.

– Задавайте ваши вопросы.

– А... Ну, собственно, он один: что произошло с Привольском и при чем тут я?

– Это два вопроса, – спокойно заметил Зонц, выуживая ложкой промокший чайный пакетик.

– А у меня лимит? – разозлился Максим.

– Ну что вы, – добродушно сказал Зонц. – Впрочем, позвольте, я начну издалика.

– Надеюсь, не с древних греков?

– У вас сегодня прямо приступ сарказма, – улыбнулся Зонц, но эта улыбка вкупе с холодной синеваой глаз быстро превратилась в довольно-таки неприятный оскал, и Максим подумал, что слегка перегнул палку.

– Извините, – сказал он тихо и отхлебнул кофе.

– Несмотря на все пространные теории Гусева, говорящего об относительности, плевках в супе, если помните, и прочей ерунде, реальность такова, какова она есть. И три составляющих нашей реальности тоже таковы, каковы есть.

– Это какие?

– Ну как. Государство, народ, интеллигенция. Наш неизменный любовный треугольник. Но мы никак не можем определиться, кто чем должен заниматься.

– Вы действительно начали издавать. Надеюсь, до моего вопроса мы сегодня дойдем?

– Дойдем, дойдем, не переживайте. Мы находимся в некоем замкнутом круге. Вот народ получает себе правителей.

– Выбирает.

– Это все видимость, – поморщился Зонц. – Заслуживает, если уж на то пошло... Что заслуживает, то и получает.

– Ну хорошо, – согласился Максим, хотя ему очень не нравилось слово «получать» – как будто правителей рассылают по почте бандеролью.

– Короче, народ получает себе правителей. Что делают правители с интеллигенцией? Правильно, приручают. Интеллигенция, лишенная остроты бытия, развращается, становится зависимой и теряет свое лицо. Вслед за интеллигенцией, поскольку сознательная часть народа вольно или невольно ориентируется на нее, обезличивается и народ. Обезличенный народ превращается в стадо и выбирает себе очередного правителя, которого заслуживает и который приручает...

– Но ведь есть же демократические страны. Там правителей, может, тоже заслуживают, но они никого не приручают.

– А это просто иная форма замкнутого круга. Ведь народ способен точно так же развратить и приручить интеллигенцию, как и государство. В итоге начинается стремительное движение вниз по спирали. Обезличивается интеллигенция, пытающаяся угодить народу. Обезличивается народ, подминающий под себя интеллигенцию.

– Прямо мания безличия по Блюменцвейгу.

– А так и есть. Только Блюменцвейг хотел перевести это в какую-то бытовую плоскость – диагнозы ставить какие-то, ВИТЧ, шмитч, глупость, короче. А я говорю о том, что надо вывести интеллигенцию из этого круга-треугольника. Пусть государство занимается народом, а народ – государством. А интеллигенция должна заниматься самой собой. Только тогда она будет независимой и свободной. Как это, собственно, и происходит в прогрессивных демократических странах. Потому что пока она находится в связке с народом или государством, борется ли она за или против, неважно, она вредна. Когда служит самой себе, полезна. Вы ведь человек эрудированный. вспомните, в чем был гений Пушкина, точнее, одна из сторон его гения. Что он первым публично положил с прибором, простите за выражение, на государство и народ. вспомните:

Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа –
Не все ль равно? Бог с ними.

Никому

Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать...

У меня довольно паршивая память на стихи и не менее паршивый уровень образованности, но эти строчки, как видите, я зазубрил, как «Отче наш». Все, все до единого пытались перетянуть его то на одну, то на другую сторону. И пуф! Нулевой результат. Но Пушкин опередил время. И ошибся страной. Потому что в России ничего не изменилось с тех пор. Поэт больше, чем поэт. Или меньше, чем поэт. А это все чушь. Поэт есть поэт.

– Пушкин много чего писал, – усмехнулся Максим. – В том числе и «я мещанин, как вам известно, и в этом смысле демократ».

– Ну, это он лукавил, и вы это знаете не хуже меня. Какой к черту мещанин из такого гения? Не смешите. Впрочем, я не хочу вдаваться в литературоведческие дебри. Там темно, страшно, и вы меня забудете цитатами, как загнанного в капкан медведя.

– Медведь огромный – вот нахал – ребенка не моргнув сожрал, – задумчиво произнес Максим, но потом очнулся. – Я только не пойму, почему вы упираете на Россию. На Западе тоже масскульт, серость, мейнстрим – полный джентльменский набор.

– Э, стоп! – покачал головой Зонц. – Вот тут-то и зарыта наша собачка. Европейское, да и американское общество давно прошло этап поклонения искусству. Времена, когда человек говорил «я – поэт», и все падали ниц, давно канули в Лету. Сознательно или само собой, но демократическое общество четко разделило понятия массовой и элитарной культуры. Элитарная не влияет непосредственно на жизнь общества, она живет своей жизнью. В результате чего она вообще ни от чего не зависит, кроме финансового положения отдельно взятого художника. И общества эти демократичны, то есть народны. В России же до сих пор тянется это культивирование художника. Ля-ля-ля духовность, ля-ля-ля культура. Это только мешает. У нас чуть что, так «мы дали миру Чайковского и Достоевского». В Америке никакому политику в голову не придет говорить: «Мы подарили миру Фолкнера и Сэлинджера» в качестве доказательства влиятельности и эксклюзивности страны. Американский политик знает, что писателей не дарят. Писатель живет сам по себе. Страна ему помогает настолько, насколько любому гражданину, и он плевать

хотел на мнение государства о его творчестве, как и государству плевать на мнение художника о нем. Американец может сказать, что Америка – страна с большой культурной традицией, но не более. Никаких дарений. И западное общество прекрасно существует. Если, конечно, само себя не прикончит всякими политкоррекциями и прочими перегибаниями палки. А простому народу до лампочки, есть ли в Америке балет и кто там танцует.

– У нас тоже, – усмехнулся Максим.

– Не совсем. На генном уровне мы помним, что у нас есть хороший балет, которым можно гордиться.

– Я что-то не пойму... А чем плохо то, что народ тянется к высокому?

– В принципе нет, но... в России плохо. Потому что у нас другой менталитет. Интеллигенция на генном уровне думает, что она что-то должна народу, а народ думает, что интеллигенция ему что-то должна. Вечные взаимные должники. Из этого вытекает следующая картинка. Стоит у яблони мальчик и тянется за яблоком. Дотянуться не может. Что он делает? Наклоняет ветку. Это первый вариант. А второй вариант: яблоко одушевленное и думает, что оно должно само попасть в рот мальчику, и готово спуститься к нему. Иными словами, либо интеллигенция идет в народ, либо ее наклоняют.

– Допустим, – сказал Максим, – хотя и спорно... Но ведь сейчас у нас культура с государством вроде и так не связаны.

– Да, но государство толкует днями и ночами о культуре, дает медальки, звания. Одно это настраивает народ на всю ту же всепрощающую веру в исключительную духовную миссию России. Мол, пусть у нас руки из задницы растут, зато культура какая! Одновременно

с этим интеллигенция по-прежнему считает себя властителями дум. Пусть и слегка подрастерявшими бывшее влияние. Они по-прежнему пишут письма царю-батюшке. И все об одном и том же: наша культура требует заботы, наша культура не выживет без поддержки государства, наша культура просит вас о помощи. Представляю себе письмо какого-нибудь... Апдайка к президенту США: «Американская культура задыхается. Вы должны ей помочь. Ей не выжить без вашей помощи». У них просто построено нормальное государство, где люди нормально живут. Создаются фонды, ищутся спонсоры, меценаты, но этим не государство занимается. У нас же этот вечный любовный треугольник: народ, культура, государство. Все уверены, что другой им что-то должен. Все это нужно перешибить. Культуру как вечную индульгенцию. Связь культуры и народа. Отделить котлеты от мух.

– Но, по-моему, сейчас у нас достаточно всякого искусства, которое занимается чистым искусством.

– Очередное заблуждение. Хотя вы правы, ибо это новая беда. В девятнадцатом веке ее не было. Все эти расплодившиеся биеннале, фестивали, хуенали плодят ту же пустоту. Фестивальное кино – это вообще обслуживание пустоты, потому что художник попадает в зависимость теперь не от народа и не от государства, а от некоего признания якобы высоких профессионалов и специалистов. Однако заметьте, на Западе фестивали – это лишь попытка показать то, что в обычных условиях никто не будет показывать из финансовых соображений. У нас же фестивальным называют любое говно, которое и смотреть-то никто не захочет. Признание – это, конечно, стимул, но попадать к нему в рабство? Художник вообще должен жить вне всего этого. Он дол-

жен только самому себе, и все. И только тогда он действительно сможет помочь народу и своей стране. Художник выпадает из жизни, как только стремится с ней слиться. Становится лишним, как только хочет стать нужным. Превращается в еду, как только хочет утолить голод. Ам! Парадоксальный закон джунглей. И пусть народ тянется за яблоком, не ломая при этом всю яблоню. Сам. На цыпочках. Пусть стремянку тащит, пусть стул несет, пусть учится высоко прыгать – не знаю. Потому что только тогда яблоко, которое он съест, будет действительно полезным и вкусным.

– Еггить, – коротко выдохнул Максим, которому надоел этот спор. – Вы говорите как идеалист: чистое искусство, независимая культура... Так же не бывает. И, если честно, на романтика вы не очень смахиваете.

– Ну почему же? – как будто обиделся Зонц. – Все мы много романтики. Просто я за то, чтобы культура была тем, кем должна бѣгть. То есть неким светом, к которому люди тянутся. А сейчас никакого света нет. Разноцветные лампочки мигают по всей стране. Полная иллюминация. Культура стала пустым звуком. Интеллигенция – затертой монетой. Как я уже сказал, искусство должно стать чуть-чуть недоступным. Чтоб как на Западе. Человек идет в оперный театр в смокинге и платит уйму денег. Элитарное удовольствие.

– А как же искусство для народа?

– Блядь! – неожиданно разозлился Зонц. – Для кого я сейчас два часа трепался, аж во рту пересохло?! Не нужно никакого искусства для народа. Оно его развращает и само развращается. Это масскульт. К культуре не имеет отношения. Пусть он будет, без него все равно никуда не деться. А кому надо, сам потянется к настоящему. А такие найдутся. В русском человеке есть эта искра.

– Сказал русский человек Исаак Зонц, – саркастично хмыкнул Максим, которому захотелось сбить внезапный приступ ярости у собеседника.

– А я русский, – неожиданно улыбнулся Зонц, как будто не кричал две секунды назад. – По маме – Федотов, по отцу – Беляев. Зонц – фамилия одного моего знакомого актера, Леонида Андреевича Зонца. Я ее взял после его смерти. В память о нем.

– Так, может, вы и не Аркадьевич?

– А вы что, не знаете русских с таким именем?

– И не Исаак?

– Упаси бог. Терпеть не могу это имя. Я – Изя.

– А Изя – не Исаак?

– Изей я стал для удобства. Все зовут, ну и ладно. На самом деле я – Изй.

– ИЗИ?! Что это за имя вообще?!

– Мой отец преподавал марксизм-ленинизм. Был ярым коммунистом. Решил на мне отыграться.

– Так, а при чем тут Изй?

– Это аббревиатура, – обворожительно улыбнулся Зонц и, чеканя каждое слово, медленно произнес: – Изучайте Заветы Ильича.

Наступил 1983 год. К тому времени Брежнев уже умер, и его сменил бывший председатель КГБ Андропов. При новой власти все пошло как бы веселей, но в том-то и дело, что как бы. С одной стороны, Советский Союз выступал в ООН с мирными инициативами, с другой – продолжал войну в Афганистане. С одной стороны, боролись с туеядцами, с другой – подешевела водка. Тянули известного рок-музыканта в КГБ, чтобы он подписывал обязательство «никогда не исполнять, записывать и сочинять своих песен», и одновременно издавали пластинки с западными (то бишь идеологически вредными) группами. Давали Госпремию фильму «Остановился поезд» и тут же запрещали «Бориса Годунова» на Таганке. Классическая советская шизофрения, но со смутным ощущением перемен.

Весна в том году пришла рано. По крайней мере в Привольск. Уже в марте зачирикали воробьи, зашумел теплый ветер и стало припекать не по-весеннему теплое солнце. Снег почернел, скукожился и разбрелся грязными островками по территории Привольска.

Майор Кручинин стоял на крыльце управления в распахнутом кителе и курил, осматривая зорким взглядом подконтрольную ему территорию. Жизнь в Привольске текла своим чередом. По крайней мере, изменения политического курса привольчан не затронули. Да и не могли. В конце концов, либерализм был изначальным курсом Привольска. Жмурясь от яркого солнца, Кручинин подумал, что, если бы даже началась третья мировая война, вряд ли бы привольчане узнали об этом, не будь здесь газет и радио. Их бы демобилизовали в последнюю очередь.

Вот мимо пробежали, виляя хвостом, две дворняги гигантских размеров – кажется, драматурга Ревякина (и как они у него плодятся с такой скоростью?). Прогнал на велосипеде Куперман (зачем велосипед в крошечном Привольске?). Затем деловито прошли с хозяйственными сумками поэт Еремеев и актер Вешенцев. Они вяло кивнули майору. Майор вяло кивнул им в ответ. Вообще контакта с привольчанами он старался избегать. Не потому, что они ему были неинтересны, но он четко соблюдал дистанцию. Того же требовал от Чуева. Чтоб никакого панибратства. От охраны он ничего не требовал, так как она менялась чуть ли не раз в два месяца – их все время перекидывали с объекта на объект.

Химкомбинат к тому времени окончательно захирел и встал. Всех химиков перебросили на бактериологическое оружие. Новых отходов больше не привозили. Убрали и почти всю обслугу. Зачем она нужна, если привольчане сами могут справляться? Они научились не только продавать, грузить, убирать, стирать, но и даже управлять проектором в кинотеатре и вести бухгалтерию. Из «приезжих» остался только один повар, которого все почему-то звали дядей Васей, хотя он был не

Васей, а Николаем. Но и то потому, что сам не захотел никуда уезжать. Просьбы привольчан о карцерах, крематориях и бараках Кручинин, конечно же, не выполнил и выполнять не собирался. Посчитал это просто временным помешательством, что-то вроде утрированного «стокгольмского синдрома». То есть мало того, что заложники (заключенные) становятся на сторону террористов (властей), но еще и требуют от последних, чтобы те их сурово наказывали за неповиновение. Правда, в данном конкретном случае аналогия с заложниками была не совсем уместна – привольчане, поняв, что их требования не будут выполняться, как-то сами свели контакт с майором и лейтенантом на нет. Нельзя сказать, что это не тревожило Кручинина – все-таки худо-бедно, но до этого он представлял (хотя бы со слов Ледахина), чем дышит Привольск. Теперь же приходилось рассчитывать на собственное чутье и бдительность лейтенанта. Но за два года он так утомился разруливать мелкие конфликты и бытовые ссоры, что уже был рад, что его оставили в покое. Даже звонить родственникам к нему больше не ходили. А открытки перестали посылать еще в 81-м. Правда, не по доброй воле, а просто открытки перестали завозить. Письма по-прежнему были под запретом, хотя Кручинин искренне не понимал почему. Впрочем, начальству виднее.

Кручинин докурил сигарету и поднялся к себе в кабинет. Разморенный первым весенним теплом Чуев спал, положив голову на стол. Проходя мимо, майор легонько стукнул костяшками пальцев по столу.

– Не спать, лейтенант.

Тот вздрогнул и вскочил, испуганно вращая сонными глазами.

– Виноват, товарищ майор. Э-э-э! Товарищ майор, погодите...

– Что?

– Я это... не знаю, нужно это или нет, но вы сами просили докладывать...

– Ну, не томи уже.

– Я не могу сказать, откуда эта информация, но... в общем, такая тут странная фотография...

– Какая еще фотография?

– Вот эта.

Чуев жестом заправского фокусника, словно из рукава, вытащил черно-белый снимок и протянул его майору. Кручинин взял фото и прищурился, напрягая зрение. Снимок был зернистый, нечеткий, но на нем можно было рассмотреть главное. Там был запечатлен Куперман, одетый в рваный бушлат с белой нашивкой «Ш263» и непонятно откуда взявшийся в Привольске вертухай с автоматом. Куперман стоял, расставив в разные стороны руки, и печально смотрел из-под козырька своей эковской кепки куда-то вдаль. Вертухай же его в этот момент обыскивал. Вся эта композиция до боли что-то напоминала, но что именно, майор вспомнить не мог.

– Что за бред? – нахмурился он. – Откуда эта фотография?

– Виноват, товарищ майор, – потупил глаза лейтенант. – Не могу сказать. Не хочу человека топить.

– Ишь какие мы нежные. И давно она у тебя?

– Да уж недели две как валяется.

– А что ж молчал?!

– Виноват. Я прямо все время забывал сказать. А сейчас полез в ящик и вспомнил.

– Может, ты еще раз полезешь в ящик и еще что-нибудь вспомнишь? Например, что кто-то умер или сбежал.

– Сбежал? – вытаращил глаза Чуев. – Кто?

– Хрен в манто. Это я образно. Ладно. Поднимай жо-пу. Пойдем к Куперману в гости.

– Есть подымать жопу, – печальным эхом отозвался Чуев.

Только у самой квартиры Купермана Кручинин заметил, что до сих пор сжимает в руке чертову фотографию. Он поспешно убрал ее в карман и позвонил в дверь.

– Кто там? – раздался голос Купермана.

– Майор Кручинин.

– У вас есть ордер на обыск?

– Какой, блядь, еще... Совсем, что ли, спятили? Открой дверь, я поговорить пришел.

За дверью воцарилась тишина.

– Так, Куперман. Кажется, там кто-то просил, чтобы я имел право проводить обыск в любое время и без ордера. Было такое? Ну вот и получай: обыск без ордера.

Видимо, не найдя контраргументов против этого железного довода, Куперман щелкнул замком и открыл дверь.

Майор с Чуевым зашли в квартиру.

– А-а! Обыск! – с каким-то странным опозданием засуетился Куперман и побежал в дальнюю комнату.

Кручинин посмотрел на лейтенанта. Тот пожал плечами.

– Алло, Куперман! Что за фокусы?

Майор зашел в спальню и увидел Купермана, который торопливо ел какие-то бумажки.

– Отставить жрать бумагу! – рявкнул Кручинин и, подбежав, стал силой вынимать изо рта Купермана скомканые мокрые листки. – Что это?

Куперман облизнул губы, но промолчал. Майор посмотрел на листки.

– Это ж чистая бумага, – удивился Чуев.

Майор повернулся к Куперману.

– Что за фокусы, Семен? Зачем же ты ешь бумагу чистую, а? Портишь дефицитный товар. Желудок себе портишь.

– Все равно ничего не скажу, – гордо ответил Куперман и отвернулся. Потом повернулся и добавил загадочно: – Может, это не простые листки. Может, тут важная информация зашифрована.

– Не носи хуйню, Семен, – дружелюбно сказал майор. – Вон же пачка стоит надорванная. Финская бумага. Дорогой товар. Я лично для вас заказывал. Чтоб вы творили. Ну что ты комедию ломаешь?

Куперман нервно куснул нижнюю губу, но промолчал.

– Ладно, – пожал плечами майор. – А по поводу вот этого тоже ничего не скажешь?

Он достал фотографию и показал ее Куперману.

– Это я, – скромно сказал тот.

– Да я не тупой. Я понял, что это ты. Скажи, что это за фотография и много ли у тебя таких?

– Давай! – неожиданно разозлился Куперман. – Ройся в моих вещах! Обыскивай! Твое право, начальник.

– Если хочешь, чтоб совсем по-эковски, надо говорить «гражданин начальник».

– Да? – с любопытством переспросил Куперман и исправился, повторив всю фразу с той же интонацией, как будто репетировал пьесу: – Ройся в моих вещах! Обыскивай! Твое право, гражданин начальник.

– Слушай, Семен, а ты не пьяный, часом?

Кручинин наклонился к Куперману и понюхал.

– Вроде нет. Ну ладно. Хочешь обыск? Будет обыск.

– Только не ломайте ничего, – спохватился вдруг Куперман. – Стол очень дорогой. Гарнитур тоже. И полки.

Майор опытным взглядом окинул скудно обставленную комнату и решительно подошел к столу. Перерыв ящики, он буквально через пару минут обнаружил стопку фотографий – явно из той же серии, что и та с «досмотром». Он подошел к окну и стал по очереди перебирать их. На некоторых из них на оборотной стороне были сделанные карандашом подписи. Видимо, для ясности. Кручинин никогда не думал, что выражение «глаза на лоб полезли» может иметь почти буквальное воплощение – глаза у него действительно полезли куда-то в район лба. Чего здесь только не было! Была, например, фотография драматурга Ревякина, несущего бревно (подпись: «Драматург Ревякин на привольском лесоповале»). Была фотография сидящего на пне писателя Семашко (подпись: «Писатель Семашко незадолго до отправки в лазарет в связи с истощением»). Тут, правда, вышел небольшой прокол, ибо довольная морда упитанного Семашко никак не тянула на истощение, ни нервное, ни физическое. Был также лежащий на снегу с руками за голову, но повернувший при этом почему-то лицо в сторону камеры переводчик Файзуллин. Его дружелюбно обнюхивал пес Ревякина. Надпись на оборотной стороне гласила: «Охранники Привольска травят художника Файзуллина сторожевыми собаками» (хотя собака была одна, да и то не сторожевая, а обычная дворняга, как и все у Ревякина). Одной из наиболее странных композиций была фотография критика Миркина, висящего на заборе с колючей проволокой. Подпись на оборотной стороне гласила: «Критик Миркин, пытавшийся перелезть через ограждение и убитый разрядом тока».

– Он что, умер? – удивился майор, так как вчера еще видел Миркина в продмаге.

– Почему? – удивился Куперман. – Пока нет. Ну а вдруг помрет? Будет героическая смерть.

Майор чертыхнулся и вернулся к пачке.

Была здесь также и групповая фотография. На ней были запечатлены почти все жители Привольска, стоящие в ряд. Те, что на первом плане, были одеты в бушлаты, дальние – явно в гражданскую одежду: видимо, бушлатов не хватило. Называлась это полотно «Заключенные Привольска на утреннем построении».

Но больше всего майора потрясла фотография нескольких людей, стоящих у стены в одном исподнем. Она называлась: «Перед фиктивным расстрелом (известная психологическая пытка работников ЧК)».

«Ну, это вы, братцы, перегнули палку», – с раздражением подумал Кручинин и повернулся к Куперману.

– И как все это называется?

– Это? Ну-у-у, – протянул Куперман, придумывая название, – допустим, «Привольский концлагерь».

– Очень трогательно. Значит, вот в такие игры мы теперь играем, да? Да-а-а... подросли детки. И когда вы это все нашелкать успели...

– Это вопрос?

– Нет, блядь, ответ! – рявкнул Кручинин. – Мы, значит, с вами вот так, а вы вот так?

– Это вопрос? – снова поинтересовался Куперман.

– Ай, – махнул рукой майор. – Значит, фотографии эти я конфискую. Много еще таких?

– Все не заберешь, – с вызовом ответил Куперман.

Кручинин покачал головой и присел на край стола. Потом потряс зажатой в руке пачкой.

– Но зачем? – спросил он как будто даже с искренним удивлением. – Ведь это же неправда!

– А что?! – неожиданно разозлился Куперман. – Солженицыну можно, а нам нет?

«А! – вспомнил майор. – Точно. Вот что напоминала фотография Купермана во время обыска – фотографию “Заключенный номер «Щ»” что-то там...»

– Но Солженицын-то сидел! – возразил он.

– Солженицын в лагере не сидел, – возразил Куперман. – А сидел в шарашке. А все это называется «реконструкция». Постановка. Но ему почему-то можно, а нам, видите ли, нельзя.

Майор растерялся.

– Ну хорошо... Но он все-таки сидел. Пусть и в шарашке.

– А мы тоже сидим, между прочим. На химкомбинате работаем.

– Уже не работаете.

– Но работали.

Майор судорожно стал думать, где тут прокол в логике.

– Но зачем? Зачем вам-то? Солженицын хотел показать, что, мол, сидел, что знает лагерную жизнь, что разбирается в ее тонкостях... не знаю. Но вам-то что? Живите, творите, пишите. Все условия вам созданы. А вы какой-то херней занимаетесь.

На это Куперман ничего не сказал. Только поперхнулся и вынул изо рта обслюнявленный клочок дорожкой финской бумаги.

Майор выругался и вышел из комнаты. Чуев засеял следом. Куперман, как будто удивившись, что его не арестовали, поднялся и пошел следом.

– А меня не будете уводить?

Майор ничего не ответил, но у самой двери обернулся:

– А кто вертухая изображал на фотографии?

– Вешенцев, – удивился Куперман.

– А автомат откуда?

– Так это... из дерева Раж выпилил.

– Детский сад! – плюнул с досады майор и, выйдя, хлопнул за собой дверь прямо перед носом не успевшего выскочить за ним Чуева. Тот, оказавшись перед закрытой дверью, какое-то время помялся, топчась на одном месте, не очень понимая, значит ли это, что ему надо остаться с Куперманом или, может, арестовать его, но потом рассудил, что скорее всего майор просто забыл о его существовании. Кивнул на прощание хозяйину квартиры и вышел следом.

Секундная стрелка пересекла отметку 12. Следом, словно спохватившись, испуганно дернулась минутная стрелка, зацепив часовую. Наступила полночь.

– По-моему, вступление затянулось, – сказал Максим, глянув на часы.

Затем отхлебнул из чашки остывший кофе и с омерзением проглотил холодную кофейную горечь.

– Ну что же, – улыбнулся Зонц как ни в чем не бывало. – Вы правы. Итак, вы съездили в Привольск, увидели, что никакого музея там не будет, и пришли в ужас.

– А вы что, за мной следили? – осторожно покосился на него Максим.

– Упаси бог. Просто догадался. Когда я вам звонил, то на заднем фоне было слышно типично вокзальное объявление про отходящие поезда. Кроме того, вы ехали домой – значит, только что прибыли откуда-то в Москву. Машины у вас нет, и до Привольска вы как раз могли доехать только на электричке. Дачи у вас вроде нет, а гостили бы у друзей, вас бы скорее всего подбросили до метро. Ну да бог с этим. Угадал и угадал. Да, Максим Леонидович. Никакого музея там не будет.

– То есть совсем?

– То есть совсем.

– А что же там будет?

– Там будет комплекс. Всякие спа-салоны, бассейны, стриптиз-клуб. Часть территории арендовало телевидение для съемок какого-то реалити-шоу про ебущую молодежь. Что-то типа «Дома-2». В общем, было бы место, а желающие найдутся.

Максим, который не ожидал такой откровенности, на несколько секунд потерял дар речи.

– Погодите, – спохватился он. – Но вы же говорили... культурный объект... проект... меня вон втянули...

– А без вас бы ничего и не вышло. Вам не говорили про химотходы?

– Говорили, – сквозь зубы процедил Максим.

– Ну вот. К ним же на кривой козе не подъехать было. Мы же пытались договориться. Кстати, лажа это все оказалось. Химотходы там были не шибко вредные, да и нечем им было взрывать их. Но на понт, конечно, меня взяли. И тогда я стал искать того, кто может мне помочь.

Максим вздрогнул.

– Это вы про меня?

– Да. Но сначала про Блюменцвейга. Это был человек, которому Куперман, как я тогда думал, поверил бы. Сейчас я, кстати, понимаю, что ошибался. Но это и к лучшему. В итоге я нашел вас.

– А что же с Блюменцвейгом?

– Да ничего. Он наотрез отказался нам помогать – видимо, почуял что-то неладное. У него был нюх на такие вещи. Он начал говорить, что я ничего не понимаю, что вот он пишет книгу про Привольск – там-то он все и расставит по своим местам. Просто, мол, сейчас у него не хватает мужества ее издать.

– Почему?

– Подождите, – поморщился Зонц. – Все со временем поймете. Короче, мы поговорили с Блюменцвейгом... И тут я дал маху. Мне-то совершенно не нужна была лишняя шумиха. Я на него стал давить. И переборщил. Блюменцвейг взбрыкнул. С характером товарищ оказался. В общем, в результате моего давления он решил дописать книгу и поскорее ее издать. Видать, перепугался, что иначе никакой книги вообще не будет. А Блюменцвейг – это вам не Куперман. У Блюменцвейга хватка была ого-го. Он бы ее издал. А вот это мне было бы совсем не на руку. Зачем мне шумиха вокруг Привольска?

– И Блюменцвейг случайно упал под поезд.

Зонц посмотрел Максиму в глаза, выждал паузу, а затем повторил слова Максима, как-то неестественно артикулируя, словно пытаясь загипнотизировать ими:

– И Блюменцвейг случайно упал под поезд.

– Совершенно случайно.

– Именно так, – сухо сказал Зонц.

– Значит, когда Блюменцвейг отпал, вы решили найти меня.

– Проблема была в том, что мне нужно было отыскать людей из того же круга, что и привольчане. А еще лучше – кого-то, кто был бы знаком с Куперманом, который там верховодил. Но ведь тут ройся не ройся, а кто с кем дружбу водил тридцать пять лет назад, узнать довольно трудно. А ведь нужен был кто-то, кто мог бы уговорить Купермана сотоварищи покинуть этот чертов Привольск. В итоге я просто прокинул заказ на книгу о «Глаголе».

– Так это... что, ваш заказ был?!

Максим, конечно, предполагал, что Зонц как-то связан с книгой, но чтобы так!

– Именно. Издательства стали тут же шустрить в поисках нужного мне человека – все ж таки щедро проплаченный госзаказ на дороге не валяется. И вот один из издателей вышел на Толика, а затем на вас. И все. А дальше дело техники.

– Почему же, найдя меня, вы сразу не отменили заказ?!

– Но вы-то мне были нужны! А что я мог вам предложить? Денег? Но зарабатываете вы и так неплохо, тем более много вам не нужно. Живете один. Порадеть за идею? А как ее объяснить? Пришлось пойти на несколько трудоемкую комбинацию. То есть, не раскрывая себя и не отменяя заказ, сделать так, что я вам даю материал для книги, а вы мне – свое имя. Люблю я, знаете ли, многоходовые комбинации, – засмеялся Зонц. – Моя слабость, что ли.

Максим терпеливо переждал смех.

– То есть по сути никакого заказа на книгу изначально не было? – спросил он, чувствуя, как все клеточки его организма наполняются глубокой ненавистью к этому человеку.

– Не-а, – радостно мотнул головой Зонц и тут же шутиливо сложил губы бантиком. – Ну помилуйте, Максим Леонидович! Кому нужны книги про каких-то писателей-семидесятников? Смешно, ей-богу.

– А мне почему-то не смешно, – тихо сквозь зубы сказал Максим.

– Понимаю! – с жаром воскликнул Зонц. – Понимаю! И даже где-то сочувствую!

– Где, интересно? – хмыкнул Максим.

– В душé, конечно.

– А она у вас есть? Чичиков вы наш.

– Не поверите, но есть. И очень даже живая. Живее всех живых.

– Так это, значит, вы же заказ и отменили?!

– Ну да, – спокойно ответил Зонц и достал сигарету. – Вы разрешите?

И, не дожидаясь разрешения, закурил.

– Так, значит, никто книгу и не собирался издавать, – печально подытожил Максим.

– Увы, нет.

– «Тому ж, похоже, все равно, что он едою стал давно»...

– Вы о чем? А... Ха-ха! Ну да. Только я никого не сжирал. Это жизнь... Да и какой из меня медведь?

– Зато из меня великолепный ребенок получился, – скривив губы, процедил Максим.

– Ха-ха! – снова рассмеялся Зонц. – Ну простите. Такова селяви. Но, положив руку на сердце, кому они нужны, эти ваши глагольцы-привольчаны? Кстати, я их устроил. Сделал им новые паспорта. Пенсии. Пусть порадуется на старости лет. Ну Куперман слегка побузил. Ну и что?

– Не бойтесь, что он пойдет в суд?

Зонц снова рассмеялся и даже закашлялся то ли от сигаретного дыма, то ли от смеха.

– Ну вот еще! Во-первых, договор составлен так, что он действителен только при наличии всех участников договора, а таковыми являются остальные привольчаны, которые Купермана сейчас поддерживать не будут. А во-вторых... да не пойдет он никуда.

– С чего вы взяли? – хмуро спросил Максим.

– Слушайте, Максим Леонидович, вы что, так ничего и не поняли? Вы что, до сих пор думаете, что там был концлагерь или что-то вроде того? Ха-ха!

– То есть как? – растерялся Максим. – А фотографии? А проволока?

– Господи! Да разуйте вы глаза! Кто бы им позволил делать фотографии, которые они развесили там у себя

на стендах? Представляю себе фоторепортажи из ГУЛАГа. Ха! Чушь. И проволоку они сами натянули. И крематорий сами соорудили. А на самом деле там был обычный закрытый город. Причем вполне комфортный. Туда даже привозили дефицитные товары. Их туда свезли, чтобы они никому не мешали. А поскольку народ творческий, то даже разрешили им писать, творить и так далее. Причем безо всякой цензуры.

– Но зачем же они тогда все это выдумали? – спросил Максим, чувствуя, что в голове его с какой-то кроличьей скоростью размножаются вопросы.

– Да это простое оправдание. Точнее, оправдывание. Которое привольчанам было внутренне необходимо. Когда лагерь расформировали, они подумать не могли, чтобы вернуться к нормальной жизни. Ведь каждый из них имел круг друзей и знакомых, для которых они были творческими личностями, героями-диссидентами, жертвами режима, изгоями, которым советская власть перекрыла кислород. И тут выясняется, что, пока остальной совок стоял в очередях за чешскими носками и румынскими сапогами, им создали цветущий сад с дефицитными товарами, полным обслуживанием, зарплатой и отсутствием цензуры – мол, творите, господа. А они ни хера не сделали. Не написали, не нарисовали, не сочинили. Довольно болезненный удар по творческому самолюбию. Потому что они оказались нулями. Пустотой, которую совок и наполнял смыслом. Когда же совок устранился, они оказались полной бессмыслицей. Впрочем, не исключено, что свою роль сыграл и химкомбинат, что был на территории Привольска. По крайней мере, до сих пор неизвестно влияние на психику и мозг человека тех химотходов, которые они там перерабатывали. Впрочем, это частности. Единственно, что вас может обрадовать, так это то, что, осо-

знав себя нулями, они почувствовали боль и стыд, и в этом смысле они все-таки были какой-никакой, а интеллигенцией, не находите?

– Почему же Блюменцвейг молчал?

– Да по той же причине. Он ведь тоже был активным диссидентом. Он сам себе не мог признаться в собственной пустоте. Поэтому и принялся делать себе новую биографию. Суетился, суетился, боролся с серостью. Ну и книжку свою пописывал. Хотел оставить после смерти в назидание потомкам.

И Зонц расхохотался. Как всегда, заразительно.

Максим почему-то подумал, что в русском языке смех заразителен, а болезнь заразна, и никак не наоборот, хотя и то и то имеет абсолютно одинаковое значение.

– Но ведь есть же отчеты, данные о Привольске...

Зонц усмехнулся.

– В КГБ во время перестройки творился такой бардак, что документов по Привольску там днем с огнем не сыщешь. Я же был в спецхране. Там полная неразбериха. Да и список привольчан мне попал в руки почти случайно.

– А зачем же вы мне все это рассказываете? – вдруг как будто очнулся Максим.

– А зачем мне вас держать в неведении? – вопросом на вопрос ответил Зонц.

– До этого, однако, вы меня именно в нем и держали, – едко заметил Максим.

– А как было иначе? Я же все уже объяснил. С книгой, правда, я вас слегка подвел, но, во-первых, вот...

Тут Зонц полез во внутренний карман, и Максим невольно съежился. «Сейчас достанет пушку и всадит девятиграммовый гонорар прямо в лоб».

Заметив напряжение Максима, Зонц улыбнулся, видимо, прочитав мысли собеседника.

– Ну, вы уж из меня совсем злодея-то картонного не делайте.

Он шлепнул на стол пачку стодолларовых купюр.

– Что это? – задал глупый вопрос Максим.

– Ваш гонорар, причем целиком.

На секунду у Максима мелькнула мысль сказать «нет» и брезгливо отодвинуть деньги, а может, даже и швырнуть в лицо коммерсанту. Но он быстро понял, что даже на это не способен, и потому просто поднял глаза на Зонца.

– А во-вторых, – продолжил тот, поправляя дорогой пиджак, – согласитесь, что в свете новых фактов вся ваша книга яйца выеденного не стоит.

Эта формулировка покорибила Максима, но он и тут промолчал.

– Да и потом, – добродушно улыбнулся Зонц. – Ну рассказал я вам все и рассказал. Не будете же вы мне дорогу перебегать и на рожон лезть? Хотите, кстати, я вас к себе на работу устрою?

– Швейцаром в стриптиз-клуб?

– Ну зачем же так? Не забывайте, я же все-таки советник по культуре. А вы – человек образованный, с вами приятно поговорить. Будете что-нибудь курировать.

Подавленный свалившейся на него информацией, Максим ничего не ответил. Зонц откашлялся и задал окурок сигареты.

– Ну вы сейчас ничего не говорите. Но подумайте. Эх, жаль, что вам пить нельзя – сейчас бы выпили.

– За что? – горько усмехнулся Максим. – За то, что вы и есть самый главный рассадник ВИТЧа?

– Ха-ха! Бросьте вы эти блюменцвейговские штучки. Было и прошло.

– Теперь понятно, почему вы не привлекали никакие службы. А я-то думал, почему все такими узкими силами решается. Ни тебе мигалок, ни ОМОНа.

– Все верно. Зачем мне лишняя шумиха? Это же мой город.

– Угу, – хмуро пробурчал Максим. – Прямо Кампанелла. Город Зонца.

– Смешно, – улыбнулся Зонц. – Да не переживайте вы так за культуру. Я же ведь с вами заодно.

– Это, интересно, как? Собирается устраивать салоны, казино и бордели, а сами боретесь за культуру?

– Да! Именно так! Пускай плодится серость и масскульт развлечений. Ради бога. Не надо с ней бороться.

– А надо ею пользоваться, да?

– И это в том числе. Но на самом деле все это к лучшему. Ведь культура только тогда и будет культурой, когда станет островком. Небольшим островком. Именно тогда на этот островок будут стремиться попасть люди. А если вы будете растягивать этот остров на целую страну и весь народ, то от культуры ничего не останется. Будет большой растянутый гондон, простите за грубость. Этим вы только убьете культуру.

– А не боитесь, что этот островок просто утонет в мире ВИТЧа, выражаясь термином Блюменцвейга?

– Не боюсь. Не надо только на него переселять целые народы. Тогда он и не утонет.

Зонц встал и, зевнув, тряхнул головой.

– Не выспался совсем, – пояснил он. – Замотался. Ну ладно. Насчет моего предложения подумайте. И не переживайте.

Он протянул руку, которую Максим вяло пожал.

– И вам не хворать, – сказал он тихо и беззлобно. Потом вдруг поднял глаза.

– Скажите, Зонц, а почему мне снится один и тот же сон? Как вы думаете?

– Не знаю, – пожал тот плечами. – Говорят, это зависит от фазы сна. Он вас что, мучает?

– Можно и так сказать...

– Ну, если сон тревожный, значит, вас что-то беспокоит. Хотя может быть и простое переутомление. Это может быть и постстрессовое состояние, и еще черт-те что. Сходите к невропатологу...

– Но сон не тревожный.

– Да? – удивился Зонц. – А если сон не тревожный, как он может мучить?

Максим грустно усмехнулся и развел руками. Зонц выдержал паузу, но, поняв, что ничего за этим жестом не последует, хмыкнул и вышел в коридор. Сказал, что позвонит, и вышел.

Закрыв за гостем дверь, Максим обессиленно сел на стул в коридоре и уставился на автоответчик. В голове пчелами роились мысли.

Значит, его использовали... *«ребенка не моргнув сожрал»*... Очень мило. Вот она, новая реальность. Забыл спросить про Панкратова и книгу Блюменцвейга... Черт... Как там Блюменцвейг говорил? Самое большое зло – это те, кто пользуются нормой для достижения своих личных целей. Они – главные пожиратели реальности и производители серости. Они ее спонсоры. И все же... неужто Зонц непричастен к смерти Блюменцвейга? Свежо предание. Или, как остроумно заметил Блюменцвейг про одного их сокурсника, который сбежал на Запад и которого поносили на комсомольском собрании за то, что тот предал Родину, – «свежо предательство, да верится с трудом». А главное, что теперь и не узнаешь никогда: сам ли Блюменцвейг под поезд соскользнул или помог Изя Зонц. То есть Изя. Изя... Take it Изя...

В голове стало крутиться дикое имя Зонца, и Максим встал. Стал расхаживать по квартире и сам не заметил, как очутился в библиотеке. На самой нижней полке он

увидел книгу «Беседы с Лениным. Статьи, интервью» и, присев на корточки, вытащил книгу за корешок. Вообще-то подобную литературу Максим у себя в библиотеке держать бы никогда не стал, но эту книгу ему подарил Блюменцвейг. Еще в институте. Перед зачетом по марксизму-ленинизму. Причем нагло подписал: «От автора с любовью». С тех пор эта книга уверенно заняла свое место в рядах художественной литературы, и Максим просто не решался ее выбросить. Теперь, кажется, пробил ее звездный час. Он открыл книгу наугад, и первое, на что наткнулись его глаза, был следующий абзац:

«В искусстве я не силен. Для меня это что-то вроде интеллектуальной слепой кишки, и когда его пропагандная роль, необходимая нам, будет сыграна, мы его: дзык! дзык! Вырежем. За ненужностью». И чуть ниже: «1923 год, из беседы В.И. Ленина с художником Юрием Анненковым».

«Вот оно, твое ИЗИ, – подумал с досадой Максим. – Изучайте заветы Ильича».

Он отложил книгу и набрал телефон Алика. Больше звонить было некому. Ну не Толику же душу изливать. Впрочем, как знать...

Трубку взяла жена Алика Рита.

– Алло.

– Алло, Рита? Это Максим. Я сегодня зайду, ничего?

– Да, мы дома целый день. Алика сейчас нет, но я передам ему.

– Спасибо.

Положив трубку, Максим почувствовал какое-то облегчение.

XXVII

Дверь открыл сам Алик. За те несколько лет, что они не виделись, он совершенно не изменился. Бывает такой «морозоустойчивый» тип людей. На нем были джинсы, майка и ослепительно белые носки. Он не любил тапочки. Всегда ходил в носках. Говорил, что так он ближе к земле. Когда же его спрашивали, а почему не босиком, мол, так еще ближе, он отвечал, что босиком холодно, что, в общем, было хорошим логическим объяснением, после которого спрашивающий терялся и замолкал.

– Ну привет, блудный брат, – усмехнулся Алик, впуская Максима в квартиру.

Они пожали друг другу руки, но Алику этого показалось мало, и он крепко обнял Максима, даже, кажется, попытался того поцеловать. Максим с детства не любил дружеских поцелуев, поэтому слегка отстранился.

– Да ты проходи, проходи, – засуетился смущенный этим отстранением Алик.

В прихожей было темно, особенно после залитой солнцем лестничной клетки.

Максим сделал шаг и тут же обо что-то споткнулся. Падая, ухватился за чье-то пальто на вешалке, сорвал его и упал, ударившись коленкой обо что-то твердое.

– Мать твою! – выругался он, вставая и потирая ногу.

Только сейчас он заметил, что на полу сидел тот, об кого он споткнулся – двенадцатилетний сын Алика, который прямо в прихожей мастерил огромную кривую табуретку. Делал он это крайне сосредоточенно и, похоже, даже не заметил, что о него споткнулись.

– Блин, Вадик! – разозлился на сына Алик. – Сколько раз тебе говорить?! У тебя есть комната, комната, комната!

Каждое повторение сопровождалось легким подзатыльником встающему сыну.

– Слово «комната» всегда сопровождается подзатыльником? – поинтересовался, морщась от ушиба, Максим. – Когда он вырастет, он будет вздрагивать при слове «комната».

– Не будет, – уверенно ответил Алик.

– Прекрати бить ребенка, – выскочила на шум жена Алика Рита. На ней был фартук – она явно что-то готовила. – Привет, Максим.

Прежде чем Максим успел ответить что-то, она быстро чмокнула его в щеку.

– Я его не бью, – обиженно сказал Алик.

– Слышал, что тебе отец сказал? – спросила Рита у сына и вопреки всякой логике тоже отвесила ему легкий подзатыльник. – Марш в свою комнату!

Сын поплелся к себе в комнату, волоча по полу недоделанную табуретку. Рита убежала на кухню.

– Надеюсь, ты платишь сыну зарплату, или он за хлеб и воду на тебя работает? – попытался пошутить Максим, снимая ботинки.

– Я тебя умоляю. Это он для урока труда. Пойдем. А-а!!!

Алик неожиданно принялся кружиться на одной ноге, словно шаман в экстатическом танце.

– Что еще? – испугался Максим.

– Мать твою! Все из-за этого кретина с табуреткой! Занозу засадил!

Алик прислонился к стене, стянул носок и поднял ногу, пытаясь вытащить занозу из ступни.

– А сколько раз я тебе говорила не ходить по дому в носках?! – раздался раздраженный голос Риты из кухни. – Зачем я тогда покупала тебе тапочки?!

Максим, несколько отвыкший от таких бурных эмоций, смущенно потербил кончик носа.

В прихожей появилась Рита и решительно протянула тапочки для Максима.

– Вот, возьми.

Максим покорно взял тапочки.

– Я на кухню, потом позову, – сказала Рита и исчезла.

Риту Максим не видел со свадьбы Алика. Так уж вышло. С Аликом они виделись нечасто, но Риту он вообще никогда не заставал дома. А в гости к нему Алик почему-то приходил без жены. Получалось, что Максим видит ее второй раз в жизни. Эта мысль его почему-то позабавила. Знакомы-то уже почти десять лет. Вообще Рита и Алик были идеальной парой. Классикой жанра, так сказать. Алик – немного витающий в облаках художник, рассеянный творец, а Рита – деловитая, домовитая, знающая, что почем. При этом тут не было и намека на подкаблучничество. Алик в гневе был довольно грозен и опасен. Но Рита знала к нему подход даже в такие минуты. Они часто ссорились, но ссоры всегда были пустяковыми и никогда не переходили во что-то более серьезное. Кажется, с их помощью супруги просто

выпускали пар. Друг без друга они своего существования не представляли.

– Сюда проходи, – сказал Алик, припрыгивая на одной ноге. – Здесь мой кабинет.

Он открыл дверь и, прихрамывая, вошел первым.

Следом зашел Максим, потирая ушибленную коленку.

– Давно у тебя не был, – сказал он, оглядывая со вкусом обставленную комнату Алика. – Неплохо тут... Уютно.

– А то, – не без гордости ответил Алик. – Сколько денег вбухано, если б ты знал.

– Догадываюсь.

– Садись на диван, – сказал Алик, а сам подошел к компьютеру и включил монитор.

– Ты по-прежнему в мультипликации? – спросил Максим,

– И да и нет, – замялся Алик.

– То есть?

– Хочешь, кое-что покажу?

– В детстве, когда ты говорил эту фразу, я знал, что дальше последует какая-нибудь пакость. Хотя ты и был младше меня.

Алик рассмеялся.

– Да нет. Просто чтоб ты понял. Гляди сюда.

Он быстро забарабанил по компьютерной клавиатуре, и на экране возникло какое-то движение.

Присмотревшись, Максим увидел мультипликационную Дюймовочку, которая стояла в поле, собирая цветочки. Неожиданно в кадре появился большой крот в шортах. Он шел к Дюймовочке, широко улыбаясь во всю свою кротиную пасть, но при этом глядел почему-то не на нее, а в камеру, как глупый статист, которому не объяснили, что в камеру смотреть нельзя. Наконец

он развернул свою носатую морду в сторону Дюймовочки, подошел к ней сзади и, приспустив шорты, вытащил огромных размеров детородный орган. После чего он задрал коротенькую юбку Дюймовочки, стянул трусики и «вошел» в ту сзади. Дюймовочка томно застонала и задвигалась в такт движениям Крота.

– Что это? – недоуменно поморщился Максим.

– Крот трахает Дюймовочку, – пожал плечами Алик.

– Я не дебил, и мне уже пятьдесят пять лет. Я не спрашиваю, что они делают, я спрашиваю, что *это*?

– Да что ты пристал-то?! Ну, мультфильм для взрослых. Чего непонятного-то?

– Я не пойму... Это то, чем ты сейчас занимаешься, что ли?

– Ну да, – как будто растерялся Алик. – А что? Порно-мультики сейчас дико актуальны. Или ты думаешь, я вот это все, – обвел он руками комнату, – заработал, делая продолжение «Ну, погоди!» для канала «Биби-гон»? У меня знаешь какие заказы? Вон!

Алик взъерошил кипу листов на столе.

– Все хотят порно. Но обычная порнуха уже приелась. Теперь хотят мультяшную. Причем чтобы герои были знакомые по детству, а не просто какие-то красавицы. Ну, скажем, Крокодил Гена трахает Шапокляк. Карлсон трахает маму Малыша. Или малыш – Фрекен Бок. Или ослик Иа-иа – Сову. Ну, это так, больше для смеха. Или...

– Или Крот – Дюймовочку, – отрезал Максим. – Перечисление можно опустить. Я примерно уловил тенденцию.

– Ну да. А что, тебя что-то смущает?

– Смущает?! – усмехнулся Максим. – Да ничего. Хотя нет. Меня, блядь, смущает! Меня смущают шорты на Кроте. Никогда не видел кротов в шортах.

В этот момент в комнату зашла Рита с салатницей, в которой что-то мешала большой пластиковой ложкой. Неожиданное появление Риты почему-то смутило Максима, и он почти инстинктивно дернулся куда-то вбок, словно пытался показать свою непричастность к стонущим от сладострастия мультипликационным героям.

– А-а, – закивала головой Рита, глядя на экран, и повернулась к Максиму, – правда, классно? Я считаю, это лучшая Аликова работа. Ну, одна из лучших.

Смущенный похвалой, Алик даже слегка опустил глаза.

Максим промямлил что-то нечленораздельное.

– Ой, – сказала Рита, – покажи Максиму про домовенка Кузю. Там просто шедевр.

Максим представил домовенка Кузю, трахающего, видимо, девочку, а может, и маму девочки, а может, и другого домовенка, и его затошнило.

Рита понюхала салатницу.

– Масло, что ли, какое-то испорченное. Понюхай, Алик.

Она поднесла салатницу к лицу Алика, и тот осторожно понюхал.

– Нормально? – спросила Рита.

– Вроде да, – пожал плечами Алик.

– Но немного странное все-таки, – задумчиво сказала Рита и вышла из комнаты.

После этого Алик уставился в монитор, словно впервые видел свой собственный мультфильм. Потом как будто очнулся.

– Извини, Максим. Так о чем мы говорили?

– Честно говоря, я думал, что Риту смущает вот это вот, – сказал Максим.

– Это? Да ты что! – рассмеялся Алик. – Наоборот, заводит. Мы с ней посмотрим пару мультиков, и в кроватку. Хочешь, кстати, и тебе подборочку скину?

– Да мне вроде не с кем уже... Черт! – неожиданно разозлился Максим. – Алик, бляха-муха! Ты ж аниматор! Ты ж на каких-то фестивалях показывался. Скажи мне, что ты это делаешь из-за денег!

– Конечно! – радостно согласился Алик. – Иначе на что жить? Все студии развалились. Спонсоров днем с огнем не сыщешь.

– То есть ты бы хотел заняться анимацией?

– Сейчас? Да не... Что сейчас можно в анимации сделать? Мертвое дело. А ты зря, кстати, так скептически относишься к вот этому вот.

Он как будто даже обиделся.

– Это, между прочим, тоже творческая работа. Требуется усилий.

– На снегу мочой вензеля выписывать – тоже творческая работа. И тоже требует усилий.

Сравнение вышло чересчур обидным, но Максим намеренно хотел задеть Алика.

– Слушай, Максим, – побледнел от злости Алик, – а когда ты писал «Магистраль за горизонт», ты тоже дико страдал и переживал?

Максим растерялся. Писать про коммунистов и магистраль ему было не шибко приятно, но, во-первых, гре-ла мысль о том, что он своим профессиональным трудом обеспечивает семью деньгами (хотя впоследствии он и ошибся), а во-вторых, где-то в душе он надеялся, что сможет с помощью своего таланта как-то расцветить убогий идеологический сюжет повести. Подобные надежды (скорее иллюзии) были довольно распространены в то время, да и вообще в советские времена. В глубине души многие писатели оправдывали свою писанину Гайдаром, Катаевым, Бабелем и еще кучей советских писателей, которым удавалось «утопить» идеологическую однозначность в парадоксальности и объе-

ме собственного таланта. Максим хотел было сказать, что, может, и не страдал, но где-то переживал. Однако подумал, что, похоже, соврет (писалось-то легко), хотя, конечно, сомнения свербили душу.

– Не знаю, – пожал он плечами, – может, ты и прав.

На этих словах Алика слегка отпустило, и он победоносно шмыгнул носом.

– Знаешь, – сказал Максим, – я ведь зашел не просто повидаться, уж извини за прямоту.

– Да чего уж там, – усмехнулся Алик. После сравнения с мочевыми вензелями его уже ничего не могло задеть.

Максим вдруг понял, что ничего не хочет рассказывать Алику – ни про Привольск, ни про книгу, ни про Зонца. Он отрешенно посмотрел на компьютерный монитор. Там по-прежнему Крот совокуплялся с Дюймовочкой. Правда, теперь он лежал на спине, а она сидела сверху.

– Полный ВИТЧ, – тихо, но членораздельно произнес Максим.

– Что? – вздрогнул Алик.

– Я говорю, ВИТЧ полный, – сказал Максим. – Прости, Алик. Я зайду в другой раз.

И, встав, вышел из комнаты.

Алик метнулся за ним, потом вспомнил про мультфильм, вернулся и стал щелкать мышкой, выключая стонущих персонажей. Потом выбежал в коридор, но Максима нигде не было. Только дверная цепочка на входной двери по инерции болталась, словно маятник часов, отсчитывающий уходящее время. Тик-так. Потом маятник замер.

– Все готово, – вышла из кухни Рита. – А где Максим?

XXVIII

Нет, Максим совершенно не ошибался, когда чувствовал в голосе Зонца какое-то восхищение бурной деятельностью Блюменцвейга. Зонц действительно восхищался. И на то были свои причины.

Все началось еще в детстве. Впрочем, в детстве начинается все, включая собственно появление нас на свет. Не говоря уж про старика Фрейда, который доказывал, что и все наши фобии, комплексы и желания тоже родом оттуда. Но в случае с Изей все имело очень даже конкретную предысторию.

Изя рос мальчиком смышленным и любознательным, несмотря на то что родители не прилагали к этому никаких усилий – читать сына не заставляли, за школьной успеваемостью не следили. Не говоря уже о какой-либо особой тренировке памяти или вообще мозга. Они были людьми, можно сказать, простыми (отец – преподаватель марксизма-ленинизма в не самом популярном московском вузе, мать – лаборантка), звезд с неба не хватало, чего и сыну желали. Но, видимо, те или иные таланты проявляются у нас вне всякой зависимости от окружающей среды, а часто даже и наперекор оной.

Так, Изю интересовало все то, к чему ему не пытались привить интерес родители. А так как они ни к чему не пытались привить интерес, то и интересовался он решительно всем. Он смотрел кино, читал книги (причем без разбору), с удовольствием решал математические задачки, увлекался иностранными языками и часами мог изучать карту мира, висевшую в коридоре их квартиры.

Но решить, что именно его интересует, он никак не мог. Помог случай.

Как-то в почтовый ящик Изиных родителей положили чужое письмо. Ничего криминального – просто перепутали квартиру. Письмо предназначалось для старика, живущего двумя этажами выше. Мама попросила Изю сходить и отдать письмо старику лично в руки. Так Изя познакомился с Леонидом Андреевичем. Тот жил один в просторной трехкомнатной квартире в окружении своих любимых книг. Лет ему было много – девяносто и еще немного сверху, как он сам неопределенно выражался. Для десятилетнего Изю это был за предел. Так уж вышло, что он был поздним ребенком и потому ни бабушек, ни дедушек ни с какой стороны не застал (или, точнее будет сказать, они не застали появление Изю). По иронии судьбы все они умерли примерно в одном и том же семидесятилетнем возрасте. Оттого для Изю смерть была не просто непреложным законом, а законом с конкретно установленным пределом – ровно в семьдесят лет всем приходит крышка, и рыпаться бессмысленно. Нет, конечно, ты можешь умереть раньше, если уж очень не терпится ну или не повезло, но дольше семидесяти никак не протянуть.

Таким образом, девяностолетний Леонид Андреевич казался ему не просто долгожителем, а человеком, умудрившимся обмануть саму смерть – то есть человеком,

обошедшим непреложный закон природы. Может быть, именно из этого открытия Изя вывел главный девиз всей его будущей жизни – нет такого закона, который нельзя было бы обойти. Но тогда для Изи это было лишь теоремой, которую еще следовало доказать. Доказал он ее даже раньше, чем предполагал.

Он, конечно, отнес письмо старику, не забыв при этом представиться. Старик невероятно обрадовался малолетнему визитеру (что неудивительно – внешне Изя был мальчиком-ангелочком: кудряшки и живые голубые глаза) и предложил чаю. Так завязалась их дружба. Вскоре Изя стал частым гостем одинокого старика. Постепенно выяснилось, что Леонид Андреевич своих детей не имел, жену схоронил двадцать лет назад и с тех пор не женился. Старых друзей у него не осталось, а новые в таком возрасте, как известно, не заводятся даже от сырости. Таким образом, Изя был словно послан небесами, чтобы скрасить последние годы, а то и месяцы старика. Сначала они просто болтали на разные темы, а затем Леонид Андреевич незаметно все свел к литературе – чувствовалось, что он ею болел.

«В литературе есть ответы на все вопросы», – часто повторял он. Изя литературу любил и с удовольствием слушал сюжеты разных произведений в пересказах старика.

А однажды Леонид Андреевич вдруг предложил почитать что-нибудь вслух.

– Я вам? – спросил Изя, которого такой поворот не очень обрадовал – в сиделки он все же не нанимался.

– Зачем? – засмеялся старик. – Я тебе.

– А что именно? – растерялся Изя.

Старик обвел глазами свою богатую библиотеку и развел руками:

– А что хочешь, то и почитаю. Что ты любишь?

– Ну-у-у... – протянул Изя, – люблю приключения и чтобы весело было.

И тут же поправился:

– Только чтобы не для детей.

– А Гоголя не хочешь? – спросил Леонид Андреевич.

– Гоголя? – поморщился Изя – это имя отдавало нафталином – и вяло добавил: – А что Гоголя?

Старик на память начал перечислять названия: «Шинель», «Проспект», «Мертвые души»...

– «Мертвые души»? – остановил его Изя. – Это страшилка? Давайте их, что ли.

Старик рассмеялся, но спорить не стал.

Так у них и повелось. Каждый день Изя сбегал из школы чуть раньше, а затем несколько часов проводил в гостях у старика. Родителям ничего не говорил, да они и не спрашивали. Несмотря на почтенный возраст, старик читал неплохо и, казалось, даже не уставал. Время от времени они делали небольшой перерыв на чай, а потом снова продолжали чтение. Старику льстило сосредоточенное внимание, с которым Изя слушал его. Он почти никогда не перебивал и не переспрашивал, лишь иногда в самых неожиданных местах выдавал странные реплики.

Так в сцене, где Чичиков говорит Манилову, что хочет купить у того мертвых душ, а Манилов от неожиданности роняет трубку, маленький Изя с досадой цокнул языком и сказал: «Не так надо было!». Опешивший Леонид Андреевич попытался выяснить, что именно «не так», но Изя смутился, попросил прощения, но объяснять ничего не стал.

В другом месте Изя, наоборот, долго деловито кивал головой, а в конце сцены сказал: «Это правильно». Но снова как будто произвольно.

И так Изю затянуло это дело, что он не заметил, как школа и родители стали отходить на какой-то второй план. Бывало и так, что вместо школы он отправлялся напрямик к старику, где сидел до вечера, а после спускался на лифте на первый этаж, выходил из подъезда, а потом ехал к себе домой. Это было необходимо, потому что сухая и чистая обувь могли привлечь внимание мамы, у которой на такие вещи глаз был наметан. Иногда он даже специально падал в сугроб, чтобы потом пожаловаться маме, что его изваляли в снегу по дороге из школы.

Однако чтения шли все с большими перебоями – старик начал хворать. Изя не мог требовать от больного продолжать читать. Конечно, он мог и сам прочитать, но ему нравилось чтение вслух. Тут ничто не может ускользнуть от внимательного слушателя. Ни описания, ни размышления, ни отступления.

Дошло до того, что Изя даже начал бегать за лекарствами и продуктами для Леонида Андреевича. В конце концов, законы природы старик, может, и обманул, но бессмертным все ж таки не был и рано или поздно должен умереть. Болезнь, благо, пришлась на осенние школьные каникулы, и потому Изя мог тратить свое время, как ему заблагорассудится – родители его особенно не контролировали.

Однажды в начале ноября Изя сидел у постели старика и расспрашивал что-то о его прошлой жизни. Оказалось, что старик был актером, отсюда и его чтецкое мастерство. Но в театре жизнь как-то не сложилась – роли ему доставались все какие-то мелкие. В кино он мелькнул пару раз и тоже как-то не запомнился. Обид Леонид Андреевич ни на кого не таил, хотя в скромности своего таланта не признавался – все больше давил на невостребованность. Впоследствии Изя много об-

щался с разными людьми, но только в творческой среде это слово так любили. Им прикрывали все: от своего плохого характера до отсутствия мало-мальского таланта. Скорее всего Леонид Андреевич был просто не особо талантлив. Но об этом можно было только догадываться – на эти темы старик говорил неохотно. В какой-то момент в дверь позвонили. Изя инстинктивно дернулся (родители?), но старик успокоил слабым жестом руки – пенсию принесли. Он попросил Изю впустить почтальона. Изя открыл дверь. Там стояла немолодая женщина, которая попросила позвать Леонида Андреевича. Изя сказал, что тот болеет и очень слаб, поэтому пусть она пройдет в комнату. Почтальонша подошла к кровати старика, поздоровалась, покачала головой (как же, как же – старость не радость), получила малоразборчивую подпись и отдала старику пачку десятирублевых купюр. Затем ушла. Но перед уходом, уже стоя на лестничной клетке, сказала:

– Деду твоему в больницу надо. Чай, и так уже одной ногой в могиле. Где родители-то?

Изя уже было собрался объяснить, что он вовсе не внук, а его родители находятся двумя этажами ниже и вряд ли станут везти в больницу незнакомого старика, но почему-то неожиданно сказал совсем другое.

– Хворает, конечно...

А затем вздохнул и добавил:

– А родители умерли. Вдвоем мы остались.

Почтальонша снова поохала-поахала, погладила Изю по голове, достала из кармана какую-то липкую невкусную конфету, протянула ее новоиспеченному «внуку» и ушла.

Так Изя узнал, что старик получает пенсию. И пенсию немаленькую. Почти двести рублей, ибо имеет всяческие заслуги, награды и благодарности. Что такое

пенсия, Изя приблизительно знал, и все же его удивил тот факт, что деньги можно получать, ничего не делая. Это стало вторым открытием. Первым был запредельный возраст старика и, как следствие, возможность обходить законы, какого бы рода они ни были. Казалось, сама судьба ведет маленького Изю к тому единственному решающему шагу, который в конечном счете и определил все будущее течение его жизни. Впрочем, это, конечно, иллюзия. Одно и то же событие предполагает множество интерпретаций, и каждый делает вывод в соответствии со своими склонностями. Скажем, другой мальчик на месте Изю увидел бы в пенсии «не деньги за ничегонеделание», а, наоборот, необходимость трудиться, чтобы в конце получать заслуженную денежную благодарность от государства.

Посему глупо считать, что судьба как-то намеренно ведет нас от одного события к другому. Судьба вообще не имеет никакой цели. Она просто ставит перед нами шахматную доску и предлагает сыграть партию. И дальше уже нам самим решать, как начинать игру – с защиты или с нападения. Кто-то осторожничает, проводит бесконечные рокировки и после каждой потерянной фигуры рвет волосы. Кто-то, наоборот, бросается вперед, беспечно обнажая фланги и легко отдавая на съедение свои пешки. Кто-то сразу предлагает дружескую ничью – мол, да что нам делить-то? Кстати, если это сделано весело и непринужденно, судьба может проглотить наглость и даже пожать вам руку. Есть и такие, которые после первого хода кладут своего короля набок и сдаются. Некоторые, наоборот, не сдаются, но при этом бесконечно просят дать им «переходить» – они, видите ли, слишком нервничают, чем очень сильно раздражают судьбу. Наконец, есть самые отвязные, которые предлагают судьбе вместо шахмат сыграть в до-

мино или в подкидного. Им почему-то кажется, что судьба не так хорошо «шарит» в домино. Короче, вариантов масса. Однако одно остается неизменным, а именно сама игра. Длинная она или короткая, а играть приходится всем. И, к сожалению, большинство уверены, что если они будут играть по правилам, то и судьба жульничать не будет. Когда же она ни с того ни с сего двигает пешку по диагонали, они погружаются в состояние шока, выйти из которого не могут месяцами, а то и годами. Остается лишь догадываться, сколько бы таким «чувствительным» потребовалось времени, чтобы прийти в себя, если бы судьба вдруг схватила доску и «игриво» шандарахнула ею по голове. Кстати, после этого она могла бы запросто предложить играть дальше. Продолжая это занимательное сравнение с шахматами, можно сказать, что Изина партия началась с того, что он попытался поставить судьбе «детский мат». Тогда еще скорее по наитию, нежели осознанно.

Так случилось, что в начале ноября старик умер.

Изя пришел, как обычно, сразу после школы, открыл дверь данным ему ключом, окликнул хозяина и, не дождавись ответа, вошел в спальню. Старик лежал на кровати, слегка запрокинув голову и свесив одну руку почти до самого пола. Черты его лица как будто обострились: щеки ввалились, нос вытянулся, скулы выпирали даже под гущей бороды. Глаза были открыты, а взгляд был уставлен в потолок, словно он что-то там рассматривал. Слегка отвисшая нижняя челюсть придавала этому взгляду какое-то немое удивление, словно перед смертью старик увидел что-то над собой, да так и не смог отвести взгляд. В принципе, если бы не распахнутые глаза, его вполне можно было бы принять за спящего. Изя окликнул Леонида Андреевича, но как-то больше в пустоту, уже не ожидая никакого ответа. За-

тем подошел и потрогал руку – она была непривычно холодной. Изя никогда не видел мертвых, но почему-то совершенно не испугался. Его смущал только застывший взгляд старика. Изя был уверен, что, умирая, люди засыпают, а стало быть, обязательно закрывают глаза. Но это смущение он преодолел, вспомнив, что гоголевский Вий просил поднять ему веки. А если веки можно с чужой помощью поднять, значит, можно и опустить. Изя попробовал, и у него получилось. Теперь старик выглядел в полном соответствии с Изиными представлениями об умерших. Но что делать дальше, Изя не знал. То есть, конечно, он понимал, что нужно обратиться к взрослым, они вызовут милицию, дальше старика вынесут, положат в гроб и закопают. Эта цепочка была для Изя очевидной. Однако что-то подсказывало ему не торопиться. Почему – он и сам не знал.

Старика было, конечно, жаль. Бесчувственным Изя не был. Просто «накачанный» литературой и кино мозг говорил Изе, что смерть – это не просто смерть. Во многих фильмах и книгах старики, уходя в мир иной, обязательно что-то говорили на прощание тем, кто оставался. Например, «ну все, теперь ты знаешь больше меня и я тебя уже ничему научить не смогу» или «я передал тебе мое ремесло, теперь прощай». После этого они на секунду замирали, а затем резко откидывали голову, чтобы зритель (или читатель) понимал, что герой умер, а не просто шутки шутит. Таким образом, жизнь представлялась Изе эстафетной палочкой, которую надо успеть передать кому-то. В противном случае ты и сам не добежишь до финиша, и команду подведешь, и весь твой бег до этого момента окажется бесполезным. Старик передал Изе какую-то часть себя и своих знаний, и нет ничего удивительного, что с чистой совестью ушел в лучший мир.

Тихо тикали антикварные часы с кукушкой. Изя сидел у постели старика и слушал это тиканье, словно пытался разобрать: может, часы хотят сообщить ему что-то важное. Потом вышел на балкон. Тот был завален какими-то газетами и обломками мебели, покрытыми первым декабрьским снегом. Зиму в этом году обещали суровую. Изя поежился и вернулся в комнату. Затем взял ключи и вышел из квартиры, предварительно заперев дверь.

На следующий день он вернулся. Теперь он понимал, что надо заканчивать это хождение. Надо кому-то сказать. Надо отдать ключи от квартиры. Но судьба сделала упреждающий ход. Как будто нечаянно ошибившись, она подставила одну из своих пешек под удар. Не «съесть» эту пешку было выше Изяных сил. Много позже он понял, что у судьбы ничего нечаянного не бывает.

Была половина шестого, и Изя уже собрался выходить, когда в квартиру позвонили. Поколебавшись пару секунд, он все же открыл дверь – там стояла почтальонша.

– Ну, здравствуй, – сказала она, проходя, – как дедушка? Неожиданно для самого себя Изя соврал.

– Да ничего... Болеет только.

– Да? – покачала головой почтальонша. – Ну мне только роспись его и...

Старик лежал на кровати, простыня закрывала ему пол-лица.

– Чего это он? – слегка опешила почтальонша.

– Тсс, – приложил Изя палец к губам, – спит он.

Женщина растерялась.

– Точно?

Она подошла ближе и внимательно посмотрела на «больного».

– А он не...

– А давайте в этот раз я распишусь? – вдруг предложил Изя.

– Да как-то... не положено, – промямлила почтальонша, – мал ты слишком...

Они вышли из спальни, чтобы не мешать старику.

– Ну ладно, – наконец согласилась она, – раз такое дело... Ты расписываться-то умеешь?

Изя видел подпись Леонида Андреевича всего один раз, но, как ни странно, хорошо ее запомнил – аккуратно написанная фамилия старика «Зонц» с небольшой закорючкой на конце.

Он повторил ее, как мог.

Почтальонша выложила деньги на столик в прихожей.

– Ну пусть поправляется, – сказала она, выходя на лестничную клетку. – А то ведь, не дай бог, умрет, и не заметишь. У меня сосед так умер. Никто не заметил, а через три дня такой запах по всему подъезду потянулся – жуть. В тепле это мигом. Ой, тьфу, что я говорю?! – спохватилась она и поплевала через плечо. – Не слушай меня, дуру. Врачей вызывай.

Так Изя понял, что тепло – враг мертвого. Но как сохранить труп так, чтобы он не разлагался, – вот вопрос. Сначала Изя думал, а не засунуть ли его в холодильник. Но, во-первых, старик туда вряд ли бы влез, а во-вторых, там было не очень холодно. Затем вспомнил про балкон. Там была температура что надо.

Старик оказался тяжелее, чем Изя думал. Несколько раз ему пришлось останавливаться, чтобы перевести дух, пока он волок по полу безжизненное тело Леонида Андреевича. Вытащив его на балкон, Изя забросал труп полиэтиленовыми пакетами и газетами, которых там было предостаточно. Но балкон был виден из со-

седних квартир, и, чтобы ничего не заподозрили, Изя присыпал старика снегом. Теперь Леонид Андреевич был похож на запорошенный снегом мопед.

Вся эта затея не оставила в Изиной душе почти никакого следа. По крайней мере он не видел в своей маленькой афере ничего жуткого или противоестественного. Ему почему-то казалось, что старик бы его понял. Деньги мертвому все равно не нужны, а где быть похороненным – в земле или на балконе, – ему теперь уж точно без разницы. На балконе даже лучше – все ж таки ближе к родной квартире. Но главное не это. Изе казалось, что он дает старику возможность сыграть ту самую главную роль, которой ему так недоставало при жизни. Изя как будто продлевал ему творческую жизнь. Это было для Изи даже выше жажды жизни (хотя деньги он, естественно, взял себе). Кроме того, все это было похоже на какое-то... испытание, что ли. Экзамен, который ему устроил ушедший в мир иной старик. Экзамен на знание предмета. Мол, ты мне помогаешь обмануть смерть и прошлые творческие неудачи, а я тебе даю шанс попробовать свои силы. Изя чувствовал, что должен этот экзамен пройти. Во что бы то ни стало. И он его прошел.

В течение месяца он регулярно забегал проведать, в каком состоянии находится труп и сможет ли он еще раз сыграть роль живого. Температура, на счастье Изи, устойчиво держалась на отметке -25 и ежедневно грозила упасть еще ниже. За это время Изя натренировал руку, чтобы подпись выглядела более похожей. В конце следующего месяца Изя рассчитал примерное время прихода почтальонши и перетащил старика обратно в спальню. Там он натянул простыню до носа, очистил лицо от сосулек, вытер лоб и пригладил волосы. Старик выглядел не ахти, но как придать ему более цвету-

щий вид, Изя не знал. Услышав, что старик все еще болеет, почтальонша снова поохала и покачала головой. И снова мельком глянула на старика.

– Смотри-ка, совсем плох-то дедушка... Ты бы прикрой окно – холодно у вас как. Еще застудишь старика.

– Не застужу, – уверенно замотал головой Изя, скосив взгляд на лужицу у кровати – из-под простыни предательски капало.

Но почтальонша, слава богу, ничего не заметила, снова отсчитала десятирублевые бумажки, получила подпись и ушла.

Так прошел еще месяц. На третий раз простыню пришлось натянуть еще выше. Но к четвертому раз Изя понял, что старик больше не в состоянии играть свою роль. Или, как говорят актеры, – мастерство еще есть, а силы уже не те. Пора было давать занавес. И уже без выходов на бис. Так сказать, последняя гастроль. Тем более что на улице потянуло весной и старик начал стремительно разлагаться. Тогда Изя предпринял последнее усилие. У мамы он взял кое-что из ее косметички и попытался при помощи грима привести лицо Леонида Андреевича в божеский вид – немного туши, немного румян, немного губной помады, которую, впрочем, тут же стер.

Почтальонше он сказал, что старик таки собирается уйти в мир иной, мол, скорая уже в пути, но, может, удастся спасти (немного надежды необходимо, а то возьмут и с пенсией погодят).

Так Изя заработал свои первые восемьсот рублей. Деньги по тем временам немалые. Но даже не в них было дело. Дело было в принципе.

Много позже, находясь в колонии для несовершеннолетних, он поведал об этой истории приятелю по кличке Дыня. На счету Дыни уже было несколько во-

оруженных грабежей, и по местным меркам он был авторитетом. Хотя, по Изиному мнению, довольно туповатым авторитетом.

– Зря, – сказал ему Дыня, выслушав про мучения с перетаскиванием трупа. – Да я бы год этого старика эксплуатировал! Я бы просто отрубил ему голову и руку. И положил бы их в морозилку. А остальное спустил бы в мусоропровод. Приходит тетка, я голову кладу под одеяло, и одна рука торчит. Вполне достаточно. А вместо тела одежды бы накидал какой-нибудь. А ты с целым трупом возился, как кретин. Туда-сюда. Балкон-спальня-хуяльня.

С точки зрения логики Дыня был прав. Но Изя никак не мог представить себя отрубающим старику голову и руку. Это было бы чистым извращением.

– Ты, Дыня, садист, – ответил он тогда.

Дыня не обиделся, а только пожал плечами – тебе видней. Изе действительно было видней – в начале девяностых Дыня переквалифицировался в рэкетир. С удовольствием засовывал паяльники в задницы должникам, ставил им утюги на живот, душил полиэтиленовыми пакетами и поливал их детородные органы кипятком. В итоге он наехал не на тех людей, и ему самому надели на голову пакет и, предварительно изрядно помучив, утопили в ванной. Кстати, сделали это его бывшие напарники по рэкетирному бизнесу, вовремя переметнувшиеся на нужную сторону. Так сказать, любимому учителю от благодарных учеников.

Возвращаясь к Изиной истории, надо добавить, что после четвертого раза Изя просто оставил труп лежать в кровати. Через пару дней вызвал скорую. Главного санитаря он просто отозвал на кухню и дал ему пятидесятирублевую бумажку. Чтоб без милиции и расспросов. Тем более что смерть-то была естественной.

Иными словами, Изя помог старику обойти законы природы, а старик помог Изе обойти законы менее философского смысла.

А дальше было то, что напоминало бурную деятельность Блюменцвейга. За одним исключением: Изя несколько не противопоставлял себя фону и не имел никаких других целей, кроме игры. Но игры с целью собственного продвижения и собственного обогащения. Игра ради игры его не интересовала. Никаких душевных или психологических мук Изя никогда не испытывал. Мыслил перспективно, а если чувствовал, что откусил больше, чем может прожевать, без колебаний выпускал добычу. Это позволило ему избежать каких-либо криминальных треволнений, если не считать колонии для несовершеннолетних, куда он попал по глупости – его подставили, попросив за деньги залезть в форточку квартиры и открыть якобы захлопнувшуюся дверь. Мужчина, «забывший ключи в квартире» и который, собственно, попросил Изю об услуге, выглядел исключительно солидно и даже слегка поторговался для вида. Потом, когда этот мужчина оказался домушником, было поздно дергаться. Жадность фраера сгубила. Тот пригрозил уголовной статьей за соучастие, а заодно предложил продолжить успешно начатое сотрудничество. Изя отказался, но домушника вскоре взяли. А за ним взяли и Изю. Но это было делом прошлым. С тех пор Изя никому не доверял и цепко контролировал каждое звено затеваемого им дела. А дел было много.

И все это на фоне стремительного служебного роста. Зонц понимал, что важно быть в тени, но тень бывает разной. Можно быть теневым мафиози, о котором никто не знает, но которого рано или поздно прищучат, когда он перейдет дорогу государственным интересам, а можно быть в тени на самом вершине – там, где у тебя ре-

альные связи и информация. Второе было предпочтительней. Он никогда не бравировал своим положением, не швырял деньгами, не светился в саунах с малолетними проститутками. Любой человек, который мог даже в отдаленном будущем и даже теоретически перекрыть ему кислород, тут же заносился в список людей, на которых нужен был компромат. Будучи общительным человеком, Изя стремительно обрастал связями и знакомствами. Быть должным не любил, зато сам был щедрым на услуги, понимая, что принятая услуга – форма зависимости. В начале девяностых он контролировал несколько липовых ООО, которые при первой опасности сам же слил соответствующим органам, причем тоже не за бесплатно. Его интересовало все: любые поставки, контракты, гуманитарная помощь. Чем выше он поднимался по служебной лестнице, тем проще ему давались различные комбинации. Учитывая размеры страны и количество людей, ее населяющих, любая скромная операция приносила баснословный доход. Достаточно «пробить» необходимость замены старых загранпаспортов на новые в масштабах страны, и вы в шоколаде. Вы можете проконтролировать заказ на новые бланки и корочки, а также подмять под себя конторы, занимающиеся ускоренной выдачей этих паспортов (за деньги, конечно). После чего огромные суммы начнут плыть в ваши руки – только успевай хватать. В нулевые у Изя было несколько удачных проектов – например, георгиевские ленточки, моду на которые он и еще несколько людей из Минобороны удачно ввели в массы и пошив которых (а также продажу) взяли под свой контроль. Было также несколько удачных операций по двойному рейдерству. Так Зонц называл ситуацию, при которой какие-то отморозки захватывали чье-то частное предприятие, а люди из государст-

венных силовых структур захватывали уже захваченный объект, вытесняя рейдеров. Рейдеры, как правило, не имели достаточно ресурсов, чтобы сопротивляться государственной машине. А иных способов вернуть награбленное у них не было – ну не в суд же идти: у самих, поди, рыло в пуху.

Но все это были единичные акции. Кроме того, любовью проект (как то же двойное рейдерство) вовлекал в свою орбиту слишком большое количество участников и посредников. В итоге даже самый распрекрасный куш превращался по мере «распила» в приятный финансовый пустячок.

В 2004 году, когда Зонц наконец твердо осел в качестве советника по культуре, произошло то, чего он так долго ждал. Находясь по долгу службы в одной из командировок где-то в районе Красноярска, Зонц совершенно случайно узнал о закрытом городке Енисейск-13. Ради любопытства он посетил сей «райский уголок», находящийся, кстати, неподалеку от Красноярска. По безлюдным улицам этого ЗАТО бегали стаи крыс и бродячих собак, но сам город был в неплохом состоянии. По крайней мере все коммуникации были на месте и функционировали. Это при том, что в городе не было ни души, если опять же не считать собак. В Красноярске Зонц выяснил, что Енисейск-13 относится к ведомству Минобороны, которое исправно переводит в областной бюджет деньги за коммунальные услуги. Вернувшись в Москву, Зонц навел справки о городе и выяснил любопытную вещь.

В советское время Енисейск-13 числился за военным ведомством и занимался разработкой какого-то там оружия. Затем началась перестройка, полный хаос и нехватка денег. В итоге производство остановилось, а все ученые-инженеры потихоньку слиняли из города.

Еще через пару лет с Енисейска-13 был снят статус закрытого города, а сам город был выведен из числа объектов, принадлежащих Минобороны. Поразительно, но само министерство об этом, видимо, понятия не имело, ибо продолжало упорно оплачивать коммунальные услуги. При этом сам город был абсолютно бесхозным, то есть никому не принадлежал. По крайней мере никаких документов на владение его территорией Зонц нигде обнаружить не смог. Что, в общем, объяснимо, так как в постперестроечные времена царила такая неразбериха, что половину закрытых городов открыли и сняли с госбаланса, а другую половину почему-то оставили без внимания. В итоге никто не знал, что, где и кому принадлежит. Но если город ничей, значит, бери и владей. Так, по крайней мере, решил Зонц. Подключив нужные связи, он оформил территорию города на себя и фактически стал его единоличным собственником. Учитывая, что Минобороны оплачивало газ, свет и прочее, все, что от Зонца требовалось, – это сделать небольшой ремонт. По окончании ремонта в его распоряжении оказался небольшой городок с приличной инфраструктурой. Еще через некоторое время он создал липовое ООО, которое взяло дома под свой контроль и стало сдавать их в аренду. Заселение поначалу шло со скрипом, но так как Зонц подсуетился и большой автоконцерн решил построить как раз рядом с Енисейском-13 небольшой завод по производству запчастей, то вскоре в город потек народ, в карман к Зонцу потекли деньги.

Зонц, однако, на этом не остановился. Он стал внимательнейшим образом изучать карту России, обшарил все спецхраны и архивы, собрал уйму полезной и бесполезной информации и вскоре выяснил поразительную вещь: закрытых городов во времена СССР было на

самом деле гораздо больше, чем можно было бы предположить. Самое распаршивое подведомство Министерства обороны (космическое, военная связь, биохимия) имело как минимум с десяток подобных мест. Причем после развала Советского Союза половина из них оказалась жертвой постперестроечного хаоса, который усиливался тем, что подразделения министерства то переименовывались, то упразднялись, то сливались, то разветвлялись. А Министерство обороны упрямо платило в региональный бюджет деньги, которое получало из госбюджета, который составлялся из региональных денег. Этот бессмысленный круговорот денег в природе наводил на мысль, что никто не пострадает, если изъять из этого круговорота небольшую часть денежных знаков.

Зонц понял, что нашел золотую жилу. Вскоре в его руки перекочевал Ангарск-44 (ракетные войска), Подозерск-14 (военная связь) и Мурманск-324 (военный флот). Правда, связываться на сей раз с заселением, то есть с человеческими ресурсами, Зонц не захотел, поэтому все города сдал в аренду различным организациям под какие-то торговые комплексы, центры досуга и прочее.

А однажды помощник Зонца принес тому найденный в недрах архива КГБ отчет, где говорилось о некоем Привольске-218, который сначала перешел из рук Министерства химической промышленности в руки Министерства обороны, а затем и вовсе под контроль Комитета госбезопасности. Зонц сразу почувствовал запах добычи.

Однако «зонцеркоманде» пришлось изрядно попотеть, прежде чем они сумели выяснить, о каком Привольске идет речь и где он вообще находится. Когда же выяснили, ахнули: Привольск был практически под бо-

ком – всего в нескольких часах езды от Москвы. Учитывая, что все прочие ЗАТО находились, как правило, в глубинке, тут было от чего прийти в замешательство. Ведь в такой близости от столицы даже выжженная земля и та будет денег стоить.

Однако приятное замешательство от близости Привольска быстро уступило место неприятному замешательству от того абсурда, который окружал новооткрытый город. Приехавшая по вычисленному адресу группа из самых приближенных к Зонцу людей (а таковых было всего четыре человека, включая Панкратова и Гусева) обнаружила колючую проволоку, вышки, прожектор над воротами и полную закрытость. В городе находились какие-то психи, которые отказывались не только впускать кого-либо на свою территорию, но даже разговаривать. И более того, грозились взорвать какой-то химсклад, хотя подобными полномочиями явно не обладали. Вернувшись в Москву, группа немедленно доложила о непредвиденных обстоятельствах начальнику. К тому времени Зонц был стреляным воробьем и повидал много засекреченных городов, однако с концлагерем столкнулся впервые. По своим каналам он осторожно пробил Привольск на предмет принадлежности к какому-либо из ведомств, однако ни за кем город не числился. Выходит, бесхозный в теории объект оказался на практике в чьем-то пользовании. Но в чьем? И нет ли тут самовольного захвата? А если есть, то не являются ли эти люди кем-то, кто попросту опередил Зонца? Это было бы самым неприятным, ибо до сей поры Зонц был уверен в эксклюзивности своей идеи. А наличие конкурентов а-ля дети лейтенанта Шмидта в столь узкой области приводит обычно к тому, что один лох съестся и тянет за собой всех остальных, пусть даже они и семи пядей во лбу.

Зонц немедленно отправил своих людей собирать информацию о Привольске.

В один из теплых июньских дней в дверь кабинета Зонца постучали.

– Да! – крикнул Зонц, беря в руку карандаш. Он любил крутить что-то в руке: ручку, брелок, ключи, неважно – это стимулировало мыслительный процесс.

Дверь открылась, и в кабинет вошел Панкратов. Под мышкой у него была папка.

– Разрешите? – спросил он и, не дождавшись ответа, подошел почти вплотную к столу, но за пару метров до цели замер, словно уткнулся в невидимую стену.

Зонц вопросительно вскинул свои голубые холодные глаза.

– Проверили, – сказал помощник, нервно дернув плечом.

– И? Что-нибудь подтвердилось?

– В общем, да.

– «В общем» меня не интересует. Там правда концлагерь был?

– Судя по всему, да.

– Бред какой-то. Какие в жопу концлагеря в СССР в семидесятых?! Да еще в такой близости от Москвы?!

Зонц задумчиво постучал карандашом по столу и снова поднял глаза на помощника.

– И кого же туда сажали?

– Поэтов, писателей. Литературных диссидентов большей частью.

– Ничего не понимаю... И потом, СССР уже давно распался, а они до сих пор там сидят. Они с ума, что ли, сошли? Неужели к ним никак не подкатить? А списки сидевших имеются?

– К сожалению, в архивах мало что осталось, – развел руками помощник. – Вот тут все, что удалось найти.

Он вытянул из своей кожаной папки несколько ветхих пожелтевших страниц и положил их на стол Зонцу.

Тот быстро пробежал глазами по блеклому тексту, набранному пишущей машинкой.

Сухой перечень имен, фамилий и рода деятельности. Такой сухой, что хоть костер разжигай. Внизу стояло имя майора КГБ В. Кручинина.

– Кто такой Кручинин? – спросил Зонц помощника.

Тот развел руками.

– Узнайте и доложите. Где он, что он.

– Хорошо, – кивнул помощник.

– А те, которые сейчас там находятся, это кто? – спросил Зонц помощника.

– Большинство они же.

– Бред какой-то... Ну должен же быть кто-то, кто, так сказать, на свободе.

– В каком смысле?

– Не будь идиотом, Панкратов, – поморщился Зонц. – Если они не клюют на уговоры и деньги, значит, просто не доверяют. Значит, нужен особый подход. Значит, нужен кто-то из своих, тот, кому они поверят. Поэтому я тебя прошу выяснить, кто находится на свободе. Понял?

– Понял. Я провентилирую этот вопрос, – сказал помощник и почему-то посмотрел на вентилятор, стоящий в углу, словно собирался это сделать буквально.

– Да уж будь добр. Ты копию списка сделал?

– Да.

– Ну вот. Проверь весь список. Найди тех, кто там когда-то был. Узнай, не было ли каких-нибудь общих объединений, кружков, организаций. Ну что я тебя учу?

– Я могу идти? – спросил помощник.

Зонц махнул рукой.

Помощник по-военному круто развернулся и вышел.

Зонц достал сигарету и закурил. Информация от помощника его успокоила. Находившиеся в Привольске люди были, возможно, чокнутыми, но явно не конкурентами. Это во-первых. Во-вторых, на каждый лом есть свой антилом. Вот только где искать этот антилом? Впрочем, для Зонца все было лишь вопросом времени. Не подошла одна отмычка, подойдет другая. А торопиться ему было некуда.

Максим шел по улице, прижимая к уху мобильный телефон, в котором тренькала какая-то музыка. «Теперь даже гудков нормальных нет, – подумал Максим с раздражением. – Каждый норовит музыку загрузить. Чтобы не скучно было звонящему. Лишь бы не скучно...»

С Аликом все закончилось, как всегда, на досадной ноте, и снова Максим был виноватым. Ну чего он сорвался-то? Ну мультик. Ну крот. Наверняка Рита обиделась. Да и Алик... Какая муха его укусила?

В трубке наконец раздался до неприличия веселый, но как будто слегка придавленный голос Толика – кажется, он прикрывал трубку ладонью.

– Максим? Привет! Рад тебя слышать.

– Привет... Вот подумал, не встретиться ли нам... Хочу развлечений. Давайте мне ваши огоньки, иллюминацию и стеклянные бусы на шею.

– Созрел?! Молодец. А то прячешься вечно от жизни, а потом жалуешься, что она мимо проходит. Сидишь, как крот в норе.

От сравнения с кротом Максима передернуло, но Толик-то был не в курсе.

– В общем, хвалю, что позвонил. Ты сейчас что делаешь?

– Завтра я свободен, – опережая логику Толика, ответил Максим. – И у меня много денег.

– Отлично. Мы что-нибудь придумаем.

– А я, кстати, и сегодня свободен.

– Да? – удивился Толик, который, видимо, был уверен, что существует только «завтра». – Сегодня... сегодня... дай подумать...

– Нет, если это сложно...

Тут Толик перешел на шепот:

– Я просто в данный момент практически на бабе захожусь. Голова не соображает. Слушай! Вот я кретин! Я ж сегодня вечером иду в закрытый клуб. Хочешь за компанию? Будет интересно.

– Неужто? И что ж там такого интересного?

– Ха, старик! Туда только всякие буратинки ходят. Бизнесмены всякие. Повторяю, клуб закрытый. Очень дорогой.

– Я не глухой. Я просто не вижу связи между закрытостью и интересностью.

Максим почему-то вспомнил про закрытый Привольск и подумал, что связи действительно нет.

– Не, закрытый – это закрытый. Это не для всех.

– Вероятно, есть закрытые клубы для любителей теплого пива, и что?

– Слушай, я тебе когда-нибудь говорил, что будет интересно, а потом оказывалось неинтересно?

Максим мысленно пролистал все их немногочисленные встречи. Почти всегда их представления об интересности расходились. Последний раз Толик притащил Максима на какую-то презентацию. Там блуждали расфуфыренные бабы и толстые холеные мужики. От скуки сводило скулы. Но Толик предвари-

тельно покурил какой-то травы, и ему было безумно весело.

– Короче, ты идешь или нет? – не дождавшись ответа, спросил Толик и добавил с упреком: – Мне разрешили взять с собой одного человека. Видишь, я выбрал тебя, а мог бы бабу какую-нибудь взять.

Как будто это *он* позвонил Максиму, а не наоборот.

– Ну, спасибо за честь. А что ж бабу не возьмешь?

– Туда баб не пускают.

Логика в словах Толика по-прежнему не было.

– Ну хорошо. Я согласен.

– Спасибо за одолжение, – обиделся Толик. – На заседания этого клуба сотни людей мечтают попасть, а ты мне вот это вот вялое «я согласен».

– Так уж и сотни? – недоверчиво переспросил Максим. – Ну ладно. Прости. Действительно, чего это я выкобениваюсь?

– В общем, в десять вечера я за тобой заеду. Все! Не могу говорить. Баба из душа идет.

В трубке раздалась короткая гудка.

Убирая мобильный в карман, Максим тут же подумал, что зря навязался, тем более какой-то дурацкий закрытый клуб, а он терпеть не может все эти клубы, но с другой стороны, хотелось какого-то движения. Вдруг откроется какая-то истина. Может, даже смысл бытия. Никогда не знаешь, где, как и через что он откроется.

Максим посмотрел на часы – времени еще было навалом. И он решил позвонить Зонцу, хотя был уверен, что тот снова отключил телефон. Но, как ни странно, ошибся – Зонц сразу взял трубку.

– Соскучились, Максим Леонидович? – весело ответил тот.

– Да нет, просто один вопрос остался без ответа.

– Это какой же?

– Насчет Блюменцвейга.

– Ха-ха! Я знал, что он возникнет. Хотите узнать, откуда же он сбежал, если никакого лагеря не было?

Максим уже привык к пронизательности Зонца, поэтому ответил, не переспрашивая.

– Да, хотелось бы знать.

– А вы сейчас где?

– На Чистых прудах.

– Отлично. Там на противоположной стороне от «Современника» ближе к Грибоедову есть кофейня. Кажется, «Кофе, чай» называется. Подождите меня там, я подъеду.

Ждать пришлось недолго – Зонц появился в кофейне спустя двадцать минут после Максима. Под мышкой у него была небольшая папка.

– Что-нибудь уже заказали? – спросил, присаживаясь и кладя папку на стол.

– Себе да, вам не знаю что.

– А я ничего и не буду. Я ведь только на пару минут.

– Неужели обойдемся без длинных речей о спасении народа посредством его оглушения?

– Сегодня обойдемся, – рассмеялся Зонц.

Солнце в его мире, кажется, никогда не заходило. Вот и не верь после этого в силу фамилии. Ну или псевдонима.

– Я вам принес то, что вам будет любопытно. И что даст вам ответы на все вопросы. Конечно, проза не без художественности. В смысле фантазии. Автор не везде мог лично присутствовать, что-то додумал. Но это вам не стенды привольчан.

На этих словах Зонц скосил многозначительный взгляд на папку.

– Что там? – спросил Максим.

– Там книга Блюменцвейга.
 – Это то, что забрал Панкратов?
 – Все вам надо знать, – несколько раздраженно ответил Зонц. – Я вам рукопись, а вы мне вопросы. Да, это то, что забрал Панкратов.

– И вы мне так просто ее даете.
 – А что вы сделаете? Опубликуете?

Максим подумал, что опубликовать ему действительно ее негде.

– Почему же? Могу в Интернет выложить.

– Ваше право, – пожал плечами Зонц. – Интернет – большая свалка. Даст бог, найдется один читатель. Да и тот не поверит. Эта книга была опасной только в руках самого Блюменцвейга. Он был мастером самопиара. А без него... Впрочем, я, если честно, ожидал немного другого... Слишком уж все гротесково он тут описал. Зря я боялся... Мда-а... Бог с ней. Вы лучше скажите, что надумали по поводу моего предложения.

– Это сторожем в вашем торговом центре?

Зонц усмехнулся и посмотрел куда-то в сторону, ничего не сказав.

Подошла официантка и поставила чашку с чаем. Хотела спросить у Зонца, не желает ли он чего, но Зонц замахал руками, и она, развернувшись, молча удалилась.

Максим хлебнул чая и приоткрыл папку. На глаз скорее повесть. Листков от силы шестьдесят-семьдесят. Затем достал первый лист. Это была рукопись. Самая настоящая. Безо всяких машинок и компьютеров. Вверху было написано большими печатными буквами «Из истории Привольска-218. Яков Блюменцвейг». Ниже шел странный эпиграф, который автор без смущения написал коротким «Я».

Серость не хочет быть серостью –
Она создает мир серее себя,
Чтобы оправдать свое существование.
Так и идет все по спирали.
А потом серость съест всех. Ам!

А еще ниже шел текст. Почерк у покойного был мало того что мелкий, так еще и жутко неразборчивый: все буквы валялись, как пьяные, на правый бок, словно собирались умереть вслед за хозяином, их накарябавшим.

«Хоть дешифровщиков вызывай», – подумал Максим.

Зонц неожиданно хлопнул себя ладонями рук по коленям и встал.

– Не трудитесь читать здесь и сразу. Читиво занятное, но, увы, требует напряжения зрения и воображения. А если насчет работы надумаете, позвоните.

Затем он быстрыми шагами пересек зал кофейни и исчез за стеклянной дверью.

Допив чай, Максим расплатился, взял папку и поехал домой.

Еще в дороге начал читать книгу. Увлечшись, проехал нужную остановку. В маршрутке выронил несколько листков – чертыхаясь, собрал.

Дома продолжил чтение, предварительно заварив себе крепкий чай. Через час закончил.

Настроение было паршивым.

Нет, написана книга была довольно живым языком, но Зонц был прав – Блюменцвейг нарисовал всех, включая самого себя, в каком-то злом юмористическом свете. Наверняка что-то досочинил от себя. Без этого он не мог. Зато Максим знал теперь, как обстояло дело. Единственной неясностью оставалась лишь смерть Блюменцвейга, но принципиально она ничего не меняла.

Ровно в десять заехал Толик, и они с Максимом отправились по адресу, накарയാбанному карандашом на огрызке листка, который Толик не выпускал из рук, как будто это был как минимум план острова сокровищ. Они долго блуждали на Толиковой «хонде» по каким-то переулкам, наконец вырулили к нужному особняку. На тротуаре перед ним стояла вереница черных джипов с тонированными стеклами.

– Солидный автопарк, – сказал Максим.

– Подожди меня в машине, я сейчас, – сказал Толик и, выскочив из машины, побежал к дверям. Там долго переругивался с кем-то через домофон, отчаянно жестикулируя. Затем вернулся.

– Ну что? – вопросительно вздернул подбородок Максим.

– Да внутрь не пускают. У них там секреты всякие. Я думал, правда пустят, а теперь... Но это неважно. Потому что они сейчас выйдут, и мы поедем на инициацию.

– На что?

– Инициацию! Посвящение в смысле. У них бывают выездные заседания, оказывается. Это даже лучше.

Почему это должно быть лучше, Максим не знал – Толик на все смотрел с оптимизмом. Максим вздохнул и, откинувшись на спинку сиденья, закурил. Едва сделал первую затяжку, как двери особняка открылись.

– Вот! – радостно дернулся всем телом Толик. – Выходят!

Максим нагнулся, чтобы получше рассмотреть выходящих людей. Их было человек пятнадцать. Все, как один, в темных пальто. Толик побежал к ним. Там что-то спросил у коренастого лысого мужчины и суетливо вернулся к машине.

– Выходи, поедем на их джипах.

Максим, чертыхаясь и крихтя, выкарабкался из машины.

– Это Антон, главный, – представил лысого крепыша Толик. – Мой однокурсник, кстати. А это Максим. Журналист, писатель, ну и так далее.

Максим пожал крепышу руку. Пожатие у того было, как ни странно, вялое.

– Я не главный, я – председатель, – с некоторым опозданием поправил Толика Антон.

– Простите, а в чем суть вот этого всего? – спросил Максим, ежась от промозглого осеннего ветра.

Антон ничего не ответил, а только открыл заднюю дверцу джипа. Толик и Максим, переглянувшись, полезли внутрь. Антон что-то показал остальным членам клуба (видимо, что его джип поедет первым) и сел за руль. Едва они тронулись, он поправил зеркало заднего вида и посмотрел Максиму прямо в глаза.

– Понимаете, Максим, жизнь состоит из парадоксов... Люди умирают в пустыне от холода, а не от жары. На плоту в море умирают не от голода, а от обезвоживания – и это когда столько воды кругом, только соле-

ной. В ледяной Арктике люди слепнут от солнца. Маяковский боялся умереть от заражения крови, а в итоге застрелился... Вот.

После этого возникла напряженная пауза.

– Это вы сейчас, простите, к чему? – робко нарушил тишину Максим.

– Это я к тому, что люди часто находят радость в совсем нерадостных вещах.

Судя по мрачному выражению лица, сам Антон был на пути к большой радости.

– А-а... Ну да. Мазохизмом называется, – усмехнулся Максим и тут же почувствовал чувствительный удар локтем со стороны Толика. Но Антон не обиделся.

– Возможно, – меланхолично ответил он, крутя рулем. – Вы, кстати, давно были в зоопарке?

– Лет десять назад, – пожал плечами Максим и добавил после паузы: – А мы что, едем в зоопарк?

Антон ничего не ответил, только посмотрел в боковое зеркало, проверяя, не отстал ли кто из следующих за ним. Разговорчивость явно не входила в число его добродетелей.

Вскоре Максим заметил, что они проехали метро «Баррикадная», но, не доезжая до главного входа в зоопарк, свернули направо. Следом свернули и все машины, что ехали за ними. Через пару минут джип Антона прижался к обочине и остановился. Остальные участники кавалькады тоже выключили моторы и потушили фары.

– Приехали, – сказал Антон и стал выбираться из машины.

Максим с Толиком последовали его примеру.

Когда все приехавшие вылезли из машин, Антон, не говоря ни слова, пошел по направлению к темнеющей вдалеке ограде зоопарка. Вся группа двинулась следом.

Некоторые тихо переговаривались между собой, некоторые курили, у одного даже была в руке бутылка, к которой он периодически прикладывался. Только сейчас Максим заметил, что один из мужчин идет как будто не сам – его вели под руки двое сопровождавших. Глаза у него были завязаны черной лентой, а на носу была какая-то странная прищепка, словно он собирался принять участие в синхронном плавании для слепых. Максим хотел спросить, что это значит, но решил обождать. Тем временем Антон подошел к решетке и тихо свистнул. С противоположной стороны чья-то невидимая рука ловким жестом сняла несколько прутьев. Антон встал слева от образовавшегося проема и стал пропускать вперед членов клуба, слегка похлопывая их по спицам, как будто считал, все ли на месте. Максим с Толиком так же безмолвно нырнули в дыру. Последним провели иницилируемого.

Спустившись по небольшому травяному склону, группа вышла на асфальтированную дорожку и застыла, видимо, в ожидании дальнейших инструкций. В зоопарке было темно, хоть глаз выколи. Словно ночная подсветка была специально выключена. Максим искренне не понимал, зачем в такой темноте нужна еще и повязка на глазах.

– Куда теперь? – громко и как-то церемонно спросил Антон у «жертвы».

Та после некоторого раздумья мотнула головой и, гнусая от прищепленного носа, пробормотала:

– Налево.

Все тут же двинулись налево. Впереди шла поддерживаемая с двух сторон «жертва». Бедняга шел медленно, при этом высоко поднимал ноги, как будто они были деревянными. Со стороны он был похож на Буратино. Не хватало только колпака и длинного носа. А если бы

он начал в такт ногам двигать согнутыми в локтях руками, было бы просто идеальное сходство.

– Что это? – шепнул Максим Толику.

– А я откуда знаю? – пожал тот плечами.

– Если его убивать ведут, я тебя сам убью, – зло прошипел Максим.

– Ты думаешь? – озадаченно спросил Толик.

– Я не думаю, я точно тебя убью.

Максим прибавил шагу и нагнал ушедшего вперед Антона.

– А зачем ему нос защемили? – спросил он, не очень рассчитывая на внятный ответ, но Антон на этот раз оказался разговорчивее.

– Чтобы он не чувствовал запаха. Животные ж по-разному пахнут.

– А суть в чем? – начиная нервничать, спросил Максим.

– Он сам подведет нас к клетке, куда мы его запустим. На десять минут ровно. После того как он зайдет, наш специальный человек, местный, выпустит то животное, которое в этом вольере содержится.

– А если это лев будет? – растерялся Максим.

– Значит, выйдет лев, – меланхолично ответил Антон.

– Логично, – согласился Максим. – Но он же его грызет.

– Может быть, – сказал Антон.

Затем подумал и добавил:

– Хотя не факт.

Максиму все это начало сильно не нравиться. Еще ему не нравилось, что втянувший его в эту авантюру Толик, несмотря на свою природную болтливость, молчал, как будто это его вели на заклятие. Максим принял очередную попытку понять происходящее.

– Но я что-то не понимаю смысла, – сказал он, стараясь не раздражаться.

– Это инициация, – терпеливо объяснил Антон. – Посвящение в ряды клуба. Удовольствие здесь заключается в интересном, я бы сказал, своеобразном соприкосновении со смертью. Типа экстремальных видов спорта.

– А-а, типа клуба самоубийц? – спросил Максим, подумав, под какую статью уголовного кодекса все это безобразии подпадает и что конкретно ему будет в случае фатального исхода.

– Не совсем, – ответил Антон. – Мы даем больше шанса выжить. Но что-то общее есть. Зоопарк – это наше посвящение новичка. Дальше идут другие вещи.

– Например? – удивился Максим.

Он с трудом себе представлял, что еще может идти после такой инициации, особенно если инициированный встретится со львом.

– Например, одна из наиболее экстремальных акций – это укол.

– Это как? – раздался голос нагнавшего их Толика – он, видимо, начал приходить в себя.

– У нас стоит огромный мусорный бак отходов одной инфекционной больницы. Использованные шприцы, иглы, ампулы. Человек залезает и сам выбирает то, из чего мы ему делаем смесь. После этого он должен выбрать между обычным шприцем и тем, который мы ему предложим. Затем вкальваем.

– И что дальше? – спросил Максим.

– Дальше? Дальше мы его выпускаем в жизнь. Там он проверит, что у него в организме, и будет лечиться.

– Мило... А если у него СПИД обнаружат?

– Значит, у него СПИД.

Похоже, любой вопрос автоматически превращался в ответ. Максим поежился и нервно закурил.

– Господи, и за это люди деньги платят?

– Да, – коротко ответил Антон. – И немаленькие. Знаете, сколько стоит заполнить ночью целый зоопарк?

– Наверное, много, – пробормотал растерявшийся Максим. – Я как-то никогда не пытался арендовать ночной зоопарк.

– А ведь еще надо договориться, чтобы получить ключи от клеток. Да и на животных страховку оформить... Всякое, знаете ли, бывает.

В этот момент «жертва» замерла и вытянула правую руку в сторону одного из вольеров. Все остановилось, как будто были брейгелевскими слепцами, а он – их поводырем.

Максим напряг зрение, пытаясь понять, что же находится за клеткой. Но так и не смог ничего разглядеть. Решеток не было, значит, скорее всего, не хищник. Хотя в темноте было трудно разобрать – может, там был ров или еще что-то.

– Нет, а все-таки интересно, – продолжил Максим, чувствуя, что его самого начинает колотить дрожь. – А что будет, если лев его сожрет?

– Если насмерть, мы вливаем в иницилируемого алкоголь, бросаем пустую бутылку рядом, и завтра он будет прописан в газетах как очередной пьяный, забравшийся в зоопарк. Если калечится, то везем в больницу.

– Это гуманно, – серьезно поддакнул Толик, и Максим посмотрел на него с удивлением. Но Толик, похоже, искренне считал подобное поведение гуманным.

Тем временем непонятно откуда возникший служащий зоопарка взял «жертву» под локоть и потащил куда-то в темноту, видимо, собираясь провести на территории вольера.

– А вы не боитесь нам все это рассказывать? – спросил Максим.

Антон меланхолично смерил его взглядом.

– А чего бояться? Если что, вы – соучастники.

«Мило, – подумал Максим. – Значит, все-таки уголовщина». И непроизвольно сделал несколько шагов назад. Но тут же наткнулся на стоящего за спиной высокого бородатого мужика.

– Извините, – сказал Максим, но тот слегка развел руками – мол, ничего страшного.

Выглядел он при этом совершенно спокойным. Возможно, причиной тому была бутылка виски, к которой он периодически прикладывался.

– А вы, простите, тоже проходили этот обряд? – спросил Максим.

– Ну да, – ответил тот безучастно и сделал очередной глоток.

– И как?

– Да никак. Меня запустили, а я сразу в воду полетел. Берега скользкие – еле выкарабкался. Повязку снимать нельзя, иначе обряд не пройдешь. Холод адский. Ко мне что-то подошло такое и понюхало. Потом ушло. Потом оказалось, белый медведь. Так десять минут и просидел. Обычно задним числом страшнее даже.

– Понятно...

Максим посмотрел в сторону вольера. За оградой виднелась фигура жертвы. Он стоял не шевелясь, как изваяние. Что-то вроде памятника невинным жертвам современных развлечений. Бородач тем временем снова отхлебнул виски и задумчиво продолжил:

– Один мужик, правда, к кенгуру угодил. Она его крепко приложила. Прямо в голову. Теперь инвалид.

– Кто, мужик?

– Да не. Кенгуру. У мужика-то был черный пояс по карате, он рефлекторно ей ответил. Ногой в голову.

– Жалко.

– Что жалко?

– Что кенгуру оказалось без пояса по карате.

– А-а... Хотите?

Бородач протянул бутылку виски Максиму.

– Я б с радостью, – замялся Максим, – но здоровье не позволяет. Врач сказал, что после инфаркта алкоголь может быть фатален.

– Понимаю, – кивнул тот, хотя по нему было сложно сказать, что у него могут быть какие-то проблемы со здоровьем – держался он молодцом, учитывая, что бутылка была уже почти пустой, а «уговорил» ее он явно в одиночку.

– А зачем все это надо? – спросил после паузы Максим.

Бородач пожал плечами.

– Ощущения какие-то странные. Необычные. Зоопарк – это еще цветочки.

– Да я уже слышал про уколы.

– Да укол – это тоже цветочки.

«Что ж здесь ягодки-то?» – с ужасом подумал Максим.

– А вообще, – неожиданно продолжил бородач, – если вдуматься, то животным тоже развлечение. Скучно же в клетке всю жизнь сидеть.

– Да уж, наверное, на волю хочется.

– Тут вы ошибаетесь. Знаете, что происходит, когда животное долгое время живет в клетке, а потом оказывается на воле? Погибает. Тут ведь сытая жизнь. И завтрак, и обед, и кофе в постель. Охотиться не надо, бороться за выживание не надо. Все инстинкты атрофируются. Но животное на то и животное, что у него нет никаких рефлексов и мыслей о самореализации. Оно

просто хочет кушать, спать, трахаться. Так что инстинкты атрофируются, а сомнений насчет правильности или неправильности такого существования нет.

– А если бы у них были подобные мысли? – спросил Максим, не очень понимая, куда клонит собеседник.

– Я думаю, они, как и люди, попытались бы оправдать свое существование в неволе. Или по крайней мере объяснить, почему они не выполнили главное божественное напутствие.

– Это какое?

– Плодитесь и размножайтесь. Вот дикий лев говорит льву зоопарковому: «А почему ж ты там не размножился? Ведь были же все условия! Но у меня львят штук сто народилось, а у тебя от силы пяток». И, если бы зоопарковый лев умел рефлексировать, он бы ответил: «Понимаешь, старик... ну-у... мне постоянно мешали. То посетители громко кричали, то приходили служащие меня мыть, то львицу некрасивую подсовывали, то меня всячески мучили». Он бы нашел тысячу причин. А на деле причина могла быть крайне простая.

– Это какая же?

– Да, может, у него просто член не стоял. Ну или плохо стоял.

Максиму вдруг показалось, что вся эта «львиная» дискуссия странным образом относится к Привольску.

– А вдруг нашелся бы какой-нибудь лев, который бы решил убежать из зоопарка?

Бородач удивленно посмотрел на Максима, не ожидая, что того так увлечет звериная тематика.

– Ну, остальные бы его прикончили.

– Зачем это?

– А вдруг он расскажет, что в зоопарке их никто не мучил и посетители вовсе не кричали?

– Ну че там, Виталик? – громким шепотом спросил в этот момент кто-то у «жертвы». – Ты живой?

– Меня кто-то трогает, – прогнусавила «жертва».

Участники подошли ближе, пытаясь разглядеть, что там происходит. Максим не удержался и тоже подошел. Иницилируемый стоял по-прежнему не шевелясь. По его белому лицу бродила маленькая когтистая лапка. Она ковыряла черную повязку, словно пытаясь ее снять. Присмотревшись, Максим увидел, что это коала. Она свисала с какой-то ветки и смотрела на «жертву», беззащитно улыбаясь улыбкой маленького Будды.

XXXI

В 1986 году наступила эпоха перестройки, гласности и ускорения. Советский Союз стал, образно говоря, давать течь. Причем, как и предполагал лозунг, с нарастающим ускорением. Гласность распахнула двери до селе закрытых архивов, развязала языки молчавшим до того людям, отпустила поводья некогда сдерживаемого идеологией Пегаса. Все зашевелилось, забурило, задрывалось, задергалось. Диссиденты наконец получили возможность докричаться до власти, которая в течение семидесяти лет их слушала, но не слышала. Власть получила возможность докричаться до народа, который в течение семидесяти лет ее слушался, но не слушал. Народ получил возможность просто покричать. В общем, все заголосили, как бабы на деревенских похоронах. Но и про дело не забывали. То есть на настоящее и будущее положили, что называется, с прибором, зато за прошлое взялись с таким остервенением, что умудрились перевернуть все с ног на голову и наоборот. Минус на плюс, плюс на минус. Стали открываться и некоторые закрытые города. Привольск-218 был в числе первых. КГБ тогда еще имел влияние

и силу, и майор Кручинин разумно рассудил, что если и распускать народ, то сейчас. То есть указом сверху, не дожидаясь инициативы масс. В противном случае, учуяв свежие веяния, народ сам ринется в бой, и тогда могут и поколотить. В феврале 1986 года из тюрьмы был освобожден правозащитник Щаранский, а в состав Политбюро ЦК КПСС вошел Ельцин. В марте майор Кручинин собрал жителей Привольска-218 в кинотеатре и объявил, что начиная с этого момента Привольск-218 прекращает свое существование.

«Всем спасибо, все свободны», – как мрачно пошутил с места Вешенцев.

– И куда теперь? – раздалась недовольные голоса собравшихся.

Кручинин пожал плечами.

– Езжайте домой. По своим городам и весям.

– Как-как это понимать? – возмутился щуплый Зуев.

– Да, – гаркнул Горский. – Мариновали, мариновали, а тут бац – и амнистия. Мы не согласны.

Горского поддержало явное большинство, потому что тут же раздалась злые выкрики и посыпались вопросы.

«А куда переезжать?» – «Так мы же все продали, когда в Германию летели!» – «У нас все здесь теперь!» – «Ага! Пять лет мы им были нужны, а теперь раз, и не нужны!»

Кручинин пожал плечами. Его больше волновали кадровые перестановки в КГБ, происходящие в последнее время, чем возмущение привольчан.

– Делайте что хотите. Хотите – присоединяйтесь к соседнему городу. Не хотите – живите как хотите.

Он сошел с трибуны под топот ног и свист.

«Чего им еще надо? – подумал он с удивлением. – Дежневой компенсации, что ли?»

На следующий день майор стал собирать вещи, предварительно подготовив отчет по поводу последних дней Привольска-218. Правда, кому именно пойдет этот отчет, он не знал – наверху была неразбериха. Перед отъездом он попросил лейтенанта Чуева вызвать Якова Блюменцвейга.

Тот пришел, и майор показал ему единственную бутылку, которую он все это время хранил и никуда не отсылал – то самое пятистишие.

– Это ваше творение? – спросил Кручинин.

Блюменцвейг гордо кивнул.

– Знаете, Яков Борисович, – сказал Кручинин. – Все эти годы я хранил ваш стишок и никому не показывал. Тут не было никакой причины, кроме одной – я все пытался понять, а что, собственно, значат эти слова про серость, спираль и вот это вот «ам!» в конце.

– А я и сам не знаю, – пожал плечами Яков.

– То есть как? – опешил майор. – А зачем же писали?

– А черт его знает. Утром как-то проснулся, а в голове эти строчки. В том самом виде, в котором они сейчас у вас перед глазами. Я записал. А потом вам послал. Тогда все что-то слали. Я тоже решил.

Кручинин хмыкнул и убрал записку в карман. Потом достал початую бутылку водки и две рюмки. Молча разлил водку и пододвинул Якову его порцию.

– За что пьем? – деловито осведомился Блюменцвейг.

– За свободу не хотите?

Блюменцвейг посмотрел в окно, сказал «нет» и, не чокаясь, опрокинул в себя свою рюмку. Майор, смущенный непоследовательностью собутельника, выдержал небольшую паузу, но потом все-таки последовал примеру Якова. Занюхал рукавом кителя и, подождав, пока тепло разольется по телу, сказал с хрипотцей:

– Мне тут несколько месяцев назад прислали сверху приказ – взять у жителей Привольска подписку о неразглашении. А я его похерил. А почему – сам не знаю...

– Правильно сделали. Никто ничего и так никому не скажет.

– Вы так думаете?

– Уверен.

– И вы?

– И я.

«Интересная личность, – подумал майор. – Говорит уверенно, а ничего не объясняет».

– А вы знаете, – спросил Яков, – что местный народ собирается закрыть Привольск, который вы только что открыли?

– А вы знаете, что мне, если честно, глубоко наплевать. Я же сказал – пусть делают, что хотят. А почему, кстати?

– Боятся.

– Чего?

– А я еще сам пока не знаю.

«Опять двадцать пять!» – мысленно чертыхнулся майор.

– И вот еще что, – сказал Яков, вставая. – Я сегодня вечером буду прорываться. Присоединяйтесь. Я знаю одно место, через которое можно уйти. Если что, встречаемся за зданием НИИ в двадцать два ноль-ноль.

«Ой, – с каким-то сочувствием подумал майор, глядя на невозмутимого Якова. – А ты, братец, кажись, рехнулся».

Но вида не подал, даже попытался рассмеяться.

– Да я уж как-нибудь сам, как все нормальные люди, через дверь.

– Ваше дело, – пожал плечами Блюменцвейг и, прежде чем выйти, задумчиво произнес куда-то в пространство:

– В общем, я их понимаю. Я ведь и сам, считай, такой.

И вышел.

Майор остался сидеть, в недоумении уставившись на закрытую дверь.

«Мда-а, – подумал он, поежившись и наливая себе новую порцию водки, – шесть лет – это не кот начхал. Тут и здоровый человек разумом поедет, не то что поэт...»

Опрокинув рюмку, Кручинин крикнул и стал собирать документацию. Попутно решил позвонить генералу Валяеву, но в трубке было тихо, как в морге: ни гудков, ни шуршания, ничего.

– Чуев! – крикнул он через стену лейтенанту. Но никто не отозвался.

Майор бросил бумаги и телефон и вышел в предбанник. Чуева нигде не было. Он поднял трубку чуевского телефона, но там тоже было глухо. Во всем Привольске было всего два телефона: у него и у лейтенанта – в целях безопасности. И даже когда проводилась акция «Звонки родным», звонили с чуевского аппарата.

«Черт, куда ж лейтенант-то делся? – растерялся майор, кладя трубку. – Только что ж здесь был». Чуев должен был, по идее, ехать вместе с Кручининим. В принципе в компании майор не нуждался, но Чуев обещал достать грузовик, ведь добираться до Москвы надо было своими силами. Никаких не то что самолетов, но и сухопутного транспорта КГБ уже не предоставлял, да и не до того было. В восемьдесят пятом году на Запад сбежал полковник КГБ Гордиевский, и на Лубянке, где и без того нервничали в преддверии очередных перестановок и процесса либерализации, началась такая су-

мятица, что о каком-то там Привольске с какой-то там интеллигенцией тем более все позабыли.

Через пару часов Кручинин плюнул на Чуева и принялся укладывать нехитрый скарб в стоявший у входа мотоцикл с коляской – последний подарок от начальства. На всякий случай подождал на улице еще час, но вскоре стало темнеть, а лейтенанта по-прежнему нигде не было.

«Загулял где-то, – подумал майор. – Ну и ладно, сам доберусь». И, чертыхнувшись, ударил по кикстартеру, заводя свой «Иж». Еще раз глянул на здание управления, где провел шесть лет, и, вздохнув, тронулся в сторону КПП.

Окидывая прощальным взглядом куцый ландшафт Привольска-218, Кручинин с непонятно откуда взявшейся тревогой отметил какое-то странное затишье и пустоту и без того не шибко густонаселенного городка. По мере приближения к КПП эта тревога росла в геометрической прогрессии. Майору стали лезть в голову загадочные слова чокнутого Блюменцвейга, и, сам не понимая почему, он выключил переднюю фару мотоцикла и сбавил скорость.

Первое, что бросилось Кручинину в глаза, – это отсутствие солдат на КПП. По идее, первая пара должна была охранять небольшой шлагбаум, за которыми были массивные железные ворота и вторая пара «пограничников». Но сейчас у шлагбаума не было никого, если не считать трех гражданских лиц из числа «коренных» привольчан. Майор уже было решил, что солдаты тоже послали все к черту и попросту смылись, но тут он заметил кое-что, от чего по спине у него пробежал неприятный холодок – у стоявших рядом со шлагбаумом гражданских в руках были калашы. Учитывая, что оружие в Привольске было неоткуда взяться, оставался

только один вариант – автоматы ранее принадлежали охране. Майор сбавил скорость до почти пешеходного темпа и стал вглядываться в очертания приближающегося КПП. У железных ворот тоже не было охраны, зато там стояли человек пять, и тоже явно местные гражданские. За пару десятков метров до шлагбаума майор остановился. Мотор, однако, предусмотрительно глушить не стал.

– Эй, товарищи! – крикнул, слегка привстав. – Я – майор Кручинин!

– Поздравляю, – негромко сказал один из охранников.

– Откройте шлагбаум и ворота и дайте проехать!

– Не положено, – ответил все тот же мужчина.

– А я вообще с кем разговариваю? – разозлился Кручинин. – Вы кто вообще по чину?!

– По чину никто, – ответил мужчина, но больше ничего объяснить не стал.

– Вы – никто, а я здесь главный! И вообще... что значит «не положено»? Кем это еще «не положено»?

– Кем надо, тем и не положено, – крикнул мужчина.

Ответ носил настолько классический военно-абсурдно-расплывчатый характер, что Кручинин понял: дальнейший разговор – потеря времени. Тем более что двое других мужчин угрожающе сняли свои калашы с плеч.

Майор растерянно замолчал и сел обратно на протертое сиденье. Затем быстро глянул на часы – половина десятого. Блюменцвейг говорил что-то о здании НИИ. А может, положить их всех и прорваться? Ну этих троих он, допустим, уложит. Если просто тихо подойти, чтоб поговорить. А что с теми, которые у ворот? Они ж его в морковку покрошат на месте. Впрочем, бабушка надвое сказала. Люди гражданские – мо-

гут и с предохранителя не успеть снять. Похоже, смена власти произошла раньше, чем он предполагал. Хотя он ее вообще не предполагал.

Майор на всякий случай незаметно расстегнул кобур и осторожно ступил на землю.

– Э-э! – крикнул один из охранников и выставил вперед дуло автомата. – Не шали, майор.

– Да я поговорить просто, – добродушно сказал Кручинин.

– Никаких разговоров, – отрезал охранник. – Стрелять будем без предупреждения.

Кручинин поднял руки вверх – мол, ладно, ладно, все нормально, и попятился назад. Перекинул ногу через мотоцикл и, чертыхнувшись, повернул ручку газа. Затем сделал плавный разворот под напряженными взглядами охранников и поехал назад. За время этого короткого маневра у майора от напряжения взмокла спина – могли ведь и вдогонку пальнуть. Когда наконец отъехал на достаточное расстояние, расслабился и на полной скорости рванул к бетонному зданию НИИ. Там заехал на задний двор и заглушил мотор. На часах было без двадцати. Кручинин закурил и задумался. Что предложит Блюменцвейг, он не знал, но зато он знал, что, кроме как через КПП, вырваться отсюда было невозможно. Городок был слишком мал, поэтому его легко обнесли двойной высоченной бетонной стеной с колючей проволокой. Нет, теоретически можно было попробовать перебраться через первую стену, но за ней гуляла целая свора овчарок. Самое интересное, что попыток сбежать из Привольска (чай, не заоблачная высь), особо никто не предпринимал, если не считать безумный полет переводчика Файзуллина на самодельном дельтаплане.

В тот момент, когда майор докурил третью подряд сигарету и уже собрался уйти несолоно хлебавши, откуда-то из кустов раздался тихий свист.

Майор повернул голову и увидел сидевшего на корточках Блюменцвейга. Тот повертел головой влево-вправо, а затем вышел из зарослей, отряхивая колени.

– О! – радостно воскликнул Кручинин, спрыгивая на землю. – Слава богу!

При виде мотоцикла с коляской Блюменцвейг скривил губы.

– Ты б, майор, еще на танке прикатил, – почему-то переходя на «ты», сказал он.

– Слушай, Яков, что за петрушка? – тоже перешел на «ты» Кручинин. – Я на КПП, а там стоят какие-то люди с автоматами. Что происходит?

– Ты не кричи так сильно-то, майор, – нервно озираясь, процедил Блюменцвейг. – Ты хвост за собой не притаранил часом?

Майор испуганно оглянулся.

– Да нет вроде.

– Короче, власть в городе захватили большевики. Шутка. Я же сказал, все, теперь никого не выпустят и сами не уйдут. А ты «подписку о неразглашении». Смешно. Ха-ха. Да это они с тебя подписку возьмут скорее.

– Ничего не понимаю. Что за бред? Зачем им здесь оставаться? Зачем меня держать? Где, блядь, Чуев?!

– Тсс, – приложил палец к губам Блюменцвейг. – Чуев, как и все твои люди, сидит под домашним арестом. Оружие, как ты понял, у них отобрали. Я вообще удивлен, что тебя не кокнули на месте. Все-таки кишка тонка у нашей интеллигенции.

Последнее предложение Блюменцвейг произнес, сочувственно цокнув языком, как будто жалел, что майора не кокнули.

– Отсюда вообще никто не должен выйти, – добавил он после паузы.

– А обслуга?

– Все останутся здесь. У времени, так сказать, в плену.

– Да что вообще тут происходит?!

– Долгая история, майор...

– И как же ты собираешься уходить?

– Иди за мной. Будем мой подкоп добивать.

– А вещи?

– Ты б, майор, еще стол письменный с собой притащил. Забуди о вещах. О жизни подумай. О вечном, так сказать.

Яков сделал несколько шагов по направлению к забору, опустился на землю и стал разбрасывать ветки и сучья. У самой стены был лаз.

– В принципе я почти вылез с той стороны, – сказал он, начиная погружение в яму. – Под две стены рыл. Как полагается. Я давно... давно чувствовал, что дело движется к финалу... Не отставай, майор.

Кручинин, чертыхаясь, полез за Яковым, отплеываясь и вытирая глаза от сыпавшейся земли.

– Узковато тут...

– А ты думал, я тебе тут шоссе пророю? Тут как раз на среднестатистического писателя расчет. Ты чуть покрупнее, но авось пролезешь...

В этот момент где-то совсем рядом над головой залагали овчарки. Майор даже услышал шорох их когтистых лап.

– О, – сказал довольный Блюменцвейг, – движемся ко второй стене.

– И все-таки, – сплевывая пыль, продолжил Кручинин, – я не понимаю, зачем заново закрывать открытый город? Зачем брать людей?

– Объективно говоря, – тяжело дыша, ответил Яков, – ты ведь мне тоже живой не нужен.

«Мило», – подумал майор и на всякий пожарный пощупал кобуру – пистолет был на месте.

– Это еще почему? – спросил он вслух.

– Да все потому же. Я-то о Привольске никому не скажу, а ты можешь рассказать.

– Да что за херня? – разозлился Кручинин, яростно сплевывая землю. – Вы тут совсем, что ли, с ума посходили?!

– Вылезем – расскажу. Стоп. Вот здесь тупик.

Яков вынул из кармана фонарик и включил его, освещая себе дорогу, точнее то, что должно было стать дорогой. Потом достал из-за голенища сапога железный совок и стал усиленно долбить сухую землю. Уставший от ползанья на брюхе, Кручинин с трудом перевернулся на спину, но тут же уткнулся носом в «потолок». Клаустрофобией он не страдал, да и вообще был человеком смелым, но тут даже ему стало не по себе.

«Как в могиле, – подумал он, втягивая носом сырой запах земли. – А ведь обратно уже не поползешь – ногами-то вперед. А если завалит? Черт, надо было все-таки прорываться через КПП. Нет, все. Лучше сейчас вообще ни о чем не думать».

Через полчаса Яков вытер перепачканное лицо, улыбнулся во весь рот и легонько пнул ногой плечо майора.

– Подъем, майор. В смысле поворот. Мы у цели. Чувешь воздух?

Кручинин открыл глаза, перевернулся на брюхо и потянул носом. Действительно, спасительной прохладой откуда-то струился свежий воздух.

«Слава богу», – подумал он, поводя затекшей шеей.

Яков с удвоенной энергией стал долбить землю и расширять ход. Наконец места стало достаточно, и он, убрав фонарик и совок, принялся змеевидными движениями выкарабкиваться наружу.

Кручинин быстро, почти судорожно полез следом, потому что уже начал опасаться – не вздумает ли его новый спаситель законопатить его здесь навсегда.

– Да не пихайся ты, майор, – сказал Яков и добавил, словно прочитав мысли Кручинина. – Раз тебя взял, значит, взял. Мне на том свете зачтется.

Наконец Блюменцвейг выбрался наружу и подал руку майору.

– Давай-давай, надо торопиться.

Но едва майор выкарабкался, у него за спиной раздался чей-то голос:

– Да, собственно, не надо никуда торопиться.

Блюменцвейг стал мотать головой в поисках источника голоса, а Кручинин схватился за кобуру, но тут же замер, почувствовав, что в спину уперлось что-то твердое, – видимо, дуло автомата.

– Не надо, майор, – сказал второй голос.

Чья-то ловкая рука вынула пистолет из его кобуры, и вдавленное в хребет дуло исчезло.

Блюменцвейг и Кручинин слегка отступили обратно к стене и увидели двух людей с автоматами. Третьим (без оружия) был Ледахин.

– У вас все или еще кто ползет? – спросил он и равнодушно посмотрел куда-то в сторону, словно его совершенно не интересовал ответ на поставленный вопрос.

– Ловко, – усмехнулся Блюменцвейг. – И давно вы про этот ход узнали?

– Да Чуева потрясли слегка, он и сказал, что слышал, как ты предлагал майору встретиться у НИИ. Сначала думали завалить ваш ход, и дело с концом, но тебя пожалели.

– За это гран мерси, – саркастически поблагодарил Блюменцвейг. – И что же дальше?

– Пойдем домой, – пожал плечами Ледыхин.

– Это в Привольск, что ли?

– Ну а куда ж еще?

– Ладно, – покорно сказал Блюменцвейг и незаметно подмигнул майору. – Но я так скажу тебе, Ледыхин, твой дом, может, и Привольск, а вот мой... мой не здесь. И я лучше сдохну, чем буду играть по вашим правилам.

Тут Яков неожиданно пнул ногой одного автоматчика, а второго толкнул плечом так, что тот не удержался на ногах и шлепнулся на землю.

– Рвем когти! – завопил Блюменцвейг и метнулся в темноту.

Кручинин, опешивший от такой смелой выходки Якова, на долю секунды задержался, но затем рванул следом.

– Стоять!!! – завопил Ледыхин.

Блюменцвейг и майор, пригнув головы, понеслись во весь опор к темнеющему вдали лесу.

– Расходимся, майор! – крикнул Яков и сделал резкий скачок влево. Майор метнулся вправо. Застрекотала автоматная очередь. Блюменцвейг услышал свист пуль и почувствовал, как обожгло правое ухо, но это только придало ему сил. Краем глаза он заметил, как Кручинин охнул и, взметнув руки, рухнул оземь. Сначала Яков хотел рвануть к майору на помощь, но, испугавшись за свою жизнь, передумал и, виляя всем телом, как загнанный заяц, продолжил свой зигзагообразный бег по направлению к лесу. Еще какое-то время слышалась автоматная очередь, но явно палили наугад, просто в темноту. Минут через двадцать Блюменцвейг уже несся по лесу, раздвигая руками хлещущую по лицу листву и хрустя сухими ветками. Еще через несколько ми-

нут выскочил на какое-то пустынное шоссе. На его счастье, вскоре показался грузовик. Водитель согласился взять взъерошенного и грязного странника с собой.

– Только на одном условии, – строго сказал шофер.

– Каком еще условии? – тяжело дыша, спросил Блюменцвейг.

– Анекдоты знаешь?

– Какие анекдоты?

– Обыкновенные. Про Брежнева или чукчу. А лучше про Рабиновича.

– Допустим, – удивленно ответил Яков и пощупал мочку задетого пулей уха – ничего страшного, царапина.

– Вот! – обрадовался водитель. – Будешь рассказывать мне анекдоты. Я в дороге уже почти четырнадцать часов. Мне спать нельзя, а я мужик с юмором. Если ржу, сон как рукой снимает.

– Мать твою, – тихо выругался себе под нос Блюменцвейг, но делать было нечего. Он полез в кабину и в течение следующего часа, перепачканный землей и едва избежавший смерти, травил анекдоты. Все, которые только мог вспомнить. Водитель был очень доволен и громко хохотал, хлопая себя по ляжке тяжелой шоферской рукой.

XXXII

Максим и Толик мчались по ночной Москве. Мимо мелькали огни вывесок и рекламных щитов, сливаясь в одну бесконечную радостную кашу. Максиму почему-то вспомнились слова Зонца об искусстве как о свете, к которому должны тянуться люди, и о том, что сейчас вместо этого света по всей стране разноцветные лампы горят.

– Слушай, – прервал молчание Толик, – а что у тебя с книгой? Издатель так и не позвонил?

– Нет, – хмуро ответил Максим. – Да и не надо. Нет никакой книги. И издателя нет. И жены нет. И семьи нет. И уютного дивана с собакой нет. И плазменного телевизора. И вообще ничего нет. ВИТЧ и жопа.

– Че за ВИТЧ? – сказал Толик, продолжая равнодушно крутить руль и созерцать летящую навстречу Москву.

– Да я и сам не знаю. Один товарищ мне говорил, что это когда интеллигенция мечется между государством и народом вместо того, чтобы собой заниматься. А другой говорил, что это когда она перестает метаться. Вот я и думаю, где тут истина...

Толик хмыкнул и включил радио.

«И снова немного настоящего ретро, – сказал бодрый голос ведущей, – на волнах “Радио Новая жизнь ФМ”. Музыка Исаака Дунаевского. Слова Михаила Светлова. “Физкультурная”».

После небольшого музыкального вступления с трубами и барабанами бодрый советский хор затянул:

Яркому солнцу навстречу
 Выйди с утра, молодежь!
 Выпрями гордые плечи,
 Силу на ловкость помножь!

Максим невольно вздрогнул. Каждое повторение слова «солнце» звучало как «Зонцу». В этом контексте песня приобретала несколько иное звучание, неприятно подчеркнутое убийственно радостным пафосом музыкального сопровождения: *«Яркому Зонцу навстречу выйди с утра, молодежь...»*

– Смени волну, – буркнул Максим.

– Тебе не нравится? – удивился Толик и пожал плечами.

Он сменил волну, и Максим уловил промелькнувшее слово «новости».

– ...состоялась презентация двухсотого романа известной писательницы Кругловой. Поздравить народную писательницу с этой круглой цифрой пришли известные поэты, музыканты, композиторы... Интересно, что в этот же день у коллеги Кругловой, писательницы Комаровой, состоялась презентация сто двенадцатого романа...

– Этим ВИТЧ не грозит, – хмыкнул Максим.

– А? – вопросительно дернул головой Толик.

– И наконец криминальная сводка, – продолжил ведущий.

– Мне нравится слово «наконец», – сказал Толик, – как будто мы только ее и ждали.

– Слушай, Толик, – сказал Максим, чувствуя подступающую тошноту, – помнится, ты что-то там говорил по поводу выпить. По-моему, самое время избавиться от воспоминаний о зоопарке путем погружения в глубокую алкогольную интоксикацию.

– Я вообще-то говорил по поводу развлечься, а не выпить, но это, в общем, почти одно и то же. А тебе что, так не понравилось в зоопарке? Странно... И потом, тебе ж нельзя пить.

– Уже можно. Даже нужно.

– Да?

– Слушай, Толик, давай не тормози. Ты же знаешь все эти клубы-шмубы-хуюбы. Соображай быстрее.

– Да не дави ты на мозг! Надо ж баб найти каких-нибудь. Не просто ж так идти.

– Да плевать я хотел на баб.

– Ты хотел, а я не хотел, – разозлился Толик и стал набирать какие-то номера на мобильном.

Максим опрокинул голову на прохладное боковое стекло и закрыл глаза. Пульсирующий висок успокоился. Он не слышал, что говорил Толик. Очнулся только тогда, когда тот стал трясти его за плечо.

– Эй! Заметано. Едем в клуб “Witch”. Слышал о таком?

– Какой клуб?! – вздрогнул Максим, решив, что, видимо, еще не до конца проснулся. Может, Блюменцвейг перед смертью клуб организовал?

– “Witch”. Ну, ведьма, ведьма по-русски! На кой хер тебе русский вариант? Там какая-то презентация. Мой приятель устраивает.

ВИТЧ

– Твой приятель устраивает, а меня устраивает то, что он там устраивает, – съюморил Максим.

«Witch так witch, – подумал он, доставая сигарету. – Так даже символичнее».

XXXIII

Уже стемнело, когда Ледыхин с помощниками-поэтами наконец перетащили бездыханное тело Кручинина обратно в Привольск. Сначала думали повесить его перед зданием НИИ в качестве устрашения и назидания для Чуева, охранников и вообще всех, кто вздумал бы бежать. Даже придумали табличку, которую можно было повесить на майора – что-то типа «Я предал Привольск-218». Но потом поняли, что это будет перебором (чай, не звери все ж таки) и просто зарыли Кручинина неподалеку от здания будущей школы. Место выбрали специально открытое – как знать, не послужит ли оно в дальнейшем кладбищем для умирающих привольчан. Надо мыслить перспективно. Блюменцвейговский лаз, естественно, законопатили – забросали землей и сухими ветками. После чего, довольные, пошли спать.

На следующий день было общее собрание, на котором «коренным» привольчанам предстояло ответить на множество непростых вопросов. Главным был, конечно, вопрос – что делать дальше? Остальное множе-

ство непростых вопросов паровозиком тащилось за ним. На сцене стоял стол с графином воды – президиум, в котором заседали Ледахин и Тисецкий, а председательствовал Куперман. На авансцене – деревянная будка для выступлений ораторов.

Первым слово взял Куперман. Чувствовалось, что «майка лидера», выражаясь велоспортивным жаргоном, медленно, но верно переходит в его руки.

– Я считаю, товарищи, что ситуация складывается неплохая. Засекреченных химиков у нас тут давно нет. Обслуги из народа не имеется – все своими силами строили и делали. Детей у нас тут не имеется. КГБ мы тоже держим под контролем. На повестке дня два вопроса. На что жить и как отбиваться в том случае, если чекисты попытаются овладеть нами силой.

На последних словах, в которых явно проскальзывал какой-то сексуальный подтекст, в зале раздались смешки. Куперман быстро понял ошибку и поправился.

– Вы же понимаете, – обиженно замахал он руками, – что там быстро хватятся майора Кручинина и приедут наводить порядок. Мое предложение такое: усилить контроль за стенами, увеличить количество людей на КПП, установить круглосуточное дежурство и патруль – благо людей хватает. В случае чего, угрожать взорвать химкомбинат и отравить им всех и вся.

– И н-нас? – испуганно спросил Зуев.

– Да он, бля, уже четыре года как не работает! – крикнул Авдеев.

– А кто об этом знает? – удивился Куперман. – Химиков давным-давно перевели отсюда, Кручинина нет, Чуев под замком. А может, у нас тут токсичное производство полным ходом идет.

– А Блюменцвейг?

– Блюменцвейгу никто не поверит. Да и не будет он ничего говорить.

– А что по поводу еды? – раздался чей-то женский голос.

– Ну а что? Склады у нас пока забыты, слава богу. Кроме того, предлагаю наращивать свое огородное хозяйство и животноводство. У нас уже есть несколько коров и пара быков.

– Что значит «у нас»?! – возмутился Миркин. – Это мои коровы и быки! И гуси с курицами тоже! – на всякий случай добавил он.

– Ты, Лева, не понимаешь серьезности момента, – нахмурился сидящий за столом Ледахин. – И потом, никто их у тебя не забирает. Но дай и нам какое-то потомство.

– Во-вторых, товарищи! – продолжил Куперман. – На химкомбинате находится оборудование, которое кишмя кишит химически устойчивыми сплавами золота и платины, а также платины и серебра. В-третьих, и это самое главное. Мы можем установить торговые отношения с нашим большим соседом – городом С. Насколько я знаю, они нуждаются в химических удобрениях, а, если вы помните, в течение трех лет мы только и занимались тем, что их производили, причем непонятно, для кого и куда. Весь этот товар валяется без дела, и его можно запросто сбыть. А заодно потихоньку возобновить его производство.

– Ага! – усмехнулась Буревич. – Сначала, говорит, растащим оборудование, в котором золото и платина, а потом на нем начнем производить говно для полей. С логикой тут все в порядке.

– Товарищи, товарищи, – зазвенел в непонятно откуда взявшийся колокольчик Ледахин. – Давайте без вы-

криков с мест. Я считаю, что товарищ Куперман внес несколько замечательных рационализаторских предложений. Хотите покритиковать или внести свои – ради бога. Только выходите на сцену и не устраивайте базар.

В зале притихли – похоже, Куперман выжал максимум из сложившейся ситуации. Тогда встал Тисецкий.

– Друзья, есть еще один вопрос, который, я считаю, требует рассмотрения. Это отпуска. В конце концов нас тут полторы сотни. Все – живые люди. Мы не можем беспрерывно сидеть в пределах Привольска. Предлагаю сделать так, чтобы каждый привольчанин получил хотя бы три недели в год и мог бы поехать, ну, к морю, например.

Это предложение было поддержано гулом одобренных голосов.

– Ну вот и славно, – сказал Тисецкий. – После собрания в порядке живой очереди подходите ко мне – я буду составлять список. Только сразу предупреждаю: летние месяцы в ограниченном ассортименте, поэтому давайте относиться с пониманием к этому факту. Те, кто получают летние в наступающем году, через год получают осенние или зимние. Чтоб была ротация.

– Подводя итог, – встал Ледахин, – хочу обратиться к вам, друзья, со следующими словами. Мы на данном этапе являемся оплотом совести и интеллекта в условиях распадающейся на глазах империи, именуемой Советским Союзом. Мы же во многом и определили этот распад. Но под обломками этого распада лягут многие умы нашей эпохи. Распад – это всегда хаос и анархия. Наша же задача – сохранить то лучшее, что было в нас, для сохранения вообще всего.

Последнюю фразу не понял никто, включая произнесшего ее Ледахина, но пафос был более или менее понятен, и никто не стал возражать.

Присутствующий на этом заседании лейтенант Чуев, которого силком приволокли как пленного диверсанта с завязанными руками, вытаращив глаза, слушал все эти речи и недоуменно поводил головой. Никто из сидящих в зале не высказал никакого желания покинуть Привольск, обрести свободу и вернуться домой. Это настолько потрясло лейтенанта, что, когда его вернули к остальным пленным, он так и не смог пересказать им, о чем, собственно, «эти придурки» там говорили. Только сидел и мычал что-то невразумительное.

Оставалось надеяться на чекистов, которые хватятся Кручинина и придут, чтобы разогнать всю эту шарашку. Но тут надежды себя не оправдали. Последний отчет Кручинин посылал полгода назад. С тех пор несколько раз сменилось его непосредственное начальство, и вообще все думать забыли про какой-то там Привольск-218. Благо объект был не шибко важный. По десятибалльной шкале КГБ ему была присвоена оценка четыре. А все объекты ниже пяти было решено на время оставить в покое. Папку с последними отчетами забросили на полку. Кручинина искать никто не стал – тем более что он был холост и родителей не имел. Единственным активным человеком оказалась невеста Чуева. Она знала, что жених находится на каком-то секретном объекте, но где и что, она не знала. И так и не узнала. Потому что через пару месяцев влюбилась в какого-то начинающего то ли кооператора, то ли бандита и вовсе забыла про лейтенанта. А сам Чуев, посаженный под домашний арест, попытался вылезти через окно на волю, но сорвался со

скользкого карниза и разбился насмерть. Остальная же охрана, состоящая из шести человек, покорно осталась в Привольске. А об их месторасположении вообще никто не знал. И отпуск было решено им не предоставлять. Что-то вроде пожизненного заключения.

XXXIV

В клубе было душно, громко, темно и битком набито. Толик вызвонил каких-то двух полублядей-полустудентов. Максим подумал, что в наше время эти понятия как-то стали сливаться в нечто взаимозаменяющееся. Одну звали Вера, другую как-то на А (Ася? Аня? Аля?) – Максим моментально забыл ее имя. В клубе проходила какая-то презентация, но чего именно, никто не знал. По залу ходили девушки с флаерами, а ближе к выходу стоял кто-то в костюме огромного мобильного телефона. Он (или она?) тоже раздавал что-то – кажется, телефонные карточки на бесплатный звонок. Видимо, рекламная акция какой-то телефонной компании. Мест за столиками не было, поэтому Максим, Толик и девушки уселись на высокие стулья у бара: девушки в центре, мужчины по краям. Вера села ближе к Максиму, вторая, которая на А, ближе к Толику, который тут же принялся ее ненавязчиво лапать. Кажется, девушки здесь были уже не в первый раз. Вскоре они уже тянули какие-то разноцветные коктейли и периодически кивали проходящим мимо знакомым. Толик пил пиво. Единственным, кто целенаправленно употреблял исключительно

крепкий алкоголь, был Максим. Сначала бил по водке, потом понял, что совершенно не пьянеет, и перешел на текилу. Когда он опрокинул очередную рюмку текилы, закусил лимоном и поморщился, Толик спрыгнул со стула на пол и потащил Асю-Алю куда-то за собой – то ли на танцпол, то ли в туалет.

– Мы сейчас, – крикнул он уже изрядно окосевшему Максиму.

Вера в этот момент что-то требовала от бармена – то ли трубочку, то ли лед, то ли еще что-то. Она кричала ему это на ухо, привстав и перегнувшись через стойку бара. Она даже не заметила, что Толик с ее подружкой исчезли.

Когда села обратно на стул, завертела головой, ища их глазами. Потом заорала Максиму, перекрикивая долбящую музыку:

– А где Толик с Асей?!

Максим покрутил пальцем у уха.

– Звонить пошли!

Это предположение о двух ушедших в туалет людях показалось ему почему-то очень смешным, и он расхохотался. Вера кивнула, не расслышав ни единого слова. После чего продолжила качаться в такт музыки, отхлебывать из коктейльного бокала и одновременно жевать жвачку. Сделав очередной глоток, она полузакрывает глаза и заорала как зарезанная:

– Это диджей Йо-Йо Спуки!

– Что?! – закричал Максим, наклонившись к ней.

– Это Йо-Йо Спуки!!! Обожаю его! А вам кто нравится?

– Мне нравится Ницше! – заорал Максим и опрокинул в себя очередную порцию текилы.

– Кто?!

– Ницше!!!

- Даже не слышала! – удивленно закричала Вера. – А в каком стиле он работает?
- В стиле иррационализма!
- Это как?!
- Утверждает, что темная сила хаоса есть первоизданная сила мирового порядка!
- Гот, что ли?
- Кто?!
- Гот... ну, готику сочиняет.
- В некотором роде. Только он уже ничего не сочиняет. Умер.

Максим цокнул языком и развел руками. Затем налил себе текилы – он предусмотрительно купил в баре сразу целую бутылку.

- От чего? – удивился Вера.
- От сифилиса. Или от душевной болезни.
- Надо же, – расстроилась почему-то Вера. – Такой молодой, и умер.
- С чего ты взяла, что он моло... А-а!

Максиму стало лень что-то объяснять. Он махнул рукой и деловито натер лимоном тыльную сторону руки. Затем посыпал солью. Облизал, опрокинул текилу и, морщась, заел лимоном.

- А вы не танцуете? – спросила Вера.

Максим, все еще морщась от кислоты во рту, замотал головой.

- Да ладно! Это ж easy!
- Изи? – вздрогнул Максим.
- Ну, легко, в смысле.
- А-а... А вы что пьете?

Ответ совершенно не интересовал Максима, но, следуя устаревшим представлениям о вежливости, он считал, что надо поддерживать разговор.

- Секс он зэ битч. Секс на пляже, короче.

– Тоже неплохо, – кивнул Максим.

Неожиданно к ним подплыла размалеванная девица лет семнадцати. А может, старше. Максим смотрел на все и всех уже слегка расфокусированным взглядом.

– О, Вер, здорово, – сказала девица и небрежно кивнула Максиму: – Здравствуйте.

Максим кивнул в ответ.

– Привет, – ответила Вера, равнодушно жуя жвачку.

Музыка в этот момент слегка сбавила свою нечеловеческую громкость – видимо, возник короткий перерыв в связи со сменой диджеев.

– Слушай, – сказала девица, наклонившись к Вере. – Это полный снос крышака. Бубла рулез. Чистое разводилово. Он такой ко мне, прикинь, на козе кривой подваливает, хуе-мое, у меня скайп типа глючит, а так я на виртуалку всегда готовый, типа плотный стояк у него на меня. А я ему: «Хуясе, Бубла, на кой хер мне твоя виртуалка?» Я за динамо, типа, не играю. Обещался на вебке залипнуть, так обломись, моя черешня. Я просто в ахуй выпала! А хрен ли ты мне тогда мозги серваком своим недоношенным драчишь? Да еще спамом всю френдленту засрал. Да я таких флешмобщиков баню на раз-два-три. А этот крендель такой сразу враслопырку, хуе-мое, давай по клавише барабанить, ты да я, зачотная пилотка. Я пац-та-лом. На хера он мне такой сплющился? Убей себя об стену.

Требуя одобрения своего возмущения, она почему-то повернулась к Максиму и спросила:

– Да?

– А? – вздрогнул Максим, который выслушал этот набор слов с удивленной полупьяной ухмылкой. – А-а. Да. Конечно. Раз пилотка зачетная, то да.

Девица замерла в недоумении, потом повернулась к Вере, мотнув головой в сторону Максима.

– А это че за инвалид?

– Толика приятель, – невозмутимо ответила она, по-сасывая коктейль и слегка качаясь.

– А-а... Ну ладно. Слушай, пошли в тубзаторий, успокоимся?

Вера равнодушно пожала плечами.

– Ну пошли.

Девица пошла первой. Вера сползла со своего стула и отправилась следом.

Максим успел легонько дернуть ее за юбку.

– Че? – обернулась та, вопросительно вздернув подбородок.

– Слушай, Вер. А что такое «зачотная»?

– Крутая, типа.

– Ясно, – мотнул головой Максим. – А «пилотка»?

Вера, продолжая жевать жвачку, ничуть не смутившись, ткнула себя пальцем в район между ног, чуть ниже пояса.

Максим тупо уставился на ее палец. Потом до него дошло. Он вскинул взгляд на Веру и заплетающимся языком сказал:

– Спасибо. Вопросов больше не имею.

Вера затерялась в толпе, а Максим повернулся к бутылке, чтоб налить новую порцию. В этот момент откуда-то возник Толик. Без спутницы. Вид у него был бодрый, даже слегка воинственный.

– А где эта... Аля? – спросил удивленный Максим.

– Ася? Да ну ее, – махнул рукой Толик, объяснять, что конкретно он имеет в виду, не стал. – Ну, как те Вера? – спросил он, закуривая и запрыгивая на свой табурет.

– Поболтали. Ницше обсудили.

– Какого в жопу Ницше? – заржал Толик. – Да она за всю свою жизнь, дай бог, инструкцию по уничтожению тараканов прочла.

– Это примерно и есть Ницше, – ответил Максим, от-
решенно уставившись на человека в костюме сотового
телефона.

Потом он закурил и стал ловить глазами ответный
взгляд бармена. Тот, наконец, доделал чей-то заказ и, за-
метив ищущие глаза Максима, вскинул подбородок –
мол, чего еще?

– Слшй, – проглотив все гласные в простом глаголе
«слушай», сказал Максим. – Дай-ка мне еще рюмочку пу-
стую.

Бармен дал Максиму стаканчик. Тот тут же наполнил
его до краев текилой. Не забыл и про свой. Конечно,
что-то пролилось мимо, но бармен быстро и услужливо
вытер лужицу. Тут снова загрохотала музыка.

С зажатой во рту горячей сигаретой Максим взял
оба стакана с текилой и соскочил на пол, почти ничего
не расплескав.

– Да ну вас с вашими пилотками, – зло пробормотал
он себе под нос. – Я пойду вон... с телефоном погово-
рю лучше.

– Эй, ты куда? – крикнул очнувшийся Толик.

Но Максим уже шел напрямик сквозь толпу танцую-
щих к человеку-телефону.

– Макс!!! – заорал Толик. – Максим! А девчонки?

Максим проигнорировал и этот крик – он пробирал-
ся сквозь лес рук, ног и потных лиц. Морщился от гро-
хочущей музыки, щурил правый глаз от лезущего в него
дыма собственной сигареты и прикрывал телом два
стаканчика с текилой. При этом он чувствовал себя ге-
роем из «Ностальгии» Тарковского, несущим зажжен-
ную свечу.

«Только не разлить, – думал Максим, нащупывая но-
гами дорожку. – Только не расплескать. Если донесу все,
как есть, все будет хорошо...»

Добравшись наконец до цели, Максим, радуясь, что ничего не расплескал, легонько стукнул плечом одетого в костюм человека. Лица последнего не было видно – только прорезы для глаз и рта.

– Телефон!!! – радостно-пьяным голосом заорал Максим, не замечая выпавшую изо рта сигарету, и протянул стаканчик с текилой. – Держи! Я угощаю!

«Телефон» отчаянно замахал руками – мол, не могу, работа.

– Да ладно. За мое здоровье. Выпьем!

– Не могу! – бесполо-визгливым голосом закричал человек в костюме. – Сниму костюм – мне голову снимут!

«Интересно, баба или мужик», – подумал Максим.

– А ты прямо так – через вот эту дырку! Ща...

Он стал судорожно озираться. Рядом стояла какая-то малолетняя «соска» с коктейлем в руке.

– Извините, – сказал Максим и вынул у нее трубочку прямо из бокала. Та хотела возмутиться, но потом выругалась матом и отошла.

Максим стал пихать трубочку в прорезь для рта. Человек-телефон стал отплевываться, яростно жестикулируя.

– Да нельзя мне!

– Ну давай, телефон! – кричал Максим, тыча трубкой в прорезь. – За мое здоровье! Не обижай. Скучно ж так стоять-то. Ты ж все равно в костюме! И не надо ничего снимать!

Наконец тот понял, что Максим не отстанет. Он стал вертеть головой с антенной – не видит ли кто?

– Только один глоток! – завизжал он и потряс указательным пальцем перед носом Максима – мол, только один.

Он взял зубами просунутую в прорезь трубочку, а Максим сунул другой ее конец в стакан с текилой.

– Ну давай, телефон! – крикнул он. – За то, чтоб все кнопки работали!

И опрокинул в себя свою порцию.

«Телефон» жадно всосал текилу. В конце даже хрюкнул.

– Вот! – хлопнул его по костюму Максим. – Молодец! Стой здесь! Сейчас бутылку принесу!

«Телефон» замахал руками, но Максим уже убежал за бутылкой.

Где-то наверху гулким эхом гроыхала музыка. Максим и человек в костюме телефона сидели на какой-то лавочке в предбаннике мужского сортира в подвале клуба. Вокруг были кафельные стены и зеркала. В руке у Максима была почти пустая бутылка текилы. Человек-телефон сидел, прислонившись спиной к стене, и что-то бубнил – ему хватило восьми полновесных порций. В прорезях для глаз давно не было никаких глаз – только лоб и темные слипшиеся волосы. Максим чувствовал, что и сам в последней стадии – мир вокруг ходил ходуном, все плясало и прыгало. Язык почти не слушался, как будто распух, укушенный сотней пчел. Голова была ватной. Мимо них периодически проходили девушки – женский туалет, как всегда, был забит, и они все шли в мужской.

Глядя на них, Максим думал, что вот уже и различий полов никаких не осталось. Все стерлось. Он приобнял человека в костюме и запел:

– Позвони мне, позвони-и-и-и!

«Телефон» неожиданно ожил и подхватил пьяным блеющим голосом:

– Позвони мне ради бога-а-а-а!

Они стали петь, раскачиваясь в такт песни:

– Через время протяни-и-и-и! Голос тихий и глубокий-далекий... (тут они разошлись в версиях). Дотянись издавека-а-а-а!

Голос человека в костюме звучал глухо, как из-под воды.

Продолжая петь, Максим опустил глаза на пол и посмотрел на ноги человека в костюме. Там были кеды.

«И здесь унисекс», – с тоской подумал он, перестав петь.

– Слушай, телефон! – пихнул он соседа локтем в бок. – А ты вообще кто, баба или мужик?

– Мужик, – глухо ответил «телефон».

– Жаль...

– Почему жаль? – икнув, спросил тот. – Мне нравится.

– Я просто с телефоном еще не трахался, – засмеялся Максим и стал игриво жать на нарисованные на груди кнопки с цифрами.

– Я тоже, – серьезно ответил «телефон».

После чего стал заваливаться набок, но Максим успел его подхватить и вернуть в вертикальное положение.

– Знаешь, телефон, – сказал Максим, – мне так хуево, что даже хорошо.

– Это как? – глухо спросил «телефон».

– Это так, что, если бы мне было сейчас хорошо, было бы в сто раз хуевей.

– А-а, – понимающе протянул «телефон».

– Ну че ты а-акаешь? Ты ж ни хрена не понял. Когда тебя разъедает пустота, а пустота наполняется серостью, а ты при этом счастлив и доволен жизнью, значит, у тебя ВИТЧ.

– Что?! – попытался отшатнуться «телефон», но у него ничего не получилось, потому что громоздкий костюм не позволял совершать резкие телодвижения.

– Да не ВИЧ, а ВИТЧ!!! Это совсем другое. Точнее, не совсем, но другое... Короче, ты не поймешь. А так как мне охренительно хреново, значит, я еще в состоянии рефлексировать. Значит, я не ВИТЧ-инфицированный.

Тут внутри «телефона» что-то зарычало и издало звук типа «Буа-а-а!». Сквозь материю костюма на груди проступило пятно – «человека-телефон» вырвало прямо внутри костюма.

– Экая ты, братец, свинья, – ласково сказал Максим. Но «телефон» его уже не слышал – он спал. В прорези для рта виднелись его закрытые глаза.

– А скоро, – уже не столько соседу, сколько самому себе сказал Максим, – всем наступит полный ВИТЧ... или Witch... По Европе бродит призрак... Это призрак похуизма... Как там у классика сказано? Сейчас... Э-э-э... Медведь огромный – вот нахал! Ребенка что-то там сожрал... Тому ж ля-ля-ля все равно, что он едою стал давно... Ха-ха! Да... они уже среди нас... Их немного, но они в тельняшках... Они сделают свое черное... точнее, серое дело... И тогда вот эти вот...

Максим махнул в сторону проходящей мимо девушки в мини-юбке – та отшатнулась, решив, что Максим хочет ее облапать. Впрочем, отшатнулась она не испуганно, а как-то кокетливо.

– Вот эти вот... Они все... Они всех... Они всех нас... Понимаешь, ты? Поздно пить боржоми... Переходим на водку... И понимаешь, какая штука...

Максим подавил отрыжку и выдержал небольшую паузу.

– Привольск – это не музей, конечно... Тут Зонц прав. Но он... не прав. Потому что это... музей! Потому что... они, ну, в смысле, привольчане были, как это ни смешно звучит, последней интеллигенцией... Жалкой, бес-

смысленной, выродившейся, а все ж таки интеллигенцией... Ведь иначе бы им было на все насрать. Они бы могли уехать, но они чувствовали все-таки какую-то ответственность, какие-то угрызения совести... И, как ни крути, а слегка страдали, что оказались полными нулями... А серость... да, серость создали тоже они, так как были именно что конформистами. Ты спросишь, в чем их конформизм?

Максим повернулся к «телефону», но тот спал.

– А я тебе скажу... Конформизм был в том, что они не занимались своим прямым делом, а только собачились с властью. Что в итоге вылилось в привычку и полный эскапизм. Конформизм в том, что им проще было создать миф, нежели творить... И все, на что хватило их внутренней свободы, – это остаться несвободными, то есть выдумать себе новую несвободу... Впрочем, что с тобой говорить? Ты все равно спишь...

Максим с трудом оторвался от дивана и встал на ватные ноги. Как ни странно, они выдержали вес тела. Мир, набирая обороты, закружился вокруг Максима пьяной разноцветной каруселью.

– Телефона, телефона! – Максим легонько пнул ногой соседа, но тот зло пнул Максима в ответ.

– Ладно, спи, – добродушно разрешил Максим. – Все спят, и ты спи.

Опираясь на стены, которые почему-то тоже шатались и плыли, и переступая, словно безногий инвалид на протезах, он поднялся по ступенькам к входной двери. Кивнул угрюмому охраннику и вышел на улицу. Было темно. Колючий ночной воздух прорвался в легкие, и Максим замер, глотая его, как рыба воду, словно надеясь получить из этого ледяного потока кислород. Затем пришел в себя и, ежась от пробиравшего внутренности холода и кутаясь в прокуренный пиджак, дви-

нулся по улице, не имея ни малейшего представления, куда он идет.

«Просранная жизнь... просранное будущее... И куда податься? И чего я хочу? И на кой хер я вообще трепыхаюсь? А надо просто жить, устраиваться, получать удовольствие, плясать и ни о чем не думать... А может, ВИТЧ – это бич божий? Витч-бич... Sex on the витч... И послан он нам для того, чтобы мы не выебывались, а жили как полагается... Не мудрствуя лукаво... Не задавали себе сложных вопросов... Довольствовались малым... Создавали семью... делали детей... обустроивали свои жилища... Может, не надо бояться потратить время зря? Не надо так трястись над собственной жизнью? Пойти на очередную премьеру Толика, пойти на встречу одноклассников, заговорить с юношеской любовью в метро... Может, тогда и откроется смысл жизни во всей своей простоте... ВИТЧ – бич... bitch... bewitched... околдована... очарована... bewitched – околдованные ВИТЧем... А был ли Привольск? А был ли Зонц? Был – не был... Есть или нет... Вот в чем суть... Не в том, что какой-то Мазуркин требует от меня какого-то абсурда, чтобы они могли напечатать мою статью, а в том, что я не знаю, существует ли на самом деле этот Мазуркин... Есть ли культура или нет ее... И была ли она вообще? Все живем в придуманном мире... Одни придумали себе какую-то культуру... другие придумали ее отсутствие... И проверить, кто прав, не представляется возможным... Было – не было...»

Дальше мысли запутались, стали спотыкаться и падать...

Прищурившись, Максим завертел головой, пытаясь понять, где он находится. На улице не было ни души. Где-то впереди горела ярко освещенная витрина мебельного салона-магазина. Максим двинулся на свет,

как заблудившийся путник идет на мерцающий вдалеке фонарь. Через пару минут он ткнулся лбом в стекло витрины и уставился на то, что было внутри. Уютно обставленная гостиная, кожаный диван, большая плазменная панель. На диване сидела идеальная семья. Папа-манекен, жена-манекен, дочка-манекен. У их ног на белоснежном ворсистом ковре лежал лохматый пес-манекен невинной породы, что-то типа сенбернара. Папа смотрел телевизор, держа в руке бутылку пива, жена читала глянцевый журнал, дочка ела чипсы, листая книжку комиксов. Пес лежал, уткнувшись мордой в красивую жестяную миску с фирменным собачьим кормом. Там было тепло и уютно. Мягкий свет, мерцающий экран телевизора. Картина эта показалась Максиму знакомой, но где именно он все это видел, он никак не мог вспомнить. Неожиданно нестерпимо захотелось оказаться внутри. Он обвел полузакрытыми глазами тротуар. Никаких подходящих предметов. Разве что... мусорная урна у входа? Максим обхватил урну и, пошатываясь, оторвал ее от земли.

– Я, блядь, Геракл! – хрипло крикнул он, напрягая остатки сил и поднимая урну над головой. – Отрывающий, мать его, Антея от земли.

На этих словах он швырнул «Антея», временно принявшего облик мусорной урны, в витрину. Стекло лопнуло, брызнув осколками на тротуар. Максим замотал головой, стряхивая осколки с волос. Завыла сигнализация. Не обращая на нее никакого внимания, Максим, кряхтя, вкарабкался внутрь гостиной. Пошатываясь, добрал до дивана. Забрал у папы-манекена бутылку с пивом. Как ни странно, пиво было настоящим. Потом взял отца семейства за голову и отбросил куда-то вглубь салона. Плюхнулся на диван между «дочкой» и «же-

ной». Нашупал в кармане зажигалку и открыл пиво. Глотнул. Теплая, зараза, но все же пиво.

«Водка, текила, пиво, – пронеслось в голове. – Обратная комбинация при моем-то сердце. Да и хрен с ним...»

Максим откинулся на кожаную спинку дивана и устоялся в плазменный телевизор. Что он смотрит, он и сам не очень понимал – кажется, какой-то сериал. Максим покосился на «жену». Она невозмутимо смотрела в журнал. Потом повернул голову и посмотрел на «дочку». Снова хлебнул теплого пива. Затем погладил пса. Провел кончиком языка по верхним зубам, цыкнул, достал сигарету и невозмутимо закурил. Затянулся и выдохнул струю сизого дыма. Пепельницы нигде не было. Потом постучал указательным пальцем по сигарете, сбрасывая пепел прямо в мягкий ворс огромного белоснежного ковра. Манекены продолжали неподвижно сидеть. Только сейчас к его плавающему в алкоголе мозгу прорвался, словно из другого измерения, вой охранной сигнализации. Сначала Максим не обращал на него никакого внимания, пытаясь сосредоточиться на сериале, что шел по телевизору, но звук этот неумолимо рос, ширился и наконец впился безжалостным сверлом в висок, буравя черепную коробку.

Максим, поморщившись, отхлебнул пива.

– Серость не хочет быть серостью, – внятно произнес он куда-то в пространство перед собой. – Она создает мир серее себя... Чтобы оправдать свое существование... Так и идет все по спирали... А потом серость съест всех. Ам!

На «ам!» он вдруг вздохнул и, почувствовав какой-то укол в груди, обессиленно уронил голову, чувствуя, что сам превращается в безжизненный манекен. Вокруг стало тихо и темно.

«Темнота – черная, – подумал Максим и мысленно улыбнулся. – Хорошо, что не серая».

В груди снова что-то кольнуло, и в голове у Максима почему-то пронеслось самое начало книги Блюменцвейга – такое ласковое и ностальгическое:

Ах, Привольск-218, Привольск-218... С фрустной улыбкой вспоминаю твои кривые мощные улочки, зелень кипарисов на центральной улице, шум морского прибоя и теплый южный ветер...

Потом боль в груди отпустила, и стало легко.

Очень легко.

Слишком легко.

Литературно-художественное издание

Всеволод Бенигсен

ВИТЧ

Роман

Редактор *Е.Д.Шубина*
Выпускающий *Т.С.Коралева*
Технический редактор *М.Ю.Байкова*
Корректоры *Н.П.Власенко, О.Л.Вьюнник*
Компьютерная верстка *Н.Н.Пуненковой*

ООО «Издательство Астрель»
129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3а

ООО «Издательство АСТ»
141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 96

Электронные адреса:

www.ast.ru

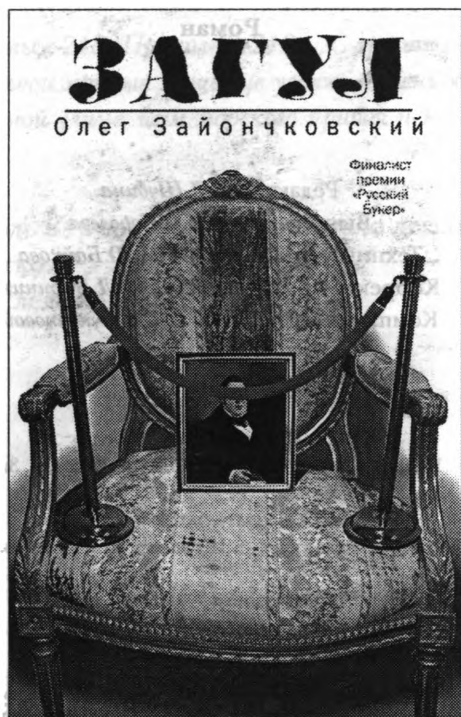
E-mail: astpub@aha.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов в ОАО «Издательско-
полиграфическое предприятие «Правда Севера».
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Тел./факс (8182) 64-14-54, тел.: (8182) 65-37-65, 65-38-78, 20-50-52
www.ippps.ru, e-mail: zakaz@ippps.ru

Издательская группа АСТ представляет:

Олег Зайончковский

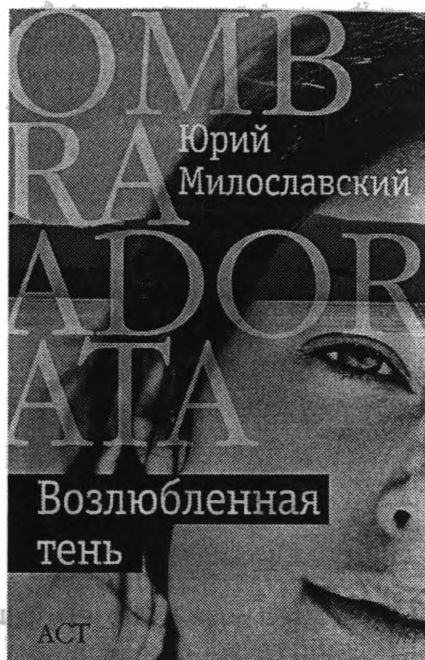
ЗАГУЛ



Герой романа «Загул» – Нефедов – отменный муж и семьянин, поссорившись с женой, уходит из дома, то есть в загул. Не вполне трезвый, выбитый из привычной колеи, он против собственной воли становится главным действующим лицом необыкновенных и опасных приключений, связанных с пропавшей рукописью знаменитого русского писателя Почечуева. Нефедов не только спасает для Отечества культурную ценность, но и сам возвращается в лоно семьи.

Издательская группа АСТ представляет:

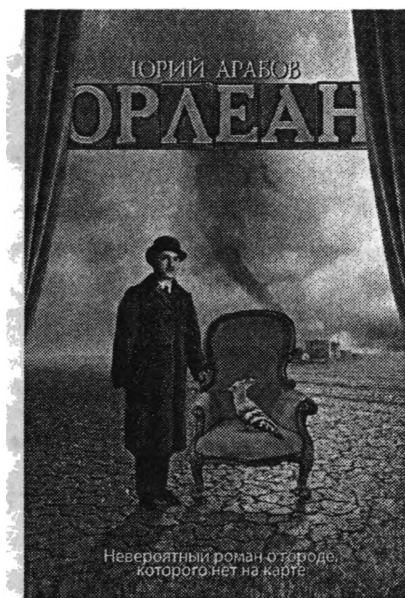
Юрий Милославский
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ТЕНЬ



Юрий Милославский – прозаик, поэт, историк литературы. С 1973 года в эмиграции, двадцать лет не издавался в России. Для истинных ценителей русской словесности эта книга – долгожданный подарок. В сборник вошли роман «Укрепленные города», вызывавший острую идеологическую полемику, хотя сам автор утверждал, что это прежде всего «лав стори», повесть «Лифт», а также цикл рассказов «Лирический тенор» – своего рода классика жанра. «Словно не пером написано, а вырезано бритвой» – так охарактеризовал прозу Ю. Милославского Иосиф Бродский.

Издательская группа АСТ представляет:

Юрий Арабов
ОРЛЕАН



Этого города нет на карте. Но он существует — вопреки чиновничьей глупости и знойному ветру. Маленький город в Кулундинской степи, где рождаются и неторопливо живут люди, ходят в парикмахерскую и иногда попадают в больницу...

Однажды в Орлеан приезжает бродячий цирк — и начинают происходить загадочные убийства. А на окраине появляется тихий офис «экзекутора» К.Гейбла. Он знает про жителей невероятные вещи, раздает всем свои визитки и обещает страшную кару за грехи...

Что это — циничная фантасмагория или мистика? Как всегда, Арабов оставляет последнее слово за читателем, не скрывая ни одного самого невероятно факта. Как всегда, в романе есть доля правды — у Орлеана есть прототип, существующий на официальной карте России...



Всеволод Бенигсен – один из самых ярких писателей нового поколения, автор романов «ГенАцид» (лонг-листы премий «РУССКИЙ БУКЕР» и «БОЛЬШАЯ КНИГА») и «Раяд» (шорт-лист премии «НОС»).

Герой нового романа «ВИТЧ» журналист Максим Терещенко возвращается на родину в конце 90-х годов после эмиграции и пытается «ухватить» изменчивую и мутную реальность современной России, вжиться в нее.

Неожиданно ему поступает «заказ» – написать книгу о малоизвестных писателях-диссидентах семидесятых. Воодушевленный возможностью рассказать о забытых ныне друзьях и показать нынешнему поколению, как непросто существовала загнанная в подполье интеллигенция, герой рьяно берется за дело.

Но... все персонажи его будущей книги таинственно исчезли, словно и не существовали вовсе. Постепенно становится понятно, что они стали жертвами и участниками эксперимента. Участниками или соучастниками?

ISBN 978-5-17-073226-5



9 785170 732265

www.ast.ru
www.elkniga.ru